

ГРИГОРИЙ



РЕЧКАЛОВ

Пылающее небо 1941-го





В ВОЗДУШНЫХ БОЯХ

ГРИГОРИЙ РЕЧКАЛОВ

**Пылающее
небо
1941-го**

Москва
«ЯУЗА»
«ЭКСМО»
2008

ББК 63.3
Р 46

Оформление художника *П. Волкова*

В оформлении переплета использована
иллюстрация художника *В. Нартова*

Речкалов Г. А.

Р 46 Пылающее небо 1941-го. — М.: Яуза; Эксмо, 2008. — 480 с. — (В воздушных боях).

ISBN 978-5-699-25675-4

После крушения Советского Союза на отечественного читателя обрушился поток публикаций, прославляющих «подвиги» Люфтваффе. В головы старательно вбивается картина тотального превосходства «гитлеровских ястребов» над «сталинскими соколами». Зачастую молодые читатели лучше знают о дутых победах Хартманна или Руделя, чем о реальных подвигах наших истребителей, среди которых по-настоящему известны лишь Кожедуб и Покрышкин, считающиеся лучшими советскими асами.

В этой официальной «табели о рангах» Григорий Речкалов занимает 4-е место. Однако, согласно последним исследованиям недавно рассекреченных документов, на боевом счету Григоря Андреевича 61 сбитый немецкий самолет — всего на один меньше, чем у И. Н. Кожедуба.

Да и воспоминания Речкалова ничуть не уступают знаменитым мемуарам Покрышкина и Кожедуба, в чем вы сможете убедиться, прочитав данную книгу.

Это — подробнейшее описание боевой работы советских истребителей в самый тяжелый период войны — 1941—42 гг. Это — увлекательный рассказ о страшных поражениях и первых победах, о потерях и подвигах, о доблести молодых ребят, в жестокости схватках сломавших хребет хваленым гитлеровским асам.

ББК 63.3

ISBN 978-5-699-25675-4

© Речкалов Г. А., наследники, 2008
© ООО «Издательство «Яуза», 2008
© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Редакция выражает благодарность семье Речкаловых и лично Речкаловой Любови Григорьевне за любезно предоставленную для издания рукопись книги и фотографии из семейного архива.

Отдельная благодарность Быкову М. за предоставленные сведения о сбитых летчиками 55-го истребительского полка самолетах противника.

*Посвящается моей дорогой,
любимой Анфисе*

ТУЧИ НАДВИГАЮТСЯ С ЗАПАДА

— Подъе-е-ем!

Голос дневального разрывает утреннюю тишину сонной казармы.

Неохотно сползают одеяла, простыни, скрипят кровати, слышатся хрустящие потягивания, зевота.

— Выходи на физзарядку!

Противные команды! Но что поделаешь — с этого у нас обычно начинается день.

Мускулистые, загоревшие, мы выбегаем на свежий воздух. Несколько размашистых движений, быстрая пробежка по влажной от росы тропке — и сонливость снимает как рукой. Неохотно выполняем давно надоевший комплекс упражнений, предвкушая несколько минут вольных движений. Эти минуты мы любим — почти каждый из нас значкист ГТО и имеет спортивный разряд.

Потом шумной ватагой устремляемся к полуразрушенному колодцу с прогнившим корытцем для

скота. Колодец гордо именуется «душем». Весело обливаем друг друга из ведра, громко кричим под обжигающе холодными струями. Через минуту-другую, взбодренные, мокрые, мы возвращаемся в казарму завершать свой туалет.

Мы — это молодые командиры-летчики, не отслужившие трех лет в армии и потому переведенные на казарменное положение.

Казарма — обычный приземистый барак, поделенный на маленькие клетушки. Здесь предстоит «добить» оставшийся срок. Невеселая перспектива, если учесть, что почти каждый имеет или снимает в городе квартиру. Многим пришлось расстаться с семьями: приказ есть приказ.

Нам говорили: «Еще счастливо отделались, могли и лейтенантских «кубиков» на голубых петлицах лишиться. Летчики, выпущенные в офицерских званиях в сороковом году, вообще вроде бы «разжалованы» и переведены в сержанты». Нечего сказать, хорошее утешение!

Ребята роптали. Особенно по вечерам, когда в распахнутые окна врывается бессарабская весна. Она будоражила, тормозила нас, и мы изнывали от скуки.

Первым начинал обычно младший лейтенант Дмитриев.

— Зажали авиацию, явно зажали, — ворчал он и сплевывал сквозь зубы. — Лучше в колхозе ишачить, чем так жить.

— Ты что колхозы поносишь! — набрасывался на Дмитриева Петя Грачев, комсомольский «бог». Недавно его назначили помощником командира эскадрильи по работе с комсомольцами.

— А ты сперва поживи там, узнай, а уже тогда читай мне лекцию, — сердито огрызнулся Виталий.

Мы его, конечно, понимали. У Дмитриева — ме-

довый месяц. Жена его, хорошенькая голубоглазая украинка, осталась в городе.

— Пропади пропадом и эта казарма, и авиационная романтика! — вторил ему Вася Шульга. — Подаю рапорт и пойду доучиваться в техникум.

Такие разговоры у многих вызывали сочувствие. В тот год служба в авиации кое-кого разочаровала. И вовсе не потому, что военная служба представлялась раньше неким увеселительным времяпрепровождением, а сейчас пришлось столкнуться с трудностями. Тяготы нас не пугали. Мы готовы были летать днем и ночью, находиться в суровых условиях — если это необходимо. В высокопарных фразах о долге мы не нуждались. Никто и не пикнул бы, если бы речь шла просто о трудностях. Но когда и без того нелегкие условия беспричинно «улучшают» приказом, человек начинает задумываться. Нас держали в ежовых рукавицах. Ради чего? Может быть, надеялись таким образом повысить боевую готовность? Очень сомнительное дело.

Первое время было трудно свыкнуться с таким режимом. Летчики хандрили, ворчали. Но дни шли, мы привыкали и в конце концов почти смирились. Все меньше раздражали надсадные команды: «Подъем!», «Поверка!», «Отбой!».

Мы вставали в шесть, торопливо брились, поспешно заправляли кровати, убирали помещение и строем шагали в гарнизонную столовую. Все — как полтора года назад, когда еще были курсантами летной школы. С той только разницей, что теперь чувствовали себя летчиками и рассчитывали на многое.

Незаметно подкатила весна. Покрылись зелеными островками пригорки. С полей потянуло густым опьяняющим настоем разнотравья. Хотелось броситься навзничь в траву и глядеть, глядеть в бездон-

ную ультрамариновую глубину, где пел, заливаясь, невидимый жаворонок. Леталось в такие дни легко, дышалось свободно. Казарма и красные уголки пустовали. Зато оживленнее стало под душистыми акациями, где после полетов шумными группками собирались летчики. Писали на планшетах письма, спорили, мечтали скорее вырваться в город, где ждали родные, отдых...

* * *

Особенно нетерпеливо все ждут субботу. В этот день мы живем не так, как всегда. С утра носимся как заведенные, шутки так и сыплются, все особенно предупредительны друг к другу. Летчики бреются, начищаются, никому не хочется остаться под выходной в осточертевшей казарме — у каждого появляется какая-нибудь уважительная причина.

В субботу даже время движется необычно. С утра его всегда не хватает. Ближе к полудню оно начинает замедлять свой бег, а к обеду и вовсе останавливается.

Вот и теперь — не успел я почистить сапоги, как раздается команда: всем на утренний осмотр.

Дневальный — наш оружейник, младший воентехник Дурнов. Он ходит по комнатам и проверяет, все ли в порядке. Как назло, куда-то запропастился свежий носовой платок. Заправить койку я еще не успел, рядом с аккуратной постелью Пети Грачева она выглядит белой вороной. И как это Грач успевает так быстро прибраться, да еще и на себя лоск навести? Дурнов останавливается в дверях и морщится, глядя на мою кровать:

— Скорее, скорее, Речкалов, командир эскадрильи приехал.

Меня прошибает пот. Ладно, шут с ним, с платком. Быстро привожу в порядок постель.

Около землянки-каптерки, громко именуемой командным пунктом эскадрильи, толпятся приехавшие из города летчики, техники. Их не коснулась срочная служба. Мы завидуем счастливым.

В сторонке о чем-то совещаются помощник командира эскадрильи старший лейтенант Дубинин, инженер эскадрильи Коновалов и адъютант — старший лейтенант Хархалуп¹.

Возле них ужом извивается лейтенант Дементьев — командир резервного звена, в котором нет еще ни самолетов, ни летчиков. У Дементьева хитроватые глаза, узкий лоб с закрученной куделькой, длинный отвислый нос. Он приторно улыбается и поддакивает начальству.

Командира эскадрильи не видно. Вероятно, еще в землянке.

— Ну что, начнем? — повернувшись на каблуках, спрашивает адъютант.

— Командуйте, — соглашается Дубинин.

Хархалуп засовывает большие пальцы за ремень и, расправив гимнастерку, выходит на линейку, выложенную красным кирпичом.

— Становись! — командует он, откинув правую руку в сторону.

В урну летят недокурные папиросы, звенья занимают свои места. В первой шеренге — летчики,

¹ Хархалуп Семен Иванович, замкомандира аэ, ст. лейтенант, 1909 г.р., 30.06.41 г. над с. Волядынка при возвращении с задания на «МиГ-3» самовольно произвел два пикирования, вошел в плоский штопор и разбился. К моменту гибели личных побед не имел. (Здесь и далее — данные о боевых счетах погибших в 41—42-м гг. летчиках полка предоставлены М. Быковым на основе документов ЦАМО РФ.)

во второй — техники, сзади — младшие авиаспециалисты: прибористы, оружейники, мотористы.

— Равняйся!..

Строй слегка шевелится и замирает. Носки сапог образуют на кирпичном квадрате прямую линию, головы повернуты влево, глаза скошены на грудь четвертого человека. Адьютант проходит вдоль строя, внимательно осматривая каждого. Все как будто в порядке, но без замечаний не обходится. Я слышу, как он басит справа:

— Тетерин, Дементьев, подберите животики. А вы, Ротанов, подтяните планшет, а то наступите.

Я незаметно делаю то же самое. На всякий случай.

— Смирно!.. Равнение напра...во!

Из землянки выходит командир эскадрильи капитан Жизневский¹. Худенький, востроносый, небольшого роста, в кожаном реглане. За Жизневским шествует старший политрук Пушкарев, тучный не по летам, высокий. Рядом с подтянутым комэском (командиром эскадрильи) он кажется увальнем. И характеры у них тоже разные. Жизневский сух с людьми, строг, обращение признает только по уставу. Комиссар же добродушен, душа-человек, частенько выступает в роли нашего защитника, смягчая строгости комэска.

Пружинистым шагом Хархалуп приближается к Жизневскому и отчеканивает рапорт.

Бледное лицо Жизневского спокойно. Из-под нахмуренных бровей холодно поблескивают глаза. Не подавая команды «вольно», комэск подходит к строю,

¹ Жизневский Григорий Васильевич, майор, замкомандира 55-го иап. 13.09.41 г. на самолете «Ил-2» не вернулся с б/з из р-на Маячки — Большие Копани. К моменту гибели личных побед не имел.

придирчиво скользит взглядом по первой шеренге. Губы его кривятся.

— Что это вы, Коротков, офицерскую сумку, как дамочка, держите?

Техник звена краснеет, хочет что-то ответить, но не успевает.

— Порядка не знаете! — бушует Жизневский.

— Знаю, товарищ капитан, — оправдывается Коротков, — но...

— Никаких «но»! Сумка должна быть не в руках, а на ремне через плечо.

Комэск еще раз обходит строй и приказывает всем вытянуть вперед руки. Он подходит к каждому и внимательно рассматривает ногти, заставляет поворачивать ладони то вверх, то вниз.

— Что это у вас, мадам, маникюр? — Он останавливается около лейтенанта Ротанова.

— Только на мизинцах...

— Четвертый десяток живу, товарищ лейтенант, и еще не видел, чтоб военные с маникюром ходили. Немедленно обрезать. Вот, возьмите. — Комэск вытаскивает из планшета большие ножницы и сует их растерянному Ротанову.

Снова останавливается комэск. Теперь уже около летчика Крейнина. Прищуривает маленькие черные, чуть навывкате глазки, показывает на его сапоги:

— Чистить некогда? Или не умеете?

— Разрешите опустить руки, товарищ командир, не вижу, — отвечает не привыкший лазить за словом в карман лейтенант.

— Подошвы у вас грязные.

— Разрешите выйти из строя?

— Зачем?

— Хочу снять сапоги и посмотреть подошвы.

По строю прокатывается сдержанный смешок.

— Перестаньте паясничать, лейтенант! — зло рубит комэск и подходит ко мне. Ногти у меня в порядке, сапоги начищены до блеска.

Сердитые глаза Жизневского скользят сверху вниз. Острый взгляд впивается ниже пояса. Я машинально одергиваю гимнастерку.

— Покажите носовой платок!

Я вытаскиваю скомканный, не первой свежести платок. На маленьком лице комэска появляется презрительная гримаса. Жду, что будет дальше.

— Богаткин, Германовичи, выверните карманы, — приказывает он моим подчиненным.

Из карманов сыплются портсигары, спичечные коробки, перочинные ножи. Маленькое круглое зеркальце, описав на земле полукруг, подкатывается прямо к ногам Жизневского.

— Культурный экипажик, — с издевкой замечает комэск.

Я в замешательстве. От зеркальца в глаза больно бьет солнечный зайчик.

— Я вас спрашиваю, младший лейтенант, почему в вашем экипаже такое безобразие?

Мне никогда и в голову не приходило, что иметь при себе портсигар или перочинный ножик — преступление. Техники всегда таскают что-нибудь в карманах. А тут еще проклятое зеркало слепит глаза.

Я пожимаю плечами и произношу спасительное «не знаю».

— Не знаете? М-да! Может быть, я обязан за вас знать?

Но тут за меня неуместно вступается Городецкий. Этот невозмутимейший от природы человек, должно быть, не выдерживает. И хотя комэск пропускает его слова мимо ушей, Городецкий продолжает:

— А что касается Богаткина и Германовича, то они сейчас на работу идут.

— Я вас не спрашиваю, товарищ воентехник, — резко обрывает его Жизневский.

Но надо знать Городецкого. Если он до конца не высказался, его уж не остановишь. Он будто и не слышит никого в это время. Его ругают, а он твердит свое. Говорит медленно, путано. В эскадрилье к этому уже давно привыкли.

— Я вот вам и говорю, что после регламентов нам нужно еще девиацию прокрутить.

Лицо Жизневского становится серым.

— Прекратить разговоры в строю!

Но Городецкому этот крик — что об стенку горох. Да он, наверное, и не слышит Жизневского. Немного помолчав, как бы собираясь с мыслями, техник смотрит немигающими глазами на командира:

— Понимаете, на наших самолетах надо девиацию прокрутить. Освободили бы нас от политинформации?

Трудно сказать, чем бы закончилась «дискуссия» величайшего флегматика и чересчур требовательного, к тому же вспыльчивого комэска, если бы не Хархалуп. Он когда-то служил с Городецким, хорошо знает привычки техника и глубоко уважает его.

Хархалуп подходит к командиру эскадрильи, показывает какие-то бумаги и отводит его в сторону.

А техник звена все еще продолжает свою тираду:

— Ну, на самом деле... Если мы сегодня не подготовим самолеты, в понедельник звено не сможет летать. Это уж точно...

Он намеревается еще что-то сказать, но стоящий

рядом рослый Кондратюк¹ закрывает ему лицо своей пилоткой.

Все неосторожно прыскают. Командир эскадрильи резко оборачивается, думая, что смеются над ним.

— Вот так, — начинает он спокойным, ледяным голосом. — Вы, товарищ Городецкий, и ваши подчиненные сегодня после работы в течение часа подберете вокруг стоянки все окурки и прочий мусор. Что касается вас, товарищ Речкалов... — Его взгляд останавливается на мне, и я понимаю, что для младшего лейтенанта Речкалова субботний день безнадежно испорчен. — ...С вами я поговорю особо.

Жизневский выходит на середину. Воцаряется напряженная тишина.

— Я уже давно заметил, — сухо, с расстановкой начинает он, — что командиры звеньев совершенно не заботятся об уставном порядке. Я говорю о внешнем виде. Почему такая разболтанность? Требую навести у себя в звеньях порядок. С нерадивых буду строго взыскивать!

На линейке по-прежнему мертвая тишина.

Хархалуп подходит к командиру, о чем-то его спрашивает и оглашает расписание сегодняшних занятий.

* * *

После политинформации технический состав отправился к самолетам, а летчики столпились в курилке, обсуждали договор о дружбе и ненападении между СССР и Югославией, о котором только что сообщил нам старший политрук.

¹ Кондратюк Георгий Александрович, комзвена, мл. лейтенант, 1916 г.р., 09.07.41 г. на «И-153» в районе Креулены сбит ЗА противника. Личных побед не имел.

Особенно много кривотолков вызывала статья вторая. В ней говорилось, что, если одна из сторон подвергнется нападению, другая обязуется соблюдать политику дружественных отношений.

Петя Грачев¹ понимал эту часть договора как наше прямое обязательство оказывать военную помощь Югославии.

— На Балканах живут наши братья-славяне, и мы обязаны помочь им! — доказывал он.

— Ну а как тогда с договором о ненападении между СССР и Германией? — усомнился осторожный Дмитриев.

Этот вопрос поставил нас в тупик. Газеты сообщали, что взаимоотношения Советского Союза с Германией налаживаются. Гитлеровские дипломаты частенько наезжали в Москву, улыбались с газетных полос. Даже в нашем маленьком городе разъезжали какие-то экономические представители в немецкой форме, улаживали якобы свои дела с бывшими частными фирмами в Бессарабии.

Как мы ни вертели события, вывод напрашивался один: договор удержит Германию от нападения на Югославию.

Удар в рельс возвестил о конце перекура. Начались занятия по тактике. Проводил их командир эскадрильи. Мы уже знали: если занятия ведет Жизневский, проверка будет основательная.

Капитан вытащил из планшета справочник и аккуратную тетрадь с записями.

— Младший лейтенант Гичевский, расскажите нам о «сто девятом».

¹ Грачев Петр Петрович, летчик, мл. лейтенант, 1919 г.р., 30.09.41 г. в районе Сарагозы погиб на «Ил-2» в бою в составе 88-го иап. К моменту гибели имел на своем счету 2 сбитых самолета противника.

Гичевский¹, обычно спокойный и немногословный, не раз уже отвечавший на этот вопрос, поднял глаза к потолку и завел монотонным голосом:

— «Мессершмитт-сто девять» с мотором Даймлера-Бенца в тысячу семьдесят лошадиных сил развивает максимальную скорость пятьсот семьдесят километров в час.

Скороговоркой Павел перечислил другие характеристики немецкого истребителя и умолк.

— Это все? — спросил Жизневский.

Гичевский молчал. Капитан заглянул в справочник и поднял младшего лейтенанта Яковлева².

— О чем не сказал Гичевский?

— Следует добавить, что «Мессершмитт» — свободно несущий моноплан, а его посадочная скорость — сто двадцать километров в час.

— Все?

— Теперь все.

— А длина?

— Виноват, — поправился Яковлев, — длина восемь метров семьдесят шесть сантиметров.

За задним столом громко зашпорили Сдобников и Крейнин. Раздался смешок.

Командир эскадрильи недовольно посмотрел на «галерку».

— Лейтенант Крейнин, в чем преимущество нашего истребителя перед «Мессершмиттом»?

¹ Гичевский Павел Григорьевич, летчик, мл. лейтенант, 1914 г.р., 26.10.41 в Зернограде Ростовской обл. застрелен летчиком 55-го иап лейтенантом Зибиным при неосторожном обращении с оружием. К моменту гибели сбитых самолетов не имел.

² Яковлев Николай Васильевич, летчик, мл. лейтенант, 1920 г.р., 25.06.41 г. на «МиГ-3» сбит в в/б в районе Губовка. Похоронен 28.06.41 г. на кладбище п. Маяк. На момент гибели имел один сбитый самолет.

— В двух крыльях и в маневренности, — не задумываясь, выпалил тот.

— Я вас серьезно спрашиваю, товарищ лейтенант.

— Я вам серьезно отвечаю, товарищ командир. Если на нашем истребителе повредят одну плоскость, в запасе останется три, а у «Мессершмитта» — только полкрыла.

Крейнин отвечал так невозмутимо, что по его лицу нельзя было понять, смеется он или говорит всерьез.

Мы молчали, поглядывая то на командира эскадрильи, то на Крейнина.

— Товарищ командир, разрешите? — вскочил Деметьев и затараторил:

— Основное преимущество «Чайки» перед «Мессершмиттом» заключается в скорострельности и секундном залпе в триста семьдесят граммов как основном факторе, важном для победы в бою.

— Совершенно верно, — резюмировал Жизневский. — В мире нет скорострельнее нашего оружия.

— Большая скорострельность, — не унимался Деметьев, ободренный похвалой командира, — увеличивает вероятность попадания. Дал очередь перед носом противника, он и вскочит в сноп огня.

Сейчас над таким ответом летчики хохотали бы до упаду. А ведь большинство из нас именно так и представляло тогда победу в бою: длинная очередь по противнику, лобовая атака — это считалось основным арсеналом тактических приемов.

По рукам ходили затертые до дыр газеты и журналы, в которых описывались неотразимые лобовые атаки известных наших летчиков, воевавших в небе Испании и на Халхин-Голе. Для нас это были непревзойденные примеры героизма.

Вспоминая сейчас то время, удивляешься, как примитивно мы изучали тактику! О противнике мы не знали ничего. В каких боевых порядках летают немецкие самолеты? Как они атакуют цели, ведут воздушные бои? Представление обо всем этом было самое что ни на есть смутное.

А групповой воздушный бой? Я, например, отвечал Жизневскому на этот вопрос так:

— Групповой воздушный бой проводится двумя группами. Скоростные истребители «И-16» ведут бой на вертикалях в верхнем ярусе. Мы же на «Чайках», как более маневренные, деремся внизу на виражах или боевых разворотах.

Боев со скоростными истребителями мы никогда не проводили и знали о них опять-таки по слухам да по событиям в Монголии.

Каждый считал своим долгом высказать собственное мнение о воздушном бое. Некоторые, например, полагали, что успех боя зависит главным образом от умения резко пилотировать самолет. Особенно об этом любили поговорить Дементьев и Тетерин¹.

Летчики знали, что ни тот, ни другой не умеют хорошо пилотировать в зоне, самолета побаиваются, и не очень-то прислушивались к их разглагольствованиям. А Хархалуп — тот прямо рубил сплеча: подобную теорию, говорил он, могут проповедовать только трусы, а настоящий летчик обязан выжимать из истребителя все, на что тот способен.

Забегая вперед, скажу, что на войне не было, по-

¹ Тетерин Леонид Владимирович, комэск 16-го гиап. Погиб в авиакатастрофе на самолете «Аэрокобра». Боевой счет — 7 лично сбитых самолетов и 2 в группе.

жалуй, ни одного боя, в котором бы нам приходилось «ломать» самолеты в воздухе резким пилотажем.

Занятия по тактике и на этот раз не дали ничего нового. Часы прошли — и слава богу. Зато на материальной части (ей были посвящены последние два часа занятий в этот день) летчики работали с удовольствием.

* * *

Мой самолет стоял на «пяточке», подготовленном для устранения девиации. Невозмутимый Богаткин колдовал у мотора, оружейники устанавливали патронные ящики.

— Ну как, Афанасий Владимирович, — обратился я к своему технику, — успеем сегодня справиться?

Богаткин был много старше меня, и я всегда величал его по имени-отчеству. В авиацию он пришел давно. Служил солдатом, мотористом, механиком. Словом, был мой Богаткин насквозь промасленным «технарем» и прекрасным знатоком своего дела. Худое лицо его с заостренным подбородком загорело от постоянного пребывания на солнце. Лукавые глаза обрамляла мелкая сеть морщинок.

— Все будет в порядке, командир. Разве Богаткин когда-нибудь не заканчивал работу вовремя? То-то же, — подмигнул он мне. — Ждем вас уже давно, вот только штурман куда-то запропастился.

— Я здесь, — весело закричал незаметно появившийся Ротанов¹. — Можно начинать, — и бойко вскочил на подножку.

¹ Ротанов Тимофей Тимофеевич, лейтенант, адъютант аэ, 11.7.41 г. не возвратился с боевого задания.

— Ноги-то вытри, прежде чем в кабину лезть, — одернул его Богаткин. — Не видишь — коврик лежит?

Я всегда удивлялся предусмотрительности и аккуратности своего техника. Все у него на месте, все под рукой. Инструмент хранился не в брезентовых сумках — как у всех, а в деревянном чемоданчике; для каждого ключа — свое гнездо, выкрашенное в красный цвет: возьмешь ключ или отвертку, и сразу видно, чего не хватает. Ящик с песком Богаткин тоже сколотил сам: добротный ящик, аккуратно выкрашенный масляной краской.

— Ну, ну, уже заворчал, — огрызнулся штурман, но ноги вытер.

— Становись под хвост, поехали крутить.

— «Ехало» не едет, и «ну» не везет. Ты поторапливайся, сегодня суббота.

— Куда вам спешить. Вы сначала окурочки подберите на стоянке, — подковырнул Ротанов. — А я посмотрю.

У хвоста самолета собрались техники. Ротанов привернул к козырьку кабины магнитный пеленгатор и нацелился на стоящее на холме дерево. По его команде техники разворачивали самолет то вправо, то влево, а он снимал и записывал показания компаса.

Ребята сыпали шутками.

Смеялись над Герmanoшвили, который недавно, стоя ночью на посту, открыл стрельбу по приبلудной корове.

— Расскажи, Вазо, как ты стрелял в «шпиона», — допытывался младший воентехник Бессикирный.

— Нэ хочу повторять, опять смеяться будэшь, — отнекивался Герmanoшвили.

— Ты нам расскажи, — настаивали другие.

— И что тут красивый, нэ панимаю. Стаю с ружь-

ем на стоянка. Тихо совсэм. Ухом вдруг слышу: дышит кто-то, ногам осторожно шагает, а глазам нэ вижу. Сам понимаешь, ночь, темно, как в старый сакля. Кричу: «Стой, стрелять буду!»

— Ну а дальше?

— Что дальше? Топ-топ, совсем близко дышит. Что делать? Еще раз громко кричал «Стой!», а потом, как надо, стрелял.

Все весело смеялись, хотя многие уже не первый раз слышали эту историю.

В небе послышался слабый рокот мотора. Мы насторожились. Незнакомый звук постепенно усиливался, приближался к аэродрому.

Первым увидел самолет Ротанов. Высунувшись из кабины и задрав к небу белобрысую голову, он указывал на маленькое черное пятнышко:

— Вон, из-за тучи выходит!

Самолет медленно и высоко плыл со стороны города. Хорошо был различим длинный, как у крокодила, нос между двумя близко расположенными моторами, слегка скошенные назад закругленные крылья.

— «Хейнкель»! — крикнул со стоянки Ханин¹. — Откуда он взялся?

Закругленный вырез на задней кромке крыла у фюзеляжа, полуовальная форма оперения. Да, это «Хейнкель». Но чем вызван его визит?

Мы знали, что немецкие самолеты иногда нарушают нашу границу. Однако атаковать их запрещалось. Нам объясняли, что это ошибочные залеты.

¹ Ханин Иван Ефимович, мл. л-т, 1920 г.р. За три дня до начала войны на «И-153» вылетел на перехват немецкого разведчика. Погиб на территории Молдавии. Предположительно убит немецким бортстрелком — в теле были обнаружены пулевые отверстия.

Вышел даже специальный приказ: при встрече в воздухе немецкие самолеты не атаковать, а знаками показывать им курс на запад.

«Хейнкель» спокойно пролетел над нашим аэродромом.

— Красиво летит, — залюбовался воентехник Борисов.

— Чего тут красивого! — возмутился Петя Грачев. — Сбивать надо паразита, а не восхищаться.

— Смотри, как бы он тебя не того, юнец! — усмехнулся воентехник.

— Знал бы, что это враг, вlepил бы по самую катушку, — кипятился Гичевский.

— Если бы да кабы... — угрюмо проговорил Ханнин. — Без приказа ни ты, ни я не имеем права стрелять. Немцы в нашем небе хозяйничают, а мы сидим, как клуши.

— Все вы храбрецы на земле, — подзадорил летчиков Борисов. — А в воздухе в конус попасть не можете.

— А ты что, летал с нами? — крикнул ему вдогонку Грачев. — Занимайся-ка лучше своими горючесмазочными.

Борисова из батальона обслуживания летчики не жаловали, хотя ни в чем упрекнуть его не могли: знали мы его плохо, да и не пытались узнать поближе, — как-то душа не лежала, хотя сам он очень любил заводить знакомства с летчиками.

Самолет скрылся за огромной черной тучей. Ослепительная зигзагообразная молния рассекла воздух, и в затихающий рокот моторов влился громовой пережат.

— Эй, ребята, пошевеливайся, гроза надвигается, — заторопил Городецкий.

Мрачные лохматые тучи быстро обволакивали

небо. Трава затрепыхалась под сильными порывами ветра. О перкалевые плоскости расплющились первые дождевые капли.

— Тяни на стоянку, братва, у меня все в порядке! — звонким тенором крикнул Ротанов, выскакивая из кабины.

— А ну-ка, — он подсунул мне журнал, — распишись за ювелирную работу.

Получив подпись, Ротанов лихо сдвинул набор пилотку и, бодро посвистывая, направился к соседнему самолету.

Работа на материальной части подходила к концу. Техники зачехлили самолеты. За теми, кто жил в городе, пришел грузовик. Кое-кто забрался в кузов, другие потянулись в казарму переодеваться. А наше звено ходило взад и вперед вдоль стоянки, подбирая окурки, время от времени с опаской поглядывая на небо. Тучи вплотную подступили к аэродрому. Все притихло в ожидании грозы. По отдаленным холмам сплошной стеной уже косил дождь. Машина с людьми ушла в город.

Выполнив приказ командира, мы вернулись в казарму. Там вовсю шла подготовка к увольнению. Летчики спешили поспеть к следующему грузовику: начищали сапоги, меняли воротнички, прихорашивались в умывальнике перед потускневшим зеркалом.

Ждали только адъютанта. Он подписывал у командира список отъезжающих.

— Выходи на построение! — послышался голос дежурного. Эту последнюю субботнюю команду мы всегда выполняли с особым удовольствием. Я стремглав побежал к выходу, застегивая на ходу гимнастерку и ремень.

— Ты, Речкалов, можешь не спешить, — съехидничал Дементьев, — тебя в списках нет.

Я подошел к комиссару. Пушкарев виновато посмотрел на меня:

— Мы все просили — и я, и Хархалуп, и Дубинин... Командир ни в какую...

— Но я ведь не был...

— Знаю, все знаю. Три недели не был дома. Схожу еще к Чупакову.

Я побрел в казарму. Не раздеваясь, бросился на кровать. Душила обида.

Пришли Петя Грачев и Ротанов. Вместе с Пушкаревым они были у комиссара полка, но все уговоры оказались бесполезными: менять решение командира эскадрильи Чупаков отказался.

Прибежал Ханин.

— Домой писать будешь? Давай передам.

В городе мы жили по соседству. Но что написать жене? Как объяснить свое отсутствие? Я отказался.

Ребята ушли. Гнетущая тишина казармы навалилась на меня. Я вышел на улицу. Мрачные тучи обошли аэродром стороной и всю свою тяжесть обрушили на город.

Что делать? Чем заняться? У входа в казарму стоял прислоненный к стене велосипед.

— Чей это велосипед? — спросил я дневального.

— Вашего комэска.

— Разве он не уехал?

— Уехал на «пикапе» с комиссаром полка.

Короткий разговор с дневальным и...

* * *

Через полчаса я уже был в городе. Чтобы случайно не наткнуться на знакомых, я старался ехать по глухим, слабо освещенным улицам. Дома, окруженные аккуратненькими заборчиками, утопали в зеле-

ни. Окна их уютно светились в темноте. Из садов тянуло душистой сиренью.

А вот и мое жилище. Я стряхнул с велосипеда налипшую грязь, несколько раз стукнув его колесами о мостовую. Дом был большой, приземистый и, как многие, — одноэтажный. Хозяин занимал две из четырех комнат, другую половину дома сдавал квартирантам. В одной комнате жил я с женой, в другой — два лейтенанта: танкист и пехотинец. В моем окне горел свет.

«Не спит», — с нежностью подумал я и негромко постучал.

Открыла хозяйская дочь Роза, стройная черноволосая девушка.

— Ой, а мы вас не ждали, — удивленно проговорила она. — Только что был лейтенант и передал, что сегодня вы не приедете.

Фиса услышала наши голоса и вышла из комнаты с Валериком на руках. В ее широко открытых глазах я сразу прочитал и волнение, и тревогу, и внезапно вспыхнувшую радость.

Полугодовалый сынишка шевелил губами, смотрел на меня не мигая, будто тоже хотел сказать: «Мы так соскучились и рады, что ты приехал».

Тяжело дыша, прошлепал по коридору тучный хозяин. Старика душила астма, но он пошел растапливать мне ванну. Вслед за ним на кухню выкатилась его супруга, такая же пухлая и грузная. Старики уважали нас, часто помогали жене, возились с ребенком, старались во всем угодить.

Мы прошли в свою комнату. Тут было тихо, светло, уютно.

— Ждала? — негромко спросил я.

— Очень.

Серые глаза Фисы затуманились. Она прильнула ко мне, и мы долго стояли молча.

— Ну что же мы стоим? — встрепенулась Фиса. — Ступай в ванную, а я быстренько соберу ужин.

Вскоре мы уже сидели за столом. Фиса налила в маленькие рюмочки рому.

— Для тебя купила. Посмотри, какая красивая негритянка на этикетке. В носу кольцо. Все покупают, хвалят — и я взяла. Говорят, этот ром — лучший в мире.

Мы задохнулись от горечи и крепости первого же глотка, закашлялись. И к знаменитому рому больше не притронулись.

— Ты на велосипеде приехал? Чей он?

Сделав вид, будто не расслышал вопроса, я подошел к радиоприемнику. В эфире воинственно гремели немецкие марши; беззаботно и весело играл джаз Белграда; на софийской волне лирично пел аккордеон; знакомый голос Ольги Высоцкой передавал последние известия из Москвы.

Мы настроили приемник на Киев и долго слушали мягкий, задушевный голос Клавдии Шульженко...

Утренний сон был прерван непонятным гулом. Вначале слабый, он быстро приближался, нарастал и вскоре начал походить на глухой рокот движущегося по мостовой танка. Вот танк с грохотом пронесся мимо нашего дома, зазвенели стекла, задрожал пол — и все стихло.

— Что это? — встревожилась жена.

— Наверное, танкисты. С ученья возвращаются. Спи.

Но уснуть не удалось. Через несколько секунд гул послышался снова. Потом загрохотало с такой силой, что на потолке судорожно закачалась люстра и со стола что-то упало.

— Землетрясение! — послышался взволнованный голос хозяйки. — Скорее выходите из дома! Скорее, скорее!

Не заглох еще тысячеголосый рокот второго толчка, как третья волна со страшной силой сотрясла землю. Я схватил ребенка и выбил перекосившуюся дверь. Сзади в комнате что-то затрещало и рухнуло. На улице творилось невообразимое. Люди повыскакивали из домов кто в чем был. Повсюду раздавались крики и плач. Наши хозяева в панике метались по переулку, что-то кричали, звали нас к себе.

Снова загудела земля. Под голыми ступнями противно зашевелился бульжник. Чтобы не упасть, мы тесно прижались друг к другу и с ужасом смотрели, как, расколовшись надвое, медленно оседало двухэтажное здание.

Подземный грохот смешался с треском развороченного кирпича, лопнувшей крыши, хрустом ломающихся потолков и перегородок. Желтая пыль клубами повисла в воздухе. Легкий ветерок кружил осыпавшиеся с яблонь лепестки; я машинально смотрел, как они кружатся в воздухе, медленно оседают на голые плечи хозяйской дочери, прилипают к ее черным волосам.

— Бесстыдник, куда смотришь, укрой лучше Валерочку, — раздался над самым ухом голос Фисы.

Слова жены в наступившей вдруг тишине словно отрезвили всех, стряхнули общее оцепенение. Женщины сразу вспомнили, что они полуодеты, и, сконфузившись, стали разбегаться по домам.

Спать в это утро уже не пришлось. В последний раз где-то неподалеку пропели петухи. На восточной половине неба появилась розоватая полоска зари. Взошло приветливое солнце. Весело зачири-

кали в саду воробьи. Словно и не было никакого землетрясения.

Подсмеиваясь друг над другом, мы с женой начали выносить из дома обвалившуюся штукатурку, собирать осколки разбитой люстры. Нам было хорошо: мы были вместе, хоть для этого и пришлось пережить столько волнений.

* * *

Пустовавшая весь день небольшая уютная комната красного уголка к вечеру стала заполняться людьми.

Я сидел в комнате дежурного и время от времени поглядывал на часы: прикидывал, успею ли подготовиться сегодня к завтрашним полетам. Кроме дежурного воентехника Дурнова, о моей проделке никто не знал. За вчерашнюю услугу Дурнов попросил меня подежурить вместо него полчаса, пошел ужинать и исчез, будто в воду канул.

В эскадрильеской каптерке писарь Кравченко старательно вычерчивал какой-то график. Из-за фанерной двери доносилось его мурлыканье:

...Позабыт, позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет...

Он мне до чертиков надоел. Я вошел в красный уголок. Двое техников из четвертой эскадрильи уткнулись в шахматную доску. В углу белела клавиатура раскрытого пианино. Дверь на веранду была распахнута, и оттуда неслись гитарные переборы.

Обычно на веранде собирались наши острошловы и весельчаки. Но в этот вечер она пустовала. Развалившись в плетеном кресле, младший лейтенант

Иванов, компанейский парень и гитарист, вяло наигрывал что-то. Он был не в духе. Несколько летчиков поодаль рассказывали друг другу, где их застало землетрясение.

Меня поманил Шульга. Широко улыбаясь, отчего на его впалых щеках образовались глубокие продольные складки, он заговорщицки подмигнул.

— Не слышал, что утром произошло?

— Нет. А что? — любопытствовал я.

— Кое-что могу рассказать, — небрежно бросил он. — Да ты знаешь, наверное...

— Говорю тебе — нет.

— Понимаешь, — снизошел он, — вылезая сегодня утром из кабины, смотрю — несется на велосипеде какой-то военный. — Шульга на мгновение умолк, лукаво поблескивая карими глазами. — Фигура знакомая, а кто — так и не рассмотрел. Кто бы это мог в такую рань спешить из города в казарму?

— Кто-нибудь из солдат, может быть? А я тут при чем?

— Да нет, может, видел?

— Не видел. Я после «веселья» в царстве Тартара даже завтрак проспал. А на будущее советую тебе поменьше смотреть куда не следует.

— Учту. Однако тебе рекомендую наоборот: не на будущее, а сейчас же.

Я оглянулся. В дверях стоял наш комиссар. Скомандовать «Смирно!» я не успел: Пушкарев рукой предупредил мое намерение. Лицо его было сосредоточенно.

— Слыхали? — спросил комиссар. Все затихли. — Сегодня утром Германия атаковала аэродромы Югославии и Греции. «Юнкерсы» сбросили бомбы на Салоники и Белград; мост через Дунай разрушен, белградский вокзал горит.

Мы посмотрели на запад. В лиловом небе вспыхивали молнии. Надвигалась гроза.

Над рекой курилось сизое испарение. Оно медленно заполняло низины, бисером оседало на траву. Из-за холмов выплывал огненно-желтый диск, похожий на огромный круг светофора. Вокруг него в оранжевом накале плавилась перистая облака.

Над аэродромом кружились серебристые истребители. В «пяточке» — квадрате, обозначенном красными флажками, летчики упражнялись в стрельбе на тренажере-прицеле. Другие взлетали или заходили на посадку. Кое-кто, напряженно щурясь, наблюдал за пилотажными зонами, где товарищи выполняли полетное задание.

Богаткин бодро отрапортовал мне:

— Товарищ командир, самолет к вылету готов. Разрешите узнать, какое задание?

— Трудное, Афанасий Владимирович. Воздушный бой с Хархалупом. Видел, как он сейчас гонял в зоне Дмитриева?

— Конечно. Красивая карусель!

— Теперь мой черед.

— Ничего, командир, выдержишь, посмелее только на него нападай, а самолет не подведет.

Подошли Пушкарев и Дубинин. Я доложил о готовности к вылету.

Комиссар взял меня под руку и отвел в сторону.

— Мы решили поговорить с тобой, — начал он. «Уже дознались! Кто бы им мог сообщить, неужто Шульга?»

— Хотим послать тебя на курсы командиров звеньев, — дружелюбно сообщил Дубинин.

Я облегченно вздохнул: «Если б узнали, не посылали бы...»

— Ну как, согласен? — спросил Пушкарев. Разго-

вор застал меня врасплох. Я не знал, что ответить. Заметив мою растерянность, Дубинин посоветовал мне не спешить с ответом и подумать.

Подбежал запыхавшийся Германовшвили:

— Старший лейтенант Хархалуп просит поторопиться с вылетом!

Я глянул в сторону «вражеской» «Чайки». Хархалуп, с парашютом за спиной, держал шлем наготове и грозил мне кулаком.

Я быстро привязался ремнями, закрыл борт и осмотрелся. Сразу стало тихо и душновато. В кабине отчетливо щелкали часы.

— Запуск! — скомандовал я Богаткину.

— От винта! — раздалось в ответ.

Самолет вздрогнул, мотор стрельнул несколько раз, потом заработал ровно и устойчиво.

Я показал Богаткину большой палец: отлично! Техник широко улыбнулся и вскочил на плоскость; придерживая пилотку, еще раз осмотрел кабину, приборы и, подмигнув мне, крикнул:

— Ну, ни пуха!

«Беспокоится! Хороший он человек».

Я вырулил на старт. Впереди взлетел самолет Хархалупа. Моя машина мягко пружинила на неровностях. Сзади цепочкой вытянулись пузатые бензозаправщики, автостартеры с опущенными хоботами, «санитарка», у которой маячила коренастая фигура Грачева. Справа мелькнул солдат-стартер с двумя флажками; у столика руководителя полетов столпились летчики.

Я не отличался особым честолюбием, но мне совсем не хотелось, чтобы те, кто будет наблюдать с земли за воздушным боем, говорили потом: «И высыпал же ему Хархалуп!»

Разглядеть собравшихся я не успел — стартер взмахнул белым флажком.

По большому кругу я набрал высоту.

Знакомый до мелочей аэродром, одна сторона которого примыкала к заболоченной речке, отступал все дальше и дальше. Сверху он выглядел как большой зеленый выпас для скота. С высоты птичьего полета наше жилье походило на колхозные фермы.

Земля отдалялась с каждой секундой, стрелка высотомера быстро подходила к цифре «четыре». Посмотрел на часы. С момента взлета прошло пять минут. Хорошо. Вот и зона. Где же Хархалуп? Что-то сверкнуло на фоне белого облака. Присмотрелся. Он, «противник». Хитрит. Забрался повыше. Ну что ж, Хархалуп пока на развороте, а я уже на прямой. Разницу в высоте сокращу разгоном.

Он заметил меня. Наши истребители мчатся навстречу друг другу. Моторы ревут на полную силу. Машины свечой взмывают вверх. В глазах темнеет. «Только бы не потерять его из виду. Только бы не потерять...»

На какое-то мгновение «вражеский» самолет вздрагивает, приостанавливается. Вот теперь можно зайти ему в хвост.

...«Бились» мы долго. Трижды сходились на встречах курсах, и каждый раз каскад умопомрачительных фигур заканчивался тем, что я заходил Хархалупу в хвост, прочно удерживая его самолет перед носом своей «Чайки».

Усталый и довольный, я зарулил на стоянку. Богаткин знаками показал, куда ставить самолет. Товарищи уже стояли здесь, переговаривались и смеялись. Они, конечно, наблюдали за нашим боем.

Я выключил мотор и услышал привычный вопрос техника:

— Какие замечания, командир? Как мотор?

— Все хорошо. Замечаний нет.

Мне очень хотелось скорее рассказать, что произошло сейчас в воздухе. Хархалуп бит! С таким опытным летчиком я сражался впервые.

Не успел я снять с себя парашют, как Петя Грачев покатился со смеху:

— Здорово же ты надрал ему загривок. Даже свой взмок, — он похлопал меня по мокрой спине.

— Старался, — смущенно ответил я.

— Видели мы, как ты «старался», со струями крутил.

Я принял весь этот разговор всерьез. Мне не терпелось поделиться наконец своим успехом, но меня перебил наш острослов Ротанов. Он стоял в хвосте самолета и раскачивал из стороны в сторону руль поворота. Выглядывая из-под стабилизаторов, Ротанов деловито осведомился:

— Слушай, а где фала?

Он имел в виду стальной трос для буксировки мишени в воздухе.

— Какая фала? — удивился я.

— Та самая, за которую держался Хархалуп.

Все расхохотались, а Богаткин, старый авиационный служака, с трудом сдерживая улыбку, притворно нахмурился и принялся отгонять Ротанова от хвоста:

— На моего командира не наговаривай. И рулем перестань шуровать, трос перетрешь.

Летчики засмеялись еще громче.

Я все понял.

Оказывается, они решили, что не я избиваю Хархалупа, а он меня. Я бросился доказывать, но мне никто не верил. И это было горше всего. Радость от победы над Хархалупом сразу же исчезла.

Мне было хорошо известно, что Хархалуп силь-

ный «пилотяга», а физически, во время перегрузок, способен разломать самолет. На что я надеялся? На упрямство и молодость? Отчасти.

Еще до вылета я старался внутренне мобилизовать себя. Хотелось доказать товарищам, что нельзя заранее обрекать себя на поражение, а в любом случае — биться до победного.

И вот теперь, когда нелегкая победа вырвана, друзья крепко задели мое самолюбие. Как они могли не поверить товарищу?! Почему заранее уверовали в победу «сильного»? Среди нас, молодых, авторитет Хархалупа был высок, но разве только в авторитете дело?

«Что поделаешь, — думал я, одиноко бродя по стоянке, — выходит, иногда авторитет действует на людей сильнее очевидных фактов. Конечно, в следующем вылете я буду стараться изо всех сил снова выиграть бой и доказать свою правоту, но в жизни ведь случается и другое: не только доказать, но и пикнуть тебе не дадут — лишь бы поддержать состарившийся авторитет».

Герmanoшвили догнал меня. Подделываясь под мой шаг, он некоторое время шел молча — чувствовалось, ему хочется меня успокоить. Наконец Вазо решительно выпалил:

— Командир, я видел бой. Красивый был бой. Не знаю, кто кого бил, но клянусь моей матерью — ты бил, он бил, оба дрался хорошо.

— Спасибо, Вазо. Ты куда?

— Так... хотел сказать, что Вазо думает. Потом патрон тебе принесу, хороший, много патрон. Сами стрелять в конус будут...

Забота Герmanoшвили растрогала меня, но стрелять я должен был не по конусу, а по наземным целям. Я сказал ему об этом. Вазо тут же нашелся:

— Ничего, мои патроны всегда попадут куда нужно.

В это время на стоянку зарулил «противник». Самолет сразу обступили. Я стоял поодаль и смотрел на Хархалупа. Даже с открытыми бортами кабина была узковатой для его могучих плеч. С помощью Городецкого он сбросил на землю парашют, стал на сиденье, снял с головы шлем, расчесал пятерней потные волосы и широко улыбнулся, обнажив крепкие, ослепительно белые зубы. «Таких только на плакатах рисуют», — подумал я, любуясь его атлетическим сложением.

— Тетерин! — весело крикнул он стоявшему у крыла круглолицему лейтенанту. — Как это у Козьмы Пруткова говорится о тузах?

— Не во всякой игре туз выигрывает, — глубокомысленно ответил тот, оглаживая большие залысины.

— Вот именно, — подтвердил Хархалуп, подняв указательный палец, и легко соскочил с плоскости: — В любом деле надо иметь в запасе хоть маленький, да козырь.

Меня всегда подкупала его спокойная немногословность. Вот у кого можно было поучиться рассудительности.

Присев в тени на самолетное колесо, Хархалуп внимательно посмотрел на меня.

— У тебя такой козырь есть, Речкалов. Понимаешь, я тебя и в третьей схватке потерял из виду. В одном и том же положении, понимаешь?

Без этого словечка «понимаешь» он жить не мог, вставлял его в разговор беспрестанно, как бы подчеркивая особую значимость сказанного.

— Ну, думаю, нет! Теперь старого цыгана не проведешь.

Летчики засмеялись. Все знали, что он цыган, родом из Молдавии, из-под Котовска.

Карие глаза Хархалупа поблескивали.

— Терпеть не могу у себя в хвосте посторонних. А тут — смотрю, Речкалов на меня жмет откуда-то сверху. И шнуры белые за крыльями, как веревки, тянутся, а диск винта уже где-то рядом с хвостом блестит, даже страшно стало. Ну, тут, понимаешь, такое меня взяло: «Никогда, думаю, Семен, не случилось такого, чтоб тебе хвост драли». — На широком лбу Хархалупа собрались упрямые морщинки. — Скорость за пятьсот, газ до упора. Рванул я ручку на себя сколько было силы. В глазах темно. Потом словно кто кулаком оглушил. Очнулся, в глазах круги: что с самолетом — не пойму. Очки слетели. Думал — Речкалов мне хвост отрубил. Поглядел — хвост на месте, а этот тип, — он кивнул на меня, — опять сзади!

— И вы поддались? — разочарованно спросил Дементьев.

Хархалуп сердито прервал его:

— Это вам не боевыми разворотиками в зоне отделяваться.

Лейтенант легко «завожился с полуоборота» и в обиду себя не давал, но на этот раз ничего не ответил и притих. Все знали, что Дементьев избегает пилотажа, отделяется простыми фигурами и панически боится сорваться в штопор.

— А ты небось доволен? — добродушно улыбаясь, спросил меня Хархалуп. — Молодец, хорошо драться будешь! Понимаешь? Ну, что молчишь?

— Если говорить по существу, товарищ старший лейтенант, этот бой никто не выиграл.

— Как же так — никто?

— Видите ли, мне ни разу не удалось поймать вас в прицел. Как же я мог победить? Неужели такая карусель будет и в настоящем бою?

В разговор вмешался неугомонный Тима Ротанов:

— А наши как дрались в Монголии? И не такие карусели закручивали. Там...

— Что было там, наши «монголы», к сожалению, не рассказывали, — задумчиво произнес Хархалуп и тряхнул шевелюрой. — А стоило бы поговорить.

Действительно, я ни разу не слышал, чтобы Жизневский или кто-то другой делились воспоминаниями о своих боях в Монголии. Ходили, правда, слухи о подвиге Крюкова, о том, что он был сбит, горел в воздухе, спасся на парашюте. Но толком о его воздушном бое никто из нас не знал. Создавалось впечатление, что война, их опыт — сами по себе, а мы — сами по себе. Зубрим теорию, летаем, а зачем? Никто вразумительно не мог объяснить.

— Нет, Речкалов, зря ты думаешь, что никто в этом бою не выиграл. Ты выиграл. И выиграл уже тем, что перехитрил меня. Как я ни выкручивался, ты все равно настигал меня. Понимаешь? Но как? Вот чего я до сих пор не могу понять.

— Сам не знаю, — признался я. — К тому же, честно говоря, недоволен я боем. Разве таким должно быть настоящее воздушное сражение?

— Ты, Гриша, цену себе не набивай, — вмешался в разговор Тетерин. — По-моему, любой противник удерет, если окажешься у него в хвосте; размышлять ему некогда — держат его в прицеле или нет.

Тетерин командовал у нас звеном и всегда старался показать, что человек он серьезный, вдумчивый. Делал все не спеша, ходил как-то по-особенному — широко, плавно переваливаясь с боку на бок. Разговаривал спокойно, рассуждения свои подкреплял афоризмами Козьмы Пруткова, на нас, молодых, посматривал свысока. Однако с доводами его я не

согласился и заметил, что рассчитывать на слабость противника не стоит.

— Вот что, други, — прервал нас Хархалуп, — вопрос этот серьезный. Обсудим его потом. Одно скажу: не забывайте в бою о мелких козырях. А Тетерин, — он обратился ко мне, — правильный вывод сделал из этой «карусели». В настоящем бою ты на моем месте тоже удрал бы из-под прицела, а потом напал. Понимаешь? Ну, кто со мной летит сейчас?

— Я, товарищ старший лейтенант, — бойко ответил Яковлев.

— Готовься. А ты, Речкалов, очки мне купишь.

— Хоть сейчас, только в город отпустите, — обрадовался я.

Хархалуп лукаво улыбнулся и, разминаясь на ходу, направился к своему самолету.

— Вот силища-то, ребята! — глядя ему вслед, восхищенно протянул Коля Яковлев. — На третий бой со мной летит. Эх, где наша не пропадала! Пойду готовиться.

— После тебя он еще и из меня пять потов выжмет, — заметил Борис Комаров¹.

— Ты его, Коля, виражиком, да в штопор, сразу из-под хвоста и выбьешь, — посоветовали Яковлеву.

— Эй, Николай, потуже затянись перед вылетом, чтоб поджилки не дрожали, — крикнул вдогонку Деметьев.

Яковлев остановился и зло ответил:

— Я заквашен на других дрожжах, чем ты. — Его голубые глаза сузились, светлые брови сошлись в од-

¹ Комаров Борис Георгиевич, комзвена, мл. лейтенант, 1916 г.р. 10.09.41 г. на «МиГ-3» сбит на взлете с а/э Доренбург. Похоронен там же. К моменту гибели сбил 1 самолет лично и 2 в группе.

ну узкую ниточку. — От них душа хмелеет, а тело крепчает.

— Смотри, как бы хмель в голову не ударил, — не унимался Дементьев.

— Брось язвить, Дементьев! — прикрикнул Ротанов... — Хоть бы сам летал как следует, а то боя как черт ладана боишься.

— Иди, иди, таскай конус, — поддержал Грачев, — это тебе больше подходит.

Дементьева, как и Борисова, летчики не любили. Бывают же такие люди: у них и душа вроде нараспашку, а в товарищи их не берут. Дементьев тоже казался свойским, и все же от него отворачивались. Особенно противными были его глаза: они щурились от удовольствия, когда подмечали что-нибудь неладное, и излучали добро, когда надо было что-то выпытать. Летал он неохотно, больше буксировал конус в зоне стрельб. К начальству имел свой подход. Если Дементьев попадал в компанию, разговор уже не клеился и люди под разными предлогами начинали расходиться.

Со стоянки вырулили два истребителя. Над одним возвышалась крупная голова Хархалупа. Второго пилота — маленького белобрысого Яковлева — почти не было видно. На повороте он созорничал: дал полный газ, и упругая струя воздуха ударила в нас отработанными газами, пылью и гравием. Чертыхаясь, мы разбежались в разные стороны.

Возле меня оказался Борис Комаров.

— Помнишь, как мы с тобой воздушный бой вели? — вдруг спросил он. — Никто никого...

— Ну и что? — Я непонимающе взглянул на него. Комаров проводил взглядом взлетевшую пару и доверительно заметил:

— Значит, и я могу с Хархалупом тягаться? А?

— Конечно, Борис, не боги же горшки обжигают.

Две серебристые «Чайки» стремительно набрали высоту и скрылись в синеве...

* * *

Палил зной. Дежурный по полетам лейтенант Крейнин уже в который раз переставлял свой столик, чтобы быть в тени полотняного грибка. Он напряженно щурился на лежавшую перед ним плановую таблицу. В глазах рябило от галочек, стоявших против фамилий летчиков и номеров их самолетов. Один только вылет не был отмечен. Где же летчик? Время посадки давно истекло. Может, летчик давно уже приземлился, а он просто забыл поставить галочку? Крейнин взглянул на заправочную стоянку, но и там машины номер 33 не было.

— Терпеть не могу у себя в хвосте посторонних.

О своих сомнениях Крейнин доложил руководителю полетов. Пока они разговаривали, я сидел в кабине самолета, готовый к вылету на стрельбу. Богаткин обхаживал самолет и насвистывал.

Подошел автостартер. Германовшили соединил длинный металлический хобот с втулкой винта, и я подал команду к запуску.

Стрельба по наземным целям оказалась трудным орешком. Теоретически я знал ее хорошо, мог рассчитать с любой дальности, по любой цели и в тысячных измерениях разместить в сетке прицела. А вот попасть в цель с воздуха оказалось куда труднее, чем на бумаге. Немалую роль тут играл психологический фактор: честно говоря, я боялся «поцеловаться» с землей. К тому же и опыта не было никакого. Тем, кто летал на истребителях типа «И-16», приходилось легче. Прежде чем выпускать пилотов

на самостоятельную стрельбу, опытные инструкторы обучали их на двухместном «УТИ-4». Мы же постигали все премудрости стрельбы сами. Особенно трудно было определять угол пикирования. Именно от него зависел результат: на меньших углах — недолет, на больших — перелет.

Мы гнались за высокими показателями и потому старались стрелять с крутого пикирования, при углах, превышающих пятьдесят градусов. Действуя на глазок, мы невольно допускали ошибки. Но все кончилось хорошо. Ни одна из наших девчат еще не осталась без возлюбленного. А такое могло быть: ведь у летчика жизнь и смерть — всегда рядом.

...Я летел на стрельбу второй раз в жизни, и этот вылет чуть было не оказался для меня последним.

В летной школе мы не стреляли. В полку — только что начали. Как и следовало ожидать, результаты первой стрельбы были плачевные. Особенно у меня. Вместо четырех-шести заходов я сделал десять. Оказывается, дьявольски трудная штука — попасть в цель. То самолет качнет, то рулями сработаешь резко, вот и мечется сетка как угорелая. А тут еще земля наваливается со страшной силой. Кажется, еще миг — и останется от тебя мокрое место.

Пулеметы «ШКАС»¹ по тому времени считались очень скорострельными. Две тысячи выстрелов в минуту. Пила, а не очередь, все разрежет. Тридцать патронов, которые нам отводили для выполнения задания, — сущий пустяк; мгновенье — и нет ни одного. Великим экономом нужно быть, чтобы рассчитать их на две-три очереди.

Лишь одна пуля из тридцати, кажется, зацепила

¹ ШКАС — скорострельные пулеметы системы Шпитального и Камарицкого.

край мишени. А для удовлетворительной оценки, помнится, требовалось пять попаданий.

Полигон находился сразу же за городом, на маленьком заброшенном аэродроме. Бельцы — небольшой город: поднимешься на сто метров — и весь он как на ладони. Сверху я хорошо видел дом с черепичной крышей. Мой дом. Там жена, ребенок. Они совсем рядом. Промчатся бы над ними, покачать крыльями, напомнить о себе. Но, увы! — заданием это не предусматривалось.

Самолет от воздушных потоков крепко встряхивало. Я осмотрелся. Около мишеней — знак «Т»: стрельба разрешена. Бело-оранжевый дым шашки указывает направление ветра. При стрельбе его обязательно нужно учитывать. Скажут: подумаешь, ветерок... Да, ветерок! На земле он приятно освежает, ласково ерошит волосы, а во время стрельбы вредит страшно.

Пуля летит в воздухе с огромной скоростью — тысяча метров в секунду. Казалось бы, что для нее пятьсот метров? Каких-то полсекунды! А тот самый ветерок, что ласкает в теплый вечер волосы любимой, движется, допустим, со скоростью шесть метров в секунду. Мелочь? Но за эти полсекунды он «сдует» пулю ни много ни мало на три метра от мишени. Вот и попробуй не учти его!

Я учел. Сделал первый пристрелочный заход. Почувствовал — стрелять будет трудно, самолет здорово болтает на пикировании. Сетка никак не может задержаться на мишени. Делаю второй заход, третий... Лишь на четвертом удастся дать короткую очередь. Вижу, как на земле взлетают фонтанчики пыли. Недолет. Мишень лишь слегка задета. Угол пикирования маловат.

Пикирую еще. И опять неудача: угол пикирования вроде хорош и цель держится в прицеле, а вот гашетку нажать вовремя не смог. Давил на нее, да-

вил, но упустил момент: слишком тяжелый ход. Надо срочно выходить из пикирования; земля уже сигналит мне красными ракетами: «Стукнешься!» Захожу снова и снова. На шестом заходе решаю про себя: хватит!

Почти отвесно направляю самолет к земле. Перед глазами лишь маленькая, обведенная белым мишень да светящаяся сетка прицела. Машину болтает, мишень прыгает. Сиденье куда-то уходит. Ноги с силой упираются в педали. Перекрестье на какой-то момент замирает на верхнем обресе. Нажимаю на гашетку. Зеленые светлячки несутся вниз, к мишени. Земля с чудовищной скоростью надвигается на меня своей громадой. Самолет падает почти отвесно...

Изо всех сил рву на себя ручку управления. Серозеленая стена сдвигается назад. Но лишь на мгновение; на этот раз она явно не хочет уступать дорогу маленькому, хрупкому истребителю. Она уже совсем рядом, до нее какой-нибудь десяток метров.

Земля ждет меня. Теперь она неласковая, враждебная. Она кругом: внизу, впереди, по бокам, где-то совсем рядом. В глазах темнеет. Еще секунда, и меня не будет. Смерть уже дышит в лицо, она расширяет закрытые свинцовыми веками зрачки. И вдруг становится светло-светло. Передо мной яркий солнечный луг, напоенный терпким ароматом трав. Мама. Я, маленький, стою, прижавшись к ее юбке; она гладит меня по голове, приговаривает: нельзя, Грибушко, прыгать с крыши! Ушибешься, спинку поломаешь и будешь, как Федька-горбун. Рука у мамы теплая, ласковая. Как хорошо с ней! Возникает суровое лицо Некрасова, школьного инструктора. Он сердито выговаривает мне:

— Говорил я, что ты своей смертью не умрешь...

А вот и Фиса. Стоит на крыльце. На руках сынишка. Фиса ласково смотрит на него и шепчет:

— Скажи, Валерочка, папе: побыстрее возвращайся, скучно нам без тебя...

Фиса переводит взгляд на меня, в глазах ее — светлые облака. Откуда облака? Да вот же, совсем рядом, большие, красивые, и небо, синее-синее небо между ними. Но где земля?

Внизу одна за другой рассыпаются красные ракеты. Вместо знака «Т» выложен крест. Меня это уже не интересует. Вялость разливается по всему телу. Хочется спать.

Кажется, что время тянется медленно-медленно. На самом же деле проходят какие-то доли секунды... Мысли постепенно начинают проясняться, непонятная отрешенность исчезает.

Что произошло? Где я совершил ошибку, из-за которой едва не «сыграл в ящик»?

Позднее я докопался до истины. Виновником оказался ветер. На земле он дул в одном направлении, а на высоте в пятьсот метров — в противоположном. Он-то и вынес меня к мишени под большим углом.

На аэродром я прилетел с чувством собственной вины; медленно, «блинчиком», сел, зарулил на стоянку. Сразу бросились в глаза хмурые лица техника и оружейника. Они уже всё знали — мне не надо было вдаваться в подробности.

Мотор, охлаждаясь, лениво урчал на малых оборотах. Богаткин осмотрел приборы и буркнул:

— Выключай...

Я перевел лапки выключателя в нулевое положение. Винт несколько раз дернулся и застыл. И сразу стало тихо. Только над головой заливался невидимый жаворонок. В траве стрекотал кузнечик. Что может быть радостнее — снова чувствовать под ногами твердую почву после воздушной передрыги!

— Кто вам рассказал?

— Яковлев.

Я помолчал. Медленно расстегнул лямки парашюта, не спеша освободился от подвесной системы.

— И что же он болтанул?

— Как болтанул! Вы разве не слышали? — вспыхнул техник. — Старший лейтенант Хархалуп не вернулся на аэродром.

* * *

Я ворочался на своей койке, думая о жизни. Каким жалким казался мне этот мир! Что в нем человек! Мишень, в которую стреляет несчастье и очень часто попадает в цель.

В комнате стояла гнетущая тишина. Многие еще не вернулись с аэродрома. Вечером мне предстояло заступать в суточный наряд. Я пытался заснуть, но невеселые мысли разгоняли сон. Людям никогда не хочется умирать. Тем более весной, когда мир полон света, цветут сады, радуют и чаруют полевые дали. Я прикидывал так и этак, но никак не мог представить, что меня уже нет. Меня нет, а легкие кудрявые облака плывут, люди смеются, серебристые «Чайки» летают... Я тогда физически почувствовал, что у меня есть сердце, что оно может болеть, ныть. В груди щемило. Не хотелось ни о чем думать. Странно, никто не вызывал меня «на стружку». Обычно с таким делом не тянут. Наверное, все заняты розысками Хархалупа. Я почему-то был спокоен за него. Сильнейший летчик полка. Железный человек. Разве может с таким что-нибудь случиться? Но до сих пор о нем нет никаких известий, хотя времени прошло уже много.

В начале двадцатых годов Хархалуп подростком ушел из дому. Отец не мог прокормить большую се-

мью. Беспризорником скитался Семен по южным городам, попрошайничал, даже воровал. Хархалуп часто называл себя солдатом. И не ради красивого словца. Мальчуганом его приютили артиллеристы. Служил срочную, окончил курсы младшего комсостава. Потом по партийной путевке попал в авиацию. Нелегкая жизнь наложила свой отпечаток и на характер, и на внешний облик этого человека, простого и мужественного. Мы искренне любили его.

Ночь подходила к концу. Медленно светлел восток. В этот час особенно хотелось спать. Вяжущая дремота клонила голову, закрывала веки. Окно было распахнуто настежь. Я присел на подоконник, изо всех сил тараща глаза, но веки становились еще тяжелее. С улицы тянуло сыростью.

Зазвонил телефон. Я взял трубку.

— Алло, дежурный, дежурный? — выкрикивала телефонистка.

— Младший лейтенант Речкалов слушает...

— Говорите с погранзаставой.

Далекий, едва слышный голос сообщил, что там у них, в поле, лежит перевернутый кверху колесами самолет. Номер — «33». Я по буквам записал название населенного пункта.

— Где легчик? — дико закричал я.

— Летчик здесь, — раздалось где-то совсем рядом. Я оглянулся. У окна с парашютом за плечами стоял Хархалуп. Как всегда, подтянутый и стройный. Он приветливо смотрел на меня, и его большие, чуть покрасневшие глаза словно говорили: «Не ожидал? Удивил я тебя?»

Мне стало неловко; поспешно затянул ремень, поправил пистолет, расправил гимнастерку.

— Откуда это вы?

— Оттуда. — Хархалуп ткнул в телефонную трубку.

Вскоре я уже знал о всех его злоключениях. И о том, как заклинило мотор и Хархалупу пришлось садиться прямо на пахоту; и как самолет скапотировал, перевернулся на спину, так что летчик повис в кабине вверх ногами и висел до тех пор, пока не выкопал под кабиной дыру и не вылез наружу.

— И никто не помог?

— Проезжали земляки, — так Хархалуп называл бессарабцев, — да разве их дозовешься? Люди забиты, запуганы. Двадцать лет под игом румынских бояр — не шутка. Самолетов они не видели, — Семен Иванович широко улыбнулся, — да еще в таком виде — кверху «пузом». Услышали голос — и деру... На земляков надейся, а сам не плошай, — весело заметил он. — Оттопал двадцать километров — и дома.

Все это было рассказано просто, без рисовки, будто ничего особенного и не произошло.

— Ну а свободная койка найдется?

— Конечно!

Хархалуп раскрыл окно. В ночи, где-то совсем близко, запел соловей. Сначала медленно, словно спросонья, на низких нотах, как будто откашливался. Но вот попробовал новое колесо — и залился серебряным колокольчиком. Второй соловей отозвался ему лихим посвистом, и вскоре оба они разразились такой трелью, что у нас захватило дух.

— Хорошо... — негромко сказал Хархалуп. Он задумчиво смотрел в густые сиреневые заросли, над которыми уже начинала алеть тоненькая полоска зари.

* * *

На аэродроме меня вызвал командир эскадрильи. Я не знал зачем и строил по дороге на КП различные предположения. Наверное, снова снимать

стружку «за хулиганство», — так расценил мои действия на стрельбах капитан Жизневский, а с его легкой руки — и остальные. На эту тему со мной уже разговаривали и командир звена Кондратюк, и комиссар Пушкарев, и даже Петя Грачев.

Меня ждало наказание. Жизневский был в этих вопросах педантичен, он поступал точно по новому дисциплинарному уставу, который разрешал определять меру наказания в течение месяца. Но сейчас Жизневского не было: он болел.

Я предстал перед исполняющим обязанности командира полка майором Серенко и комиссаром Чупаковым. Кроме них у небольшого самодельного стола сидели Дубинин и Пушкарев.

Меня встретили приветливо, и я понял, что на этот раз «нагоняя» не будет.

— Ну как, надумал с курсами? — спросил Пушкарев.

— Думал и еще не надумал, — ответил я.

— Что так? — удивился Дубинин.

Я очень хотел учиться. Но сказать прямо, что мне совсем не улыбается опять быть под началом Жизневского, который, по слухам, должен возглавить курсы командиров звеньев, просто язык не поворачивался.

— Не могу по семейным обстоятельствам, — нерешительно произнес я.

Разговор был долгим. Я понимал: товарищи хотели мне добра, искренне заботились о моем дальнейшем росте. Но я стоял на своем, хотя упреки в том, что личные интересы я ставлю выше служебных, больно отзывались в сердце. Загляни кто-нибудь в эти минуты в мою душу, он понял бы меня.

Конечно, тяжело было оставлять о себе плохое

впечатление, но я чувствовал, что поступаю правильно.

— Что ж, — Дубинин забарабанил пальцами по столу, прервал затянувшееся молчание, — пошлем вместо вас Дмитриева.

Такая дипломатия, конечно, не могла не задеть мое самолюбие. Все знали, Дмитриев из нашего звена. Недавно женился, но вот, несмотря ни на что, сам попросился на курсы.

Я проглотил горькую пилюлю и вышел.

Восточная сторона неба уже очистилась от туч. Сквозь их просветы веерообразными пучками вырывались тугие лучи солнца. И там, где они упирались в землю, все золотилось.

Летчики в синих комбинезонах возились около своих «Чаек», помогали техникам.

Самолеты в нашей эскадрилье по оценке полковой комиссии были признаны лучшими. Мы первыми подготовили их к лету. Сейчас все ждали комиссию из Кишинева. Для предварительной проверки выдвинули нас, и инженер полка Шолохович особенно тщательно осматривал каждый самолет. За ним неотступно следовал Петя Грачев.

Инженер полка — невысокий жилистый мужчина с большими натруженными руками. Морщинистое лицо его загорело и обветрилось на солнце. Он не строил из себя большого начальства, а ходил от самолета к самолету как опытный старший товарищ. Иногда Шолохович откладывал в сторону свою большую сумку и сам принимался помогать механикам.

Плохо было тем, кто допускал оплошность. Нет, Шолохович никогда не ругался. Но его сдержанные, спокойные замечания пробирали до костей.

— Разве так в авиации хранят инструмент? — уверял теперь он кого-то. — Посмотрите, кругом грязь, масло, тавот!.. А сумка — как у захудалого шоферишки. Н-да... Вот вам и материал для боевого листка, товарищ Грачев, — обернулся он к Пете и, чуть улыбнувшись, добавил: — Правда, пока единственный.

Грачев и Ротанов были у нас бессменными редакторами. Первый хлестко писал, второй отменно рисовал.

Их меткие реплики, броские, запоминающиеся карикатуры надолго приклеивались к проштрафившимся, крепко задевали за живое.

Так, за нежелание работать на материальной части лейтенанта Дементьева прозвали Контра-гайка. Началось все с комсомольского собрания, где бурно, по-деловому обсуждался вопрос, как лучше и быстрее подготовить самолеты к лету. После долгих споров пришли наконец к выводу, что все летчики должны взяться за дело, что называется, засучив рукава. Кое-кому решение пришлось не по душе.

— Контрогаить, что ли? — иронически бросил лейтенант Дементьев. — Хватит и того, что мы присутствуем на материальной части.

На следующий день к очередному боевому листку невозможно было пробиться. Меткий карандаш Ротанова нарисовал в самом центре листка огромный шплинт с человеческой головой. Все сразу узнали искривившую тонкие губы ехидную усмешку. Внизу красовалась надпись: Контра-гайка. С тех пор во время полетов можно было услышать: «Внимание! В воздухе — «Контра-гайка». И все понимали, о ком идет речь.

* * *

На нашем самолете работы уже закончились. Богаткин аккуратно сложил инструмент, зачехлил машину, и теперь моторист и оружейник наводили лоск на стоянке. Я помогал привязывать хвост к штопорным креплениям.

Подошел Шолохович¹. Улыбнулся.

— Ну, как тут у вас дела?

— Все в порядке. Самолет готов к вылету, — отпартовал я.

— Посмотрите, товарищ инженер, — предложил Богаткин.

— Не надо. Верю вам.

— Так я мигом расчехлю... Вот...

Богаткин дернул за шнур, и самолет мгновенно расчехлился.

— Отлично, — восхитился Шолохович.

— Это мы с командиром придумали, — застенчиво проговорил Богаткин. — Будет тревога — раз, и полетели.

— Молодцы! — Видно, инженеру это новшество понравилось. — Вот вам, Грачев, и второй материал для боевого листка. Золотые у них руки. Не мешало бы и другим экипажам перенять.

Шолохович поблагодарил за хорошую службу и двинулся дальше. И тут засуетился Богаткин. Он позвал Германовича, шепнул ему что-то на ухо.

¹ Шолохович Владимир Львович, инженер полка, воен. инженер 3-го ранга. 27.06.41 г. во время полета на самолете «У-2» убит огнем с земли. Похоронен в лесопосадке а/э Семеновка на границе совхоза «Красный Маяк».

Тот барсом вскочил на плоскость, открыл боковой капот и подвел патронную ленту в зубчатку.

Заметив мое недоумение, Богаткин пояснил:

— Не удивляйтесь, командир. Не успели зарядить пулеметы, — хотелось показать Шолоховичу новинку. Не ради хвастовства, не думайте.

Я понимал, что это не пустое бахвальство, и промолчал. Ударили в рельс. Все потянулись на перекур. Курилка служила своего рода пунктом сбора и переработки различной информации. К ней, как магнитом, тянуло и курящих и некурящих. Здесь всегда можно было услышать свежую новость, до слез посмеяться над пикантным анекдотом, поговорить о делах насущных.

Начальство знало наше любимое место сборов, и потому не случайно именно около курилок на стендах вывешивались свежие газеты, боевые листки, графики соцсоревнования. Тут же был установлен питьевой бачок с кружкой, привязанной цепью.

Незадолго до нашего прихода Грачев и Ротанов повесили свежую стенгазету. Около нее сразу же столпились летчики. Все смеялись над карикатурой Ротанова.

— Вот так черномазик, — настоящий Шевчук! — гоготал кто-то. И действительно, рисунок очень напоминал нерадивого техника Шевчука, того самого, которому только что выговаривал Шолохович за грязный инструмент. Неряха был изображен гаечным ключом в широченных галифе. Выглядел он очень потешно. Даже сам Шевчук хохотал от души.

В курилке тоже стоял гомерический хохот. Летчики до упаду смеялись над анекдотом Лени Крейна. Громче и раскатистее всех хохотали сам рассказчик и охающий Хархалуп.

Внезапно смех оборвался. Над аэродромом по-

вис низкий протяжный гул. Со стороны города показались два неизвестных самолета. Над нами они резко снизились и, оставляя за собой дымок, свечой взмыли вверх. Воздух прорезал незнакомый, протяжный рев. Промелькнули точеные, как веретено, фюзеляжи, короткие, закругленные крылья. На крыльях мы с удивлением увидели красные звезды.

О том, что полк скоро получит новые самолеты, поговаривали уже давно, хотя начальство хранило это в строгой тайне: Командир полка внезапно куда-то уехал, прихватив с собой инспектора по технике пилотирования и командира первой эскадрильи; предполагали, что они отправились смотреть истребители, которые испытываются на заводах. Поэтому мы с радостью наблюдали за этой парой. Летчики сгорали от любопытства. Дежурный по стоянке даже забыл объявить о конце перерыва.

Самолеты описали над городом круг, разошлись, выпустили сначала шасси, потом закрылки, чтобы уменьшить посадочную скорость. Но даже и такая скорость казалась нам непривычно большой; не верилось, что для нее хватит аэродрома. Самолет шаркнул колесами по земле, слегка подскочил и устойчиво покатился.

Мы сорвались с мест и бросились к новым машинам; такие нам не доводилось видеть даже на картинах. Остановил всех мощный бас Хархалупа. Забренчал обрезок рельса, и летчики неохотно побрели к своим самолетам.

«МиГи» — а это были они — зарулили на стоянку первой эскадрильи; из кабин выскочили высокий, чуть сутуловатый командир полка майор Иванов и маленький худощавый капитан Атрашкевич.

Нам уже не работалось. Все глазели на новые истребители, восхищались красивой формой, много-

численными приборами, загадочными рычагами, кабиной. Особенно восторгались радиостанцией. Но, когда узнали, что вес «МиГа» почти в два раза больше «Чайки», несколько усомнились в его высокой скороподъемности. Но ничто уже не могло испортить хорошего настроения.

Было это в конце апреля 1941 года. А вскоре после майских торжеств в полк прибыли новые истребители, и тот день стал для нас настоящим праздником.

* * *

С каждым полетом мы взрослели, накапливали опыт, приобретали необходимые летчику-истребителю навыки: освоили групповую слетанность звеньев, отработали высший пилотаж в зоне, научились неплохо вести одиночные воздушные бои. Все уже отстрелялись по наземным и воздушным целям; на очереди стояли групповые воздушные бои. Но до совершенства было еще далеко. Предстояло многое понять, многому научиться. В том же, что мастерство придет, никто не сомневался. Нужно было только время и тренировки.

В те годы по призыву партии: «Комсомол — на самолет!» — тысячи юношей и девушек ринулись в небо.

Мое поколение, воспитанное в духе революционной романтики, на примерах героической борьбы отцов за власть Советов, крепло, набиралось сил, рвалось к знаниям. Комсомол был всегда впереди, на самых трудных участках жизни. Мы строили «Магнитку» и «Уралмаш», в рабфаках и аэроклубах корпели над учебниками электротехники и конструкции самолета, врубались в подземные пласты и штурмовали пятый океан.

Советская авиация начинала обретать могучие, крепкие крылья.

Кто из нас в юности не зачитывался книгами о героических полетах Чкалова, Громова, Мазурука, Водопьянова? Кто не восхищался мужеством Коккинаки и Евдокимова? Мы все хотели тогда быть такими, как они.

У каждого летчика бывает авиационная юность. Ее сменяет авиационная молодость, зрелость, приходит мастерство. Человек может стать асом, какой угодно знаменитостью, но никогда не забудет своей юности. Она остается в самых светлых уголках его памяти и напоминает о себе разве что в сновидениях да вот теперь, когда пишутся эти строки. Она у меня перед глазами, полная счастья и невзгод, и я снова живу теми днями...

Нелегким был мой путь в авиацию. Подростком — «фабзайчонком» я пришел в Свердловский аэроклуб. Первое крещение, первый подскок в воздух с Митькиной горы. Теперь там раскинулись корпуса заводов.

Разве забудешь впечатление первого полета! Зима. Снег искрится на солнце. Уральский морозец обжигает не на шутку. А мы, четырнадцатилетние хлопцы в ватных спецовках, и не замечаем его, поглощенные своим планером.

— Натягивай! — кричит наш инструктор Кизиков. Восьмером тянем с Митькиной горы двадцатиметровый канат-амортизатор и громко считаем: раз, два, три... Отсюда, как на ладони, виден весь город. Справа дымят высокие трубы «Уралмаша», слева — окутанный паром Свердловский вокзал. Далеко впереди чернеют корпуса завода, где-то среди них — и мой крупносортный цех, а внизу — ослепительно белый, режущий глаза снег.

Ребята продолжают считать шаги: двадцать пять...

двадцать семь... Тридцать! И Кизиков коротким взмахом руки дает команду: «Старт!»

Планер срывается с места; мгновенье — и ты уже в воздухе, на двадцатиметровой высоте. Ты летишь, летишь, будто птица. Все ново, неизведанно. Ты прислушиваешься к ласковому шуршанию воздуха. С любопытством наблюдаешь, как инструктор и хлопцы с задранными вверх головами медленно подаются назад. словно на ковре-самолете, ты плывешь в воздухе, и сердце постукивает в груди, как у птенчика, впервые вылетевшего из гнезда. Нет, такое не забыть! А первый неуклюжий доклад инструктору? Правая рука в рукавице касается лихо сдвинутой набекрень шапки, левая вытянулась вдоль мохнатой шубы, курносое лицо горит возбуждением полета: «Товарищ инструктор Кизиков! Курсант Речкалов первый полет выполнил». Первый полет! А инструктор — почти круглый в своем кожаном пальто маленький человек, давший возможность впервые узнать красоту полета, крепко жмет тебе руку. Его темные глаза искрятся радостью: знает Кизиков, что делается сейчас в мальчишечьем сердце — ведь и у него был когда-то первый полет.

Мечта влекла нас дальше, на самолет.

Заснеженный авиагородок на краю районного села. Не так уж много нас здесь, но все горят одним желанием: обрести большие крылья. Изучаем теорию полета, конструкцию самолета, мотора. Почти в каждой тетрадке красуется девиз, обведенный красным карандашом: летать могу, а не летать — нет.

Отшумели выюги, снова оделись в летний наряд лесистые горы, и мы были самыми счастливыми на земле, потому что управляли теперь настоящим самолетом, и сердца наши радостно стучали в унисон с мотором.

Но еще более счастливым был, наверное, наш инструктор Кармышкин, он крепко стискивал нас в объятиях после первого самостоятельного полета. Крикливый в воздухе, иногда излишне возбужденный на земле, он со слезами на глазах напутствовал меня на вокзале, провожая в большую авиацию. Разве забудешь! Пермская авиационная школа, полк... Как быстро пролетели эти годы!

Потревоженная память переносит меня в те далекие незабываемые дни. То была еще не юность — то было отрочество.

Истомленные жарой, в неподвижном воздухе замерли сады. «Ястребки» один за другим летают вокруг аэродрома. Инструкторам и покурить некогда; командиры звеньев едва успевают пересаживаться из самолета в самолет, проверяя подготовку курсантов.

В то время двухместных учебно-боевых машин вообще не было. С легендарного «У-2» выпускали сразу на истребитель. Легко представить себе душевное состояние инструктора в день самостоятельного вылета курсантов. Молодежи что? Она рвется в воздух, ей бы скорее летать.

Иногда на нашем аэродроме приключались курьезы...

Прежде чем самостоятельно летать на боевой машине «И-5», курсанты практиковались на земле. Для рулежки нам выделили старый-престарый истребитель, давно отслуживший свой век.

Курсанты — народ храбрый, друг перед другом в грязь лицом не ударят. Сделает один что-нибудь из ряда вон выходящее — другой старается сообразить еще похлеще.

Только что Борис Комаров отрабатывал разбег с поднятым хвостом. Самолет при этом набирает ско-

рость, вполне достаточную для взлета. Не будь ободрана обшивка, он бы взлетел. И то ли это произошло оттого, что взлетная дорожка была неровной, то ли от большой скорости, но Комаров совершенно неожиданно для всех оторвался от земли и пролетел метров пятьдесят. Такой оборот дела всем понравился.

Подошла и моя очередь. Забираясь в кабину, я думал только об одном: перещеголять Бориса. Чем я хуже Комарова? И мы не лыком шиты. Наскоро привязался ремнями, выжал сектор газа до ограничителя. Самолет с поднятым хвостом быстро набрал нужную скорость, но оторваться от земли почему-то не захотел. Как же так? Что ж ты, милый? Ведь на меня смотрят сейчас все ребята: Петя Грачев, Коля Кобяков, тот же Борис.

Решение созрело мгновенно. Сектор газа! Я знал: стоит оттянуть этот рычажок на себя, как он тут же освобождается от ограничителя, и тогда из мотора выжимай хоть всю мощность.

Левую руку словно кто подтолкнул. Мотор взревел, и не успел я опомниться, как «И-5» оказался на стометровой высоте.

Аэродром кончился; через ободранное крыло я хорошо вижу внизу глубокие лесистые овраги. Страх парализует меня, сковывает. А мотор упрямо тянет и тянет вверх. Высота — тысяча метров. Чего доброго, так и в стратосферу заберешься! Понемногу начинаю приходить в себя. Соображаю: первым делом следует уменьшить обороты и перевести самолет в горизонтальный полет. Но смогут ли держать его ободранные крылья? И на какой скорости? Хорошие, исправные самолеты летают обычно со скоростью сто шестьдесят километров в час. Мой тянет

сейчас на двести. В общей сложности у него не хватает шести квадратных метров обшивки. То, что осталось, — набухло, трясется, как студень, того и гляди сорвется. Смотрю на эти дыры — ужас берет. Уменьшаю скорость на двадцать километров — обшивка ерошится, но не так сильно. Уменьшаю еще. Теперь указатель скорости прочно обосновался на цифре «сто шестьдесят». Самолет летит устойчиво, рулей слушается хорошо, обшивка на крыльях ведет себя почти прилично. На всякий случай, чтобы хватило высоты, если вдруг придется выбрасываться с парашютом, забираюсь повыше. Подо мной восемьсот метров. Делаю над аэродромом круг, второй. Удивительно, — я уже несколько не волнуюсь! Голова ясная, сердце спокойно. Ну, хватит! Надо садиться: бензин на исходе.

В это время слева ко мне подстраивается истребитель. Инструктор... Через толстые стекла своих очков я вижу, как тревожно светятся его большие серые глаза.

Инструктор энергично жестикулирует, показывая на свой фюзеляж. Там крупно выведено мелом: «Прыгай». Я гляжу вниз, на свой аэродром, — страшно. И тут меня кидает в дрожь: я же в спешке не надел парашют.

Отрицательно мотаю головой. Инструктор перелетает на правую сторону. На этом борту другая надпись: «Пристраивайся ко мне, пойдем на посадку». Вот это дело! Одобрительно киваю.

Но завести меня на посадку так и не удалось. Для моей безопасности инструктор полетел на повышенной скорости. Чтобы сохранить остатки обшивки, увеличивать скорость я не мог, а инструктор, считая, что так будет для меня безопаснее, летел очень

быстро. Тогда я махнул ему рукой: не мешай, дескать, — и сам сел — до сих пор удивляюсь — аккуратно на три точки!

Отгремела война. Двадцать лет летной службы остались позади. Более десяти тысяч взлетов и посадок, из них свыше пятисот — на фронте. Более пяти тысяч часов я провел в воздухе, но ни разу с того памятного дня не садился в самолет, не застегнув лямки парашюта. Даже на тренажах в кабине!

Это был беспрецедентный случай, когда инструктору не пришлось торжественно выпускать в самостоятельный полет курсанта. Что же касается его переживаний и волнений в тот момент, об этом он мне ничего не говорил. Помню только его большие грустные глаза, когда мы, бывшие курсанты, а теперь военные пилоты, в новенькой, ладно подогнутой форме с хрустящими ремнями, разъезжались из школы по строевым частям. Лобжанидзе пришел на вокзал проводить нас. Милый, дорогой наш инструктор, — мы знали — он тоже рвался в боевой полк. Как мы сочувствовали ему тогда!

— Я верю в тебя, — напутствовал Лобжанидзе. — Хорошим летчиком будешь, береги себя только. Будь, как горный орел, смелый, как лев, осторожный, как лань. Так учили меня мои предки — этого хочу и тебе. Пусть твой путь будет прямым и светлым, как солнечный луч.

От него в тот день я услышал слова, сказанные по моему адресу старшим лейтенантом Некрасовым: «Он своей смертью не умрет».

Товарищ мой дорогой! Не знаю, как сложилась твоя судьба, но много, очень много раз я вспомню тебя в своей жизни.

* * *

Приближались майские праздники. Клуба у нас не было, если не считать летней киноплощадки с десятком скамеек да «пяточка» для танцев. По вечерам собирались в красном уголке, на веранде. Участники художественной самодеятельности разучивали песни, плясали, декламировали. Во время репетиций всегда было шумно и весело.

Петя Грачев, руководитель и организатор самодеятельности, за эти дни совершенно измотался. Из летчиков наибольшую активность проявляли Борис Комаров и Виктор Иванов. Механики Почка и Шевчук старались не отставать от них. Грачеву удалось привлечь и двух девушек — официанток из летной столовой. Зоя Мацырина, обладательница задорного носика и красивых карих глаз, играла на гитаре и пела.

Голос у Зои был тихий, грудной. Вторая девушка, высокая стройная молдаванка, — все звали ее Марго — была у нас нарасхват: в паре с Комаровым она лихо отплясывала, с Кондратюком репетировала какую-то одноактную пьеску.

Собирался выступать и Хархалуп. Он любил Маяковского. «Поэма о Ленине» и «Стихи о советском паспорте» звучали в его исполнении так, словно читал их, по крайней мере, Владимир Яхонтов.

Как-то заглянул на репетицию старший политрук Пушкарев¹.

Хархалуп заканчивал в этот момент отрывок из своего любимого «Облака в штанах»:

¹ Пушкарев Алексей Николаевич, зам. командира аэ по политической части, капитан, 1916 г.р. 23.11.41 г. погиб при выполнении служебных обязанностей. С. Морозовская, Ростовской обл.

...Плевать, что нет у Гомеров и Овидиев людей, как мы,
от копо́ти в оспе.
Я знаю — солнце померкло б, увидев наших душ
золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы — каждый — держим в своей пятерне миров
приводные ремни!

— Здорово получается, Семен Иванович! — восхищенно заметил комиссар. — Может, возьмешь к себе на выучку?

— Вас? — удивился Хархалуп.

— А чем я не артист?

Пушкарев выпятил грудь и гоголем прошелся по веранде. Все засмеялись.

— Нет, не возьму, пожалуй!

— Это почему же? — Пушкарев притворно нахмурился.

— На репетиции редко ходите, да и комплекция у вас не совсем артистическая, — похлопав себя по животу, рассмеялся Хархалуп.

— Что ж, а ведь, пожалуй, ты прав: буду плохим примером для остальных, — добродушно согласился комиссар.

Когда смех немного утих и все утомонились, Пушкарев сообщил:

— Завтра прилетает командир дивизии. Как, товарищи артисты, подготовите несколько номеров?

Все переглянулись. Для нас приезд начальства всегда означал лишние тревобления. Начинались проверки, уборка территории. Бывало и так, что все эскадрильи в полном составе ходили цепочкой по аэродрому, подбирали бумажки и окурки.

— Подготовить-то мы, конечно, подготовим, — почесывая затылок, без особой радости ответил за

всех Грачев, — но концертик будет слишком уж бледный.

— По сравнению с тем, что нам устроит генерал Осипенко, — добавил Хархалуп.

В этот вечер, просматривая «Вестник воздушного флота», я засиделся допоздна. Керосиновая лампа отбрасывала слабые тени. За окном чернела ночь, теплая, непроглядная.

Незадолго до отбоя в комнату вбежал возбужденный Петя Грачев. Раздеваясь и шумно потирая руки, он стал рассказывать о сегодняшней репетиции. Но вдохновлял его, конечно, не приезд комдива: от такого визита хлопот не оберешься. Я догадался, что сегодня, как и обычно после репетиций, Петя провозжал домой «артисток». Тут он и сам признался:

— Понимаешь, какая эта Марго славенькая... — Петя сдернул с себя гимнастерку. — Наивненькая такая простушка, всю дорогу меня выпрашивала, женат я или нет.

— Ты, конечно, был холостяком? — поддел я.

— Катись-ка со своими шуточками... — обиделся Грачев и, швырнув в меня майкой, помчался в умывальник.

Хороший был парень этот Петя Грачев. После назначения его помощником комиссара по комсомолу жизнь в эскадрилье заметно оживилась. Везде он успевал, со всеми быстро находил общий язык.

И, пожалуй, только благодаря его настойчивости наша казарма приобрела «жилой» вид и стала числиться в полку на лучшем счету.

Была у Петра небольшая слабость — повышенный интерес к слабому полу, вернее, к вполне определенной его категории — официанткам; и жена его тоже работала когда-то в столовой.

Нельзя сказать, чтобы он увлекался всерьез. Здесь,

скорее всего, сказывалась любовь Грачева к вкусной и здоровой пище. Девушки не обходили вниманием интересного сероглазого парня. Нам, сидевшим с ним за одним столом, часто приходилось в этом убеждаться. Гарнир в Петиной тарелке всегда был обильно полит соусом, жаркое накладывалось в полуторном размере, в дополнительном стакане компота он не знал отказа.

На подтрунивание друзей Грачев отвечал своим излюбленным «пшел к чертям» и, взглянув в глаза тому, кто любил подбрасывать в его огород камешки, спрашивал:

— Слышал такую мудрость: «Поступай по отношению к другим так же, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе»? Впитал я ее от своего приемного отца. Усыновил он меня, девятилетнего, вместе с сестренкой и с тех пор воспитывал так, чтобы мы любили людей.

Вернувшись из умывальника, Грачев перегнулся через мое плечо, заглянул в журнал:

— Немецкими самолетами интересуешься? Должен тебе сказать, — заметил он, массируя широкую грудь, — маловато пишут о воздушной войне. Конечно, иметь представление, как завоевать господство в воздухе, нужно. А вот мне, например, хотелось бы знать, как немцы с англичанами дерутся. Нашел ты что-нибудь об их тактике?

— Кроме летно-тактических данных, ничего нет. Вот, правда, схемы боевых порядков; немцы применяют их последнее время над Англией после больших потерь при налетах. Неправдоподобные какие-то...

— Смотрел я эти рисуночки. Ни черта не разобрал, — признался Грачев. — Несуразица какая-то. Не могут немцы таким строем летать.

— А все-таки здорово они бомбят англичан. Авиация у них на первом плане!

— Что ж тут особенного? Современная война, брат, это война моторов. Дай-ка мне один журнальчик, полистаю на сон грядущий.

— Моторы моторами, — возразил я, передавая журнал. — Все дело в том, где этих моторов больше — на земле или в воздухе.

— У немцев их теперь везде много, но не больше нашего, хоть и работает на них вся Европа. А ты как считаешь, где их должно быть больше — в воздухе или на земле?

— В воздухе, Петя, и только в воздухе, — раздался голос Кондратюка.

В комнату вошли командир звена и Гичевский.

— Вспомните-ка польскую кампанию. В первые дни войны немцы полностью уничтожили панскую авиацию и парализовали с воздуха работу тылов армии.

— А Бельгия и Франция? — заметил Гичевский. — То же самое. Посмотрите, как они лупят англичан! Авиация сейчас, дружище, — бог войны.

— Ну, знаете ли, это чистейшей воды дуэлизм, — вскипел Грачев. — Не хотите ли вы сказать, что воздушная сфера в войне будет решающей?

— А почему бы и нет? — возразил Кондратюк. — В наше время кто силен в воздухе, тот силен вообще.

— Bravo, Кондратюк! — закричал непоседа Яковлев, как всегда, сваливаясь, словно снег на голову. — Кто это сказал, знаешь? А нас загнали в казарму, как солдат, да и вообще авиация пасынком стала: «ворошиловские» завтраки отобрали — раз, кожаные регланы не выдают — два...

— Замолчи ты, белобрысый, — цыкнул на него Грачев. Он вскочил с кровати, сердито взъерошил ру-

сые волосы. — Значит, катитесь к чертям артиллерия, матушка-пехота, ура авиация! Так, что ли?

— Нет, не так, Петя, — возразил я. — Ребята этого не говорят. Ты ведь не станешь отрицать, что немцы всегда отводят авиации решающую роль. А почему? Потому что они умно ее используют: все силы бросают на то, чтобы парализовать авиацию противника, бомбят города, а танки уже добивают паникующие войска и тылы. Дуэ же проповедовал на земле только сопротивление. Вот в чем все дело.

— Немцы, немцы! Чихать я на них хотел, — не унимался разгорячившийся Грачев, — не нам у них учиться. Русские пруссаков всегда бивали.

— Виват, внуки Суворова! — засмеялся Яковлев. — Дайте-ка лучше закурить.

— Только что дымил. Не давайте ему, — попросил сидевший у стола Кондратюк.

— Пусть коптится, жалко, что ли, — Гичевский протянул папиросу, — бери, твоя любимая марка: «чужие».

Яковлев прикурил, с размаху плюхнулся на мою кровать и несколько раз подпрыгнул на матрасе. Жалобно заныли пружины, зашуршала, переламываясь, туго набитая солома.

— Эх, хороша командирская постель!

— И когда ты только за ум возьмешься? — прикрикнул на него Кондратюк. — Ведь уже летчик, даже женился однажды, а все дурачишься.

— Вот женюсь второй раз — поумнею, — отпарировал Яковлев, пуская на Кондратюка струю дыма. — Что за книженция? — указал он на мою тумбочку.

— «Жан-Кристоф».

— Дашь почитать? — и тут же бесцеремонно потянулся к томику.

— Эта вещь не для твоего ума, Коля, — перехватил книгу Гичевский.

— Ну и шут с тобой, не давай. Я ее уже один раз читал. Мне беспокойная душа Кристофа ближе, чем тебе, увальню.

— Перестаньте спорить! — не на шутку рассердился Кондратюк. — С вами даже о деле не поговоришь. — И обратился ко всем: — Никто не заметил шаблона в действиях немцев?

— Что они аэродромы вначале бомбят и железнодорожные узлы? — спросил Гичевский.

— Не только... Я имею в виду другое. Вы не обращали внимания, как внезапно они начинают войну?

— Фашисты вероломны и жестоки, это известно, — проворчал Грачев.

— И опять не то, Петя. Вспомни, в какое время они нападают. Только на рассвете.

— А ведь верно, — удивился Гичевский. — Польша — первое сентября, четыре сорок пять утра. Мы в тот день как раз приехали в Уманский полк из школы.

— А я на своей свадьбе не успел отгулять в прошлом году, как Дания сдалась, — смеясь, подтвердил Яковлев. — Ох, и запомнилось мне это девятое апреля.

— Послушай, через месяц ты ведь уже разошелся? — спросил его Кондратюк и уточнил: в лагерях на станции Выгода.

— Ну и что?

— Как «что»? В субботу тебя пробирали за это на комсомольском собрании, а на рассвете фашисты бомбили Францию и Бельгию, — пояснил Кондратюк — Запоминай, друг, историю по семейным датам.

История яковлевской женитьбы до сих пор еще вызывала улыбки. В прошлом году почти все холостяки нашей эскадрильи решили обзавестись семь-

ями. Потянуло на семейную жизнь и Колю Яковлева. Особой красотой он не отличался, но его небольшие голубоватые глаза, в которых постоянно светился беспечный, легкомысленный огонек, многим девушкам не давали покоя. Свою поспешную женитьбу Яковлев объяснял просто: боялся, что всех красивых девушек расхватают и ему не достанется. Она уже была замужем: муж ее трагически погиб. Но ничего этого Яковлев не знал, да и не спрашивал, а прямо — в загс. И сразу же у молодых начались перепалки.

Сколько товарищи ни отговаривали Яковлева, Коля все-таки настоял на своем; в мае он развелся и с тех пор твердил, что супружество — это игра, в которой за ошибку двоих приходится расплачиваться одному.

...О чем только не говорили мы в тот вечер. Перебирали свои учебные полеты. Мечтали о том времени, когда пересядем на новые истребители. Возможная война представлялась нам чем-то расплывчатым и далеким. В одном все были единодушны: если придется воевать, то только на чужой территории. Вспомнили о предстоящих первомайских праздниках, обсудили, кто и где собирается их провести. Разговоры закончились далеко за полночь и то лишь после настойчивого требования дневального.

Папиросный дым висел в комнате густой пеленой. Я распахнул окно. В черном ночном небе ярко светила полная луна. Ее холодный свет заливал прибрежные холмы, белые молдавские хаты, густые темные сады. У границы аэродрома четко вырисовывалась стоянка самолетов. На пригорке двумя глыбами высились цистерны бензосклада. «Хорошая мишень для атаки», — подумал я, отходя от окна.

Грачев уже спал. Складывая стопочкой журналы,

я случайно наткнулся на снимок одноместного американского морского истребителя. Он привлек мое внимание оригинальной конструкцией, красивыми линиями. Мотор, по описанию, находился за спиной летчика.

«Белл XFL Airbonita», максимальная скорость 720 км/час, — прочитал я. — Вот это машинка!»

Тогда мне и в голову не пришло, что судьба сведет меня с этим самолетом надолго.

* * *

Дивизионная комиссия работала в полку двое суток. Она нагрянула сразу же после праздника. Возглавлял комиссию не командир, как мы ожидали, а инженер дивизии — высокий симпатичный человек.

Как и водится в таких случаях, на рассвете была объявлена тревога. Живущих в городе оповещали самолетом. По сигналу «тревога» он взлетал в воздух и с душераздирающим ревом кружил над городом. Нас же поднимали ударами в куски рельсов.

Рельсы действовали по тревоге безотказно. Своим дребезжащим набатом они заглушали шум работающих моторов. От такого сигнала в полях на десяток километров вокруг разбежалось все живое. Даже флегматичные коровы, и те, заслышав его, задирали головы и жалобно мычали.

А вот с воздушным оповещением «горожан» вышел неприятный казус.

Вылетел туда старший лейтенант Курилов¹, ин-

¹ Курилов Федор Никифорович, комэск, ст. лейтенант, 1912 г.р. 24.06.41 г. на «МиГ-3» с высоты 600 м сорвался в штопор на а/э Семеновка Красноокнянского р-на Одесской области. Похоронен там же. Сбитых самолетов противника не имел.

спектор полка. Не успел он описать над городом круг, как мотор испортился, и пришлось сделать вынужденную посадку на аэродроме.

Курилов быстро пересел на истребитель из дежурного звена и пронесся над самыми крышами домов, где жили в основном наши летчики и техники. Пролетая «буревестником» вдоль улиц, он услышал, как в моторе снова что-то застучало.

Каким-то чудом летчику удалось плюхнуться на фюзеляж в низине, недалеко от аэродрома. Как выяснилось потом, разрушился подшипник главного шатуна, и мотор заклинило. Тем не менее проживающие в городе о тревоге были оповещены.

...Мы быстро рассредоточили свои самолеты вдоль границы аэродрома по лугу, вдоль речки, и собрались у командного пункта: здесь было удобно наблюдать за приезжающими. Летчики шумно говорили кто о чем. В разговорах чувствовалась некоторая нервозность, вызванная необычным подъемом.

Утро было прозрачное, безоблачное. Только на западе, куда ушла короткая зябкая ночь, горизонт еще застилала синяя поволока.

Из города начали прибывать первые группы личного состава. Быстро пропылил к штабу черный пикап командира полка. Кузов был битком набит офицерами штаба.

— Какие же это ваши, если там Тимка Паскеев жердью торчит, — возразил Ханин. — А рядом с ним видишь коротышку? Наш Пал Палыч!

— Да нет же, — не сдавался Ротанов, — то тетеринская физиономия блестит.

Правы были оба: в кузове находились летчики обеих эскадрилий.

— Смотрите-ка, наши жмут на все педали, — кивнул Ротанов на полуторку.

Выбравшись из кабины, невозмутимый, как всегда, Хархалуп сразу же принялся выяснять «наличность» прибывших по тревоге.

Срок явки еще не истек, машины с людьми продолжали подходить. Из нашей эскадрильи не было лишь младшего лейтенанта Иванова, но на это пока никто не обратил внимания.

Запыхавшись, прибежал из штаба Дубинин, скороговоркой объяснил задачу: рассредоточить самолеты и ждать дальнейших распоряжений. Первая часть задачи была уже выполнена, оставалось лишь ждать распоряжений.

Ждать — для летчиков дело привычное. Если учесть, что на это занятие в период пребывания на аэродроме у нас уходило примерно девяносто процентов времени, можно себе представить, какими поистине неисчерпаемыми возможностями поострословить мы обладали! Материал для этого всегда был в избытке, особенно в такие дни, как сегодня.

Еще не умолк смех после очередного анекдота лейтенанта Крейнина, как наше внимание переключилось на два бешено мчащихся фаэтона. Лошади галопом неслись наперегонки прямо через аэродром. Под дугой лихо заливались колокольчики. Седоков различить пока не удавалось.

— Давай, жми на всю железку! — азартно гикая, кричал Паскеев. — Ставлю на гнедого.

— Наддай, наддай еще разок! — вторил ему Яковлев. — Я — на серого.

Кучера, работая хлыстами, старались на славу. Примерно на середине аэродрома серая лошадь вырвалась вперед. Кучер в красной рубаше, погоняя в нашу сторону, старался закрепить победу.

Заметно отстав, второй фаэтон прекратил состоя-

зание и повернул на стоянку в другой угол аэродрома.

Мы с интересом следили за подъезжающими: кто же явился таким способом по тревоге?

Маленький бородатый молдаванин красиво остановил свою лошадь как раз напротив стоянки.

Зажав в зубах папиросы, закинув ногу на ногу, на кожаном сиденье важно восседали Сдобников и Иванов. Щедро одарив польщенного кучера, прибывшие поздоровались с нами с гордым видом победителей.

— Кого же так лихо обогнали? — полюбопытствовали мы.

— «Скоростников» из первой — Дьяченко да Миронова.

— Молодцы, знай наших! — похвалил Паскеев.

— Дельные наездники из вас выйдут, — раздался чуть хриловатый голос; мы узнали его сразу и притихли, ожидая, чем все кончится.

— Лихо подкатили, с шиком, — сказал начштаба Матвеев.

— Опаздывали, товарищ майор. — Сдобников виновато посмотрел на начальника штаба.

В наступившей тишине слышно было, как тяжело отдуваясь, фыркала лошадь. Матвеев подошел к ней, похлопал по мокрым бокам.

— Ну, вот что, срочно доставьте инженера полка. Он сейчас у Курилова на вынужденной посадке. Ясно?

— Ясно, товарищ майор.

— Разумеется, за ваш счет. За нарушение правил движения по аэродрому. Ясно?

— Ясно, товарищ майор! — обрадованно козырнули провинившиеся.

— А вы, — обернулся Матвеев к нам, — быстрень-

ко по своим самолетам, будем смотреть материальную часть. — Поманив пальцем лейтенанта Тетерина, майор уточнил: — Они из вашего звена?

— Мои... — без особого энтузиазма ответил тот.

— Вот видишь, а еще на нас обижался. Неважнецкая дисциплинка-то в звене.

— Смирно! — истошно закричал вдруг дежурный по стоянке, техник Коротков. Он прозевал прибытие начальника штаба и теперь неуклюже подбежал к майору с рапортом.

— Ну, что за рапорт! — недовольно поморщился Матвеев. — Дайте команду «вольно». А этот, — он указал на растерянного техника звена, — тоже ваш?

На круглом лице Тетерина выступили багровые пятна. Он молчал.

— Чтоб таких докладов перед членами комиссии не было. Всем ясно?

— Будет исправлено, товарищ майор, — ответил подошедший Дубинин.

Я смотрел на высокого, широкоплечего начальника штаба и вспоминал полюбившегося нам артиста Михаила Жарова. Матвеев очень походил на него. Майор не терпел подхалимов, ему не по душе были и те, кто свою работу строил по голой букве устава. Энергичный по натуре, он решал все вопросы с ходу, не откладывая их в долгий ящик. К летчикам он относился с любовью, знал всех наперечет.

Как-то мне срочно понадобилось съездить домой. Если добираться поездом до станции, где я жил, нужно потратить больше трех часов. Командир эскадрильи Жизневский даже разговаривать на эту тему не стал. Майор Матвеев тут же разрешил взять «У-2», и к вечеру я уже прилетел обратно.

А сейчас? Попадись наши лихие «наездники» на

глаза кому-то другому, не миновать им нескольких суток домашнего ареста. Матвеев же все решил иначе: и инженера Шолоховича вызвал быстро, и по своему наказал виновных.

Стрелки часов подходили к одиннадцати; отбоя все не давали. Солнце припекало. Готовые к осмотру чистенькие раскапоченные моторы дышали жаром.

Члены комиссии — приземистый инженер третьего ранга и старший политрук в надвинутой на лоб фуражке — ходили от самолета к самолету. Лицо инженера казалось хмурым и недоверчивым. Подойдя к самолету Яковлева, он не поленился залезть в кабину, заглянуть за бронеспинку.

— Пока неплохо, — с трудом выбравшись оттуда, заключил он. — Ага, мотор только что заменили. Ну-те-ка, опробуйте, техник.

Пока Шевчук прогонял мотор на всех режимах, а инженер удовлетворенно кивал головой, старший политрук подошел к нашему самолету. Он был невысок, коренаст. Из-под густых черных бровей располагаясь смотрели его быстрые глаза. Беседовал он с нами непринужденно, даже шутливо. Нас удивила его осведомленность во всех делах экипажа.

Когда старший политрук и Богаткин отошли посмотреть приспособление для быстрого снятия самолетных чехлов, я спросил Грачева:

— Кто это?

— Погребной. Мой дивизионный начальник. — Увидев мое удивление, он пояснил: — Помощник начальника политотдела по комсомолу.

— Тогда все ясно, — протянул я, смеясь, — то-то ты около него вьюном крутишься.

— Перестань подковыривать. Знаешь, кто Витьку Иванова в комсомоле отстоял? Он за летчиков го-

рой, понял? — И сердито подсказал: — Иди, встречай военинженера третьего ранга.

Инженер выслушал рапорт, придирчиво осмотрел внешний вид моей «Чайки», подергал лопасти винта и предложил Богаткину:

— А не проверить ли шасси?

— Разрешите поднять самолет на козелки? — с готовностью спросил техник.

— Да, пожалуй!

Военинженер сам залез в кабину, сам несколько раз убирал и выпускал шасси. Они действовали безукоризненно.

— Давно технарите? — спросил он Богаткина.

— Восьмой год, товарищ инженер, солдатом еще привык к самолету.

— Оно и видно. Хорошо. — Он что-то пометил в толстой тетради и обратился к старшему политруку: — Вы знаете, Михаил Акимович, похвально. Всюду чистота, порядок.

— Хорошие ребята, просто замечательные, — согласился тот.

Герmanoшвили, видя довольное выражение на лицах, похвастал:

— Наш самолет дефект не может быть.

— Верно, самолет без дефектов, а вот вы почему без комбинезона?

— Чистый машина, комбинезон грязный — нехорошо. От стирка сохнет.

Через неделю на утреннем построении старший лейтенант Дубинин зачитал приказ по дивизии и вручил младшему воентехнику Богаткину именные часы. Богаткин тут же перед строем вытянул из кармана огромные кировские часы на бронзовой цепочке и передал их Герmanoшвили.

— Носи на здоровье, душа любезный. Заслужил... —

Хотел, видно, еще что-то сказать, но напряженный голос дрогнул, и младший воентехник только рукой махнул. Раздались дружные аплодисменты. К технику и оружейнику потянулись с рукопожатиями.

* * *

Зарницы военных гроз уже поблескивали у советских границ. Командование полка делало все, чтобы быстро освоить новые истребители. Даже штаб полка из города перебрался на аэродром, в казарму. После весенней зачетной сессии летных дней прибавилось. Нередко полеты проводили в две смены. От зари до зари над аэродромом висело пыльное облако, своеобразный ориентир. Вскоре к нему присоединилась бурая пыль от грейдеров и тракторов, разворотивших восточную окраину аэродрома. Саперы насыпали вдоль границы кучи гравия, песку и приступили к строительству шоссейной дороги. Поговаривали, что построят бетонированную полосу. Степные вихри перекачивались по аэродрому, высоко закручивали столбы пыли, гнали их на самолеты, на людей. Наша одежда пропиталась потом и пылью. Пыль впивалась в кожу, скрипела на зубах.

Мы с надеждой посматривали на кучевые облака, висевшие над холмами. Иногда они собирались вместе, принимали угрожающий вид и, ко всеобщему удовольствию, разражались освежающей влагой. Но дождей выпадало все меньше. Наступало жаркое южное лето. Лица у всех стали бронзовыми от загара. Руки почернели. Мы напрасно искали спасения от зноя, — куцая, короткая тень самолета не укрывала: спрячешь голову — ноги торчат на солнце, туловище в тени — голову припекает. И потому полеты для нас были отдыхом.

Я только что вылез из кабины. Стрелял по конусу. Конус — восьмиметровый полотняный мешок, он прикрепляется к самолету-буксировщику за фалу в триста метров длиной и буксируется на тысячетровой высоте в зоне воздушных стрельб.

Чтобы метко стрельнуть в него, нужно выполнить ряд трудносовместимых действий: пилотируя истребитель на определенном режиме полета, подойти к цели-конусу, поймать его в прицел и некоторое время удерживать в светящемся перекрестье. При этом следует очень точно выбрать момент открытия огня и к тому же ни на секунду нельзя упускать из поля зрения самолет-буксировщик, иначе вместо конуса (а такие случаи бывали) можно вклепить очередь в самолет. Страстное желание стрельнуть получше часто гонит летчика поближе к цели. Такая увлеченность может привести к столкновению с конусом.

Словом, чтобы хорошо стрелять, нужно в чем-то походить на жонглера-эквилибриста — уметь выполнять сразу несколько трюков. Я хорошо овладел ими с первых стрельб и этим был обязан нашему командиру полка, о чем он даже и не подозревал.

Однажды меня послали буксировать конус, по которому после четырех предшественников стрелял майор Иванов.

Когда стреляли предыдущие летчики, я от страха съеживался в комок за бронеспинкой: уж очень близко и с разных направлений летели мимо меня трассирующие пули!

Но вот в зону вышел командир полка. Я так залюбовался его «работой», что забыл про всякую опасность. Истребитель Иванова плавно, так, как это нам показывали на макетах в классе, приближался к конусу. На какой-то момент он замирал перед ним и

выпускал короткую пулеметную очередь, а потом так же спокойно отходил слегка в сторону для повторного захода.

Сегодня, судя по всему, обстоятельства складывались для меня особенно удачно. Я даже умышленно не израсходовал десятка полтора патронов, чтобы не расстрелять конус в воздухе. Теперь надо было ждать, когда буксировщик сбросит его на аэродром.

Я присел в тени водомаслозаправщика. Тут было прохладно. Ребята то и дело подходили, открывали кран и подставляли головы под пахнущую маслом водяную струю. Настроение у всех было отличное. Казалось, нет большего счастья для летчика, чем посидеть в тени после успешного вылета, устроить перекур, поболтать с друзьями.

Разговор вертелся вначале вокруг полетов и стрельб, потом перешел на политические события: перелет Рудольфа Гесса в Англию, указ Президиума Верховного Совета об освобождении Молотова по его просьбе от должности председателя Совета Народных Комиссаров и о назначении председателем Совнаркома Сталина.

— Теперь Вячеслав Михайлович будет больше заниматься внешней политикой, — заключил кто-то.

— А мне сегодня немецкие офицеры честь отдали, — фыркая под струей воды, хвастанул Ханин. — Иду я после обеда на полеты, смотрю, они мотоциклы свои поставили, у нашего колодца воду пьют, что-то лопочут, смеются. Меня завидели, повернулись и откозыряли.

— А ты? — спросил Шульга.

— Я мимо строевым шагом пропечатал. Знай, мол, наших.

Бессекирный крикнул со стоянки:

— Товарищи летчики, конус заходит на сброс, айда пробоины подсчитывать!

Вместе с нами к месту падения конуса направились болельщики.

— Вот растяпа Дементьев... И куда он его зафуговал? — возмущался Тетерин широко вышагивая по аэродрому. Круглое лицо его привычно лоснилось от пота. — Даже сбросить конус не может правильно, а еще на старшего лейтенанта послали...

За слабую дисциплину в звене Тетерина не представили перед майскими праздниками к очередному воинскому званию. В душе он никак не мог примириться с тем, что обошел его не кто-нибудь, а однокашник Дементьев. Тетерин рассчитывал, что именно его назначат на вакантную должность адъютанта эскадрильи, но всем на удивление адъютантом назначили опять-таки Дементьева.

Сброшенный конус лежал за дорогой, на заросшем пустыре, и еще издали мы увидели, как Германовшили ходил лезгинкой вокруг вытянутого на земле мешка. Он выплясывал и припевал в такт:

— В голове мой дыра, на заду мой дыра, везде мой дыра. Ай да командир!

Действительно, результаты превзошли все мои ожидания: тридцать семь пробоин изрешетили полотно.

* * *

Молодость щедра на воображение и не умеет скрывать своих чувств. Надо было видеть, как мы с Бессекирным и Германовшили радовались сегодняшним результатам...

В воображении я видел себя непревзойденным снайпером, от одной очереди которого загорится

любой вражеский самолет, попадись он только в прицел. Но истины в этом было мало. Во-первых, эта моя третья стрельба оказалась последней в мирных условиях. Во-вторых, стреляли мы по «спокойной» мешковине. Кружись вокруг нее, целься сколько душе угодно и стреляй. Ведь «враг» — всего лишь длинная «колбаса» на привязи. Она не сопротивляется, не нападает, одним словом — мишень.

И все-таки было обидно, что нашлись скептики, не поверившие фактам. И откуда такие берутся? Что ими движет — злость или зависть? Почему радость одного вызывает у этих людей противоположное чувство? Ведь интересы у нас общие и цели тоже.

На этот раз Тетерин и Дементьев высказали предположение, что в моем пулеметном ящике патронов было больше, чем положено.

У этой «догадки», как и у лжи, быстро выросли ноги, и побежала она не куда-нибудь, а прямо по назначению — к комиссару эскадрильи.

— Сотни полторы, не меньше, — «подкрепляя» мысль Тетерина, ухмыльнулся Дементьев.

Тетерин посмотрел на меня «сверху вниз»:

— Сколько же вы все-таки заряжали?

— Не знаю, не считал, — угрюмо ответил я. Пушкарев послал за техником по вооружению.

Я стоял и думал: почему правде не верят? Почему сболтнет ханжа и демагог словечко, и оно быстро находит благоприятную почву? По какому праву?

В природе действует закон сильного, в обществе — истина, правда, то, что делает нас людьми. Неужели ложь сильнее истины? Почему нельзя задушить ее в зародыше? Ведь маленькие ханжи вырастают, некоторые даже пробиваются в «люди», в «начальство». У таких уже не словечки, а слова увесистые. Красивые — об истине, о долге, о чести... Все, как в се-

ром липком тумане, теряет очертания, и ты чувствуешь себя виноватым, виноватым, виноватым.

Но есть правда на свете. Подошел Бессекирный.

— Кто заряжал пулеметы? — спросил Пушкарев младшего воентехника. Грозный тон у него явно не получался.

— Оружейник.

— Кто проверял зарядку ленты?

— Я и вы.

— Как? Я?!

— Вы вспомните... Собрались вылетать на стрельбу, а конус оборвался. На второй — не полетели, чтобы не нарушать плановую таблицу. Полетел Речкалов, и больше мы пулеметы не перезаряжали.

Все прояснилось...

Дневная жара спала. Золотые гребни далеких облаков постепенно покрылись глубокими тенями и начали резко выделяться на серовато-синем небе. Полеты продолжались. Для учебных тренировок была отличная пора. Это хорошо чувствовали и мы, молодые летчики — порой еще гости в прекрасном мире ветров, скоростей и высот, и бывалые авиаторы.

Потому, наверное, майор Иванов и выбрал для высшего пилотажа именно этот час.

Летчики сгрудились у «стартовки» и со смехом рассматривали карикатуру на Паскеева. Летчик с невероятно длинной шеей сидел в кабине, а голова его свешивалась под хвост истребителя, где техник подставлял длинную лестницу и умоляюще упрашивал: «Спустишь, посланец небес».

«Герой» стоял тут же, скаля белые, ровные зубы:

— Почему ноги не просунули через кабину? Нет, я не согласен, нет полного сходства. Немедля обжалую.

— Правильно, Тима, были бы ноги — головы не надо, — согласился Ханин.

Смех командиров заглушил быстро нараставший гул самолета. Низко над головами — кое-кто даже пригнулся, — разрывая длинным носом воздух, просвистел «МиГ». Он свечой взмыл в небо, сделал одну восходящую бочку, вторую, свалился набок и перешел в крутое пикирование.

— Здорово работает, — восхищенно заметил Шульга.

— Кто это?

— Командира полка не узнаешь?

— Да ну?

Командир полка Виктор Петрович Иванов был для нас почти недостижимым образцом летчика-истребителя. Все знали, что он вместе с Серовым не раз демонстрировал правительству высший пилотаж в небе Москвы.

Сегодняшний его полет был, мне кажется, не случаен.

Наш полк уже получил первую партию «МиГов». На днях прибыл второй эшелон с истребителями. Но чувствовалось, что летчики недовольны этими машинами. Поговаривали о плохой маневренности и тяжелом управлении в воздухе, о малой скороподъемности. Больше всех недолюбливал «МиГи» и открыто говорил об этом инспектор полка старший лейтенант Курилов. Многие его поддерживали.

Полет в зону — вот где выявляется мастерство летчика. Но сейчас майор Иванов вовсе не старался блеснуть своим умением: Виктор Петрович раскрывал перед нами боевые качества машины. Набрав высоту, он принялся вдохновенно выписывать в небе фигуру за фигурой. И я впервые в жизни понял, что такое высший пилотаж.

Высший пилотаж! Как приятно волнуют эти слова сердце каждого летчика! Петли, перевороты, горки... Виктор Петрович, словно художник, рисовал в небе эти фигуры. Да он и был художник, непревзойденный мастер своего дела. Казалось, ему не стоило никакого труда бросить машину отвесно вниз и над самой землей взмыть свечой в небо. Все делалось просто, точно. У майора был особый дар, о котором можно только мечтать.

— Ну и ну! — восхищался младший лейтенант Суков¹. — Вот это самолет!

— Смотри, смотри, ребята, восходящий крутит, и все вверх, вверх прет, да еще иммельманом! А высоту-то какую набрал! Не меньше тысячи...

Истребитель красиво закончил пилотаж, развернулся, выпустил шасси и пошел на посадку.

...Много лет прошло с тех пор. Немало мне пришлось встречаться с подлинными мастерами и «пилотягами», летать с ними. Вряд ли можно найти летчика, который в душе не считал бы себя мастером пилотажа. Большинство из них скромны, рассказывать о себе не любят. Но случается...

— Лечу я на бреющем — бахвалится один, — хватать «горку», хрясь «бочку» — залюбуешься...

Послушаешь другого, — право же, он единственный, непревзойденный! Такой уверяет, что резкий пилотаж — чуть ли не основа успеха в бою, а сам он — изобретатель «этакого чуда» и больших перегрузок. И невдомек ему, что всякое резкое действие в авиационном деле — элементарная безграмотность. Что касается «хватать» да «хрясь», то многие из

¹ Суков Александр Матвеевич, летчик, мл. л-т., 1920 г.р., 22.06.41 г. сбит в в/б в районе Бельцы на «МиГ-3». Похоронен там же. Сбитых самолетов противника не имел.

нас еще на школьной скамье за такие «трюки» смотрели на нормальные полеты через решетку гауптвахты.

Многое пришлось повидать, испытать и мне самому. Все это забылось или почти забылось. А вот полет майора Иванова, умение владеть самолетом, раскрыть его летно-тактические возможности, заставить летчиков поверить в новый истребитель — живы в памяти до сих пор.

Командир полка сел, зарулил на стоянку. Мы с Борисом Комаровым восхищенно проводили взглядом его «МиГ» и направились к своим самолетам. Наши «Чайки» стояли рядом, готовые к отработке маршрутных полетов.

Полетное задание было простое. На первом отрезке маршрута до аэродрома засады ведущим шел я. Выскочили точно. Сюда только что под село звено Столярова на боевое дежурство. «Пробрили» над их головами. Они приветливо помахали в ответ шлемами, а Ханин пригрозил кулаком. Мы качнули крыльями, взмыли горкой и легли на новый курс. На втором отрезке маршрута вел Борис.

Ведущему некогда любоваться красотами земли. Нужно ориентироваться. Земля под самолетом проносится живой картой: реки, дороги, населенные пункты. Их нужно отыскать, сличить с картой подлинной, чтобы не пролететь стороной.

В Комарове я не сомневался — он-то не заблудится, а потому спокойно любовался панорамой под крылом.

Хороша с птичьего полета бессарабская земля. Холмы, перелески, беленькие деревушки утопают в зелени, поля поделены на разноцветные лоскутки: зеленые, оранжевые, черные.

Но что это? От мотора отскочило облачко дыма.

Или мне показалось? Взглянул на часы. Оставалось пять минут полета до второго поворотного пункта. Показания приборов были без отклонений. Спокойный гул мощного мотора, прозрачный диск винта, свист тугого воздуха (вот где по-настоящему ощущаешь, что он материален) — все привычно бодрило, не вызывало никаких опасений.

Снова мотор выплюнул облачко дыма. Самолет передернуло. Стрелка, показывающая давление масла, нервно затрепыхалась. Пока я соображал, в чем дело, произошло непонятное: мотор загрохотал, верхняя часть капота затряслась, как лист кровельного железа на ураганном ветру. Внутри что-то сильно стучало, да так, будто в бешено вращающиеся шатуны попала кувалда.

Несколько молниеносных автоматических движений — и я выскочил с бреющего полета вверх, сколько позволял запас скорости, выключил зажигание, перекрыл бензиновый кран и взглянул на милую землю, чтобы знать, куда падать.

К великому сожалению, она в этот момент была страшно неудобной. Серебристый ручеек, вдоль которого мы «брили», превратился в заросший овраг; слева возвышался крутой глинистый берег, справа к оврагу сбегали узкие поля, покрытые подсолнухом и кукурузой. Впереди белели хатки в садах и... ощетинилось крестами кладбище. Ни одного вспаханного поля, как того требует инструкция. Где приткнуться?

В таких острых ситуациях всегда смещается масштаб времени. Секунда расширяется до нужных человеку размеров, превращается из величины астрономической в физическую. Много, очень много успевает человек сделать в это мгновение. И в то же время эта секунда остается величиной неизменной,

как всегда, спешит, подгоняет. Промедление смерти подобно. Для летчика это — буквально.

В кабине запахло гарью. Желто-черные огненные языки выплеснулись откуда-то из-под капота, лизнули кабину, обдали жарким дыханием. Мотор, как издыхающий зверь, сильно «брыкнул» в предсмертной агонии и замер.

Наступила тишина. Удивительная тишина, какую ощущаешь, когда вдруг под мостом, услышав грохот летящего поезда, плотно заткнешь уши.

Самолет будто повис между небом и землей. Только упругое обтекание воздуха говорило о том, что он уже беспомощен, но еще послушен. Жаль, высота очень мала. Ее хватит только на небольшой доворот в сторону. Кусочек плотной земли — вот что мне сейчас нужно больше всего на свете.

Думается, нет на свете людей, более спокойно переносящих трагедии, чем летчики. И не от того, что это люди особого склада. Просто они никогда не забывают, что профессия их неизбежно связана с какой-то долей риска. Вот и теперь: кто знает, что скрывают кукурузные или подсолнечные стебли? Камни, коряги?

Под крылом мелькают кладбищенские холмики. Хоть бы мало-мальски пригодная площадка! Куда же сесть? Земля притягивается к самолету так быстро. О выпуске шасси не может быть и речи. Впереди густая полоса зеленого посева. По инструкции садиться туда разрешается; высоту колосьев надо принять за уровень земли. Но я на посевы не попаду. Слева, ближе к оврагу свободная от посевов полоса. Легкий доворот. Высоты никакой. Теперь только прямо, что бы там ни было. Впереди мелькают овраг, дорога. По крылу ударяет подсолнух. Опять дорога...

— А-а-а!

Кажется, только этот звук и вырвался из моей груди. Кроме чудовищного треска я ничего не ощутил. Со скоростью более полутора ста километров в час я врезался в землю.

...Какие-то доли секунды не вижу ничего. Не испытываю ни малейшего волнения. Чувствую лишь беспредельное ожидание, ожидание конца. За ударом следует еще удар. Голова беспомощно мотается взад-вперед. Все существо наполнено оглушительным треском. Какая-то страшная сила набросилась на нас: самолет и меня. Не растроченная машиной энергия гонит ее от бугра к бугру по полю прошлогодней кукурузы. Через голову летят какие-то предметы. Толчки продолжаются, ярость их не утихает. Я уже ничего не понимаю в бесконечной невидимой кутерьме: ни этих встрясок, ни ярости, ни отсрочки...

Внезапно наступает тишина. Все неподвижно. Сквозь густую пелену пыли вижу круглый диск солнца. Он словно катится вниз по холму, за речку. Осматриваюсь, ощупываю себя. Как будто все цело. Над головой рев мотора. Это «Чайка» Бориса Комарова. Он летит низко. Вижу в кабине его встревоженное лицо. Машу ему рукой и выбираюсь из самолета.

Моя «Чайка» не скапотировала. Весь трехсотметровый путь она проползла на брюхе. Правая нижняя плоскость съехала назад. В обшивке, как сломанные кости, торчат куски лонжерона. Мотор перекосялся, сквозь серебристый капот проглядывает какой-то темный предмет. Так вот оно что! Шатун вылез наружу! Какая же сила оборвала его и пропорол цилиндр?

Борис настойчиво кружит надо мной. Показываю ему в сторону аэродрома, — лети, мол, со мной все в порядке, — и замечаю, что рука в крови. Отку-

да кровь? Ага, ясно: разбитые стекла очков содрали кожу со щеки.

Комаров скрылся за холмами, и мне стало немного не по себе. Неподалеку в селе перетягивались собаки. Ни один взрослый, ни один мальчишка не показались из села, не подбежали оказать помощь или просто — ради любопытства. Ни души вокруг.

Солнце исчезло за горизонтом, но отблески его еще горели на оторвавшихся от горизонта черных шапках грозowych туч. С речки потянуло прохладой. Ночь спускалась на землю.

Когда же теперь за мной приедут? И приедут ли сегодня?.. Надо ждать. Бросать самолет нельзя... В кабину, что ли, забраться — там теплее... Пошарил в кармане. Достал пачку папирос. Машинально осмотрелся: нет ли начальства. Привычка. Да, начальство... Как оно расценит эту вынужденную посадку?

Кажется, все было по правилам. Не виноват же я, что оборвался шатун. Почему-то в нашем полку они обрываются последнее время уже слишком часто. Представители завода никак не могут найти причину. Сперва винили нас, летчиков. Чудаки! Как будто нам интересно рисковать жизнью! Но невидимый коварный враг продолжал переламывать, как спички, стальные шатуны в моторе. Бедняга Богаткин! Переживает, наверное. Его вины здесь, конечно, нет.

Вместе с тетрадью из летного планшета выпал конверт. Письмо от отца. Старое письмо. В сумерках строчек не различить, но я и так почти дословно помню, о чем писал отец. У них на Урале уже глубокая ночь, а здесь она только подкатывается. Луны сегодня не дожждаться — ночь будет темная.

Отец благодарил за посылку ко дню рождения. «...Ром, — писал он, — перепробовала почти вся деревня, благо угощались из рюмки с наперсток. Жаль,

ботинки малы. Зато мать туфлями довольна. Всю жизнь ходила в обутках, а тут вырядилась в замшевые, да еще заграничные. Бабушка тоже не нарадуется присланной косынке. Спрятала ее в сундук, наказала в ней в гроб положить. Все тебя вспоминали добрым словом: и как ты учился в аэроклубе, и как на мельнице работал. Помнишь Сашку Чернавского, токаря? Он рассказывал, как тебе однажды примороженное ухо от воротника отдирали, когда ты в лютую пургу из аэроклуба дежурить на смену пришел.

Был в гостях и сменщик твой, Дмитрий Мурашов. Тоже вспоминал твои проделки на электроподстанции. Мы долго смеялись, когда он рассказывал, как ты все боялся уснуть после полетов на дежурстве, а чтобы не застали тебя спящим, подводил к дверям подстанции слабый ток, и как однажды под этот ток попала твоя знакомая, Надя — лаборантка...».

Надя Малкова... Ведь совсем немного времени пролетело! Всего четыре года... Тихая радость и какая-то щемящая грусть наполнили меня.

...Помнится, в тот месяц я ни разу не ночевал дома. Мать даже навевывалась на работу, приносила теплые, пахучие картофельные шаньги, спрашивала, куда я запропастился. А я днем на аэродроме, ночью на дежурстве. Почти ежедневно — тридцать километров в оба конца. И как только выдерживал эту нагрузку мой старенький велосипед!

В тот вечер, искупавшись в мельничном пруду, я неумело стирал пропотевший летный комбинезон. Белый налет пота долго не сходил с темно-синего материала. Вешая одежду на куст, я вдруг почувствовал, что кто-то внимательно разглядывает меня. Ребятишки? Нет, те бы не вытерпели, подбежали либо затеяли возню. «Черт с тобой, — подумал я, глазей сколько хочешь, а я завалюсь под куст». Прилег на

душистую траву. Однако неприятное ощущение не оставляло меня. Я присел на колени и повернулся к пригорку, где две пышные березы склонили свои ветви к самой воде. Так вот оно что! Невысокая стройная девушка в сиреневой кофточке, обняв рукой березовый ствол, пристально смотрела на меня, будто это зрелище доставляло ей невероятное удовольствие.

— Ну, что глаза разула? — умышленно грубо спросил я, подходя к девушке. — Парней не видала?

В ответ она лишь слегка улыбнулась. Об этом можно было догадаться по тому, как шевельнулась небольшая родинка на щеке около глаза да чуть дрогнули большие ресницы.

— Чего скалишься-то? — продолжал я, начиная уже стесняться своего грубого тона.

Тут незнакомка вдруг заливисто расхохоталась. Серые глаза ее сузились, из щелочек выплеснулись брызги заразительного смеха. Я тоже улыбнулся. Исподтишка внимательно осмотрел себя. Ничего такого, что могло бы вызвать смех. Заглянул в ее насмешливые глаза. Они приветливо улыбнулись, но с хитринкой, и эта хитринка почему-то взволновала меня.

— Откуда ты взялась?

— С завода. — Она махнула тоненькой рукой в сторону мельницы. — А я тебя знаю. Ты на летчика учишься.

— Ну что ж, будем знакомы... Григорий!

— Будем! — Ее теплая, чуть влажная ладонь крепко пожала мои пальцы. — Надя. Работаю в лаборатории.

— А здесь как очутилась?

— Искупаться хотела. Иду и гляжу — ой, умора!

Парень бабской работой занимается, да так неумело. Вот!

Она сделала несколько неуклюжих движений: показала, как я стирал, и снова звонко рассмеялась. Было в ее смехе что-то искреннее, сердечное, отчего на душе у меня сразу потеплело.

— Побегу искупаюсь. Подождешь? А то давай вместе?

И не успел я ответить, как она отбежала к пруду под куст и стала деловито раздеваться. Сняла кофточку, темную юбку, аккуратно свернула их, поискала место, куда бы лучше положить, и задорно посмотрела в мою сторону:

— Чего уставился? Девчонок без юбки не видел?

— Ага.

Через секунду тоненькая фигурка скрылась под водой.

Меня будто закружило в горячем вихре. Я отбросил назад непокорные рыжие волосы, крикнул срывающимся голосом:

— Берегись, Надюшка! — и с разбегу нырнул в пруд. Мы купались до темноты, а когда вылезли из воды, на мельзаводе, в прилегающем поселке уже зажглись первые огоньки.

— Посидим? — Я указал на разостланный, еще не просохший комбинезон.

— Ладно, — доверительно просто согласилась она. — Только оденусь.

— Зачем? Так лучше.

На щеке ее слегка дрогнула родинка.

— Глупый ты. Возьми-ка лучше полотенце да вытри мне спину.

С понятной робостью выполнил я эту просьбу. На ветвистой березе зачирикала какая-то птичка и тут же смолкла, словно боясь помешать странной

музыке в моей груди. Я слышал все и ничего. Во мне звучала своя прекрасная песня, и весь пруд, все живое вокруг подпевали ей.

Я видел перед собой только эту девушку, только ее одну, и она была для меня тогда воплощением всех совершенств мира. Хотелось прыгать от радости. Почему? Мне еще трудно было разобраться в этом удивительном чувстве.

Я так старательно тер эту загорелую, бархатно-нежную спину, что Надя недовольно выхватила полотенце, но, увидев взволнованное выражение моего лица, громко прыснула:

— Глупый ты... — И пошла к пруду одеваться. А потом мы сидели под молчаливой березой, скрытые ветвями от всего мира.

Вода в пруду, темная и смутно различимая была совсем тихой, застывшей. На противоположном берегу над соснами вставала луна, огромная, точь-в-точь как медный бабушкин поднос, начищенный до золотого блеска. Надя мечтательно смотрела на нее, потом задумчиво проговорила:

— Сколько на эту луну глаз любовалось, сколько о ней стихов написано — и печальных, и счастливых, а она все такая же, — то заставляет волноваться, то грустить! Почему бы это?

Я промолчал. Не так уж часто приходилось мне в ту пору интересоваться луной, да и то лишь как источником освещения дороги, когда я поздней ночью возвращался на велосипеде из аэроклуба.

— Какая красивая тропинка протянулась! Прямо к нам под ноги, — по-детски восхищалась Надя.

Действительно, через весь пруд луна перекинула серебристый мост. Она как будто приглашала пройти по нему в свой волшебный мир. Надя осторожно высвободила свою руку и повернулась ко мне ли-

цом. Оно, все в лунных бликах, было сейчас совсем близко. Я чувствовал тепло ее губ и окутанный густой тенью взгляд. Я перевел свой взгляд на поселок в огнях, на искрящуюся водную гладь и чувствовал, что Надя продолжала испытующе смотреть на меня, будто старалась определить: хороший я человек или плохой, умный или недалекий, смогу ли хоть крепко обнять ее. Впрочем, она, вероятно, ничего подобного и не думала. Внезапно меня охватила тревога. Я обернулся к своей спутнице. Надя неожиданно встала, прислушалась к шепоту листьев, к далекой мелодии репродуктора.

— Ну, пойдём, а то... — Она не договорила и как-то особенно тепло посмотрела мне в глаза.

Я много слышал до этого, как ребята рассказывали о своих взаимоотношениях с женщинами, о том, как они просты, надо быть лишь посмелей и понастойчивей. Все это было любопытно и заманчиво. Но в тот вечер, находясь рядом с этой девушкой, я понял, что многое желаемое в этих разговорах выдавалось за действительное. И как только об этом рассказывают?

Надя побежала по тропинке туда, где сиял огнями завод.

— Можно, я провожу тебя?

— Пожалуйста. Только до домика, где живет Женька Вершигора.

— Что, боишься его?

— Не боюсь, неудобно. Он же секретарь комсомольской ячейки. Да и к чему лишние разговоры? Их и так достаточно.

Мне почудилась в ее голосе грустная нотка.

Мы остановились у овражка. Здесь начинался поселок. Говорили о чем-то незначущем, но тогда все для нас было исполнено глубокого смысла. Она стоя-

ла спиной к месяцу, лицо ее находилось в тени. Какая нежная, маленькая рука! Я крепко сжал ее. Надя едва заметно ответила на мое пожатие. Или мне показалось?

— Надя, когда встретимся?

— Не знаю.

— Но мы должны встретиться, — взволнованно настаивал я.

— Ладно, — она потупила голову, — приходи завтра...

— Куда?

— Сюда.

И, вырвав руку, заторопилась по тропинке.

А я вернулся к нашей березке. Упал на траву и долго смотрел в бесконечный звездный мир. Звезды то затуманивались, то ярко вспыхивали, совсем как Надины глаза...

Ох, уж эти мне воспоминания! Надо им было нахлынуть как раз сейчас, когда давно б пора собраться с мыслями, припомнить мельчайшие детали полета, чтобы внятно доложить о случившемся. Откуда они? Ах да, отцовское письмо... О чем же еще он писал?... Что-то насчет деревни. Вроде мужики стали жить теперь лучше. Многие пообстроились, только сам он все не соберется подвести новый сруб под свою хату. «А на большее деньжонок не хватает», — писал он. «Обязательно вышлю денег, — решил я про себя. — И строиться помогу, вот приеду в отпуск...»

«А председательствует у нас снова Анна Романовна, из района приехали и посадили ее в председатели, хотя многие мужики на собрании были несогласны». Отец расписывал, кто из мужиков был против, а Васька Комиссаров — тот вообще чуть не подрался, доказывая, как Анна Романовна в позапрошлом году все сельпо загубила. «Жаль, на селе больше ни-

кого из партийных нет, потому и председательствует она теперь», — сетовал отец. Затем он подробно перечислял, кого забрали в армию на переподготовку. «И дружка твоего, Вершигору, тоже забрали, только Тишка Мурашов на месте. Он теперь стал машинистом...»

Вспомнилась глубокая осень, сухая и теплая, какие бывают только на Урале. Днем ослепительно яркое солнце припекает, а по ночам воду у берегов прихватывало прозрачным ледком. В тот день я работал в первую смену. Со второго этажа подстанции открывался чудесный вид на заводской пруд. На ярко-синем, опрокинутом в воду небе, не было ни облачка. Зеркальная синева воды изредка вздрагивала от всплесков рыбешек. Внизу тихо работали две гидротурбины, вливаясь в общий рабочий ритм большого завода.

— Здорово, Грицко! — еще издали радушно поприветствовал меня Женька Вершигора. — Есть хорошая новость. Ни за что не догадаешься!

— Отпуск! — воскликнул я. — Ты мне разрешил отпуск?! — Вершигора в то время оставался за главного, и у него лежало мое заявление об отпуске.

— Отпуск, да не тот. На, друже, читай!

Я схватил телеграмму: «Откомандируйте Речкалова Свердловск для прохождения комиссии военную школу тчк Произведите полный расчет зпт при себе иметь личные вещи тчк Явиться десятого ноября аэроклуб тчк».

— Женька, так сегодня уже пятнадцатое! Я опоздал!

— Только что принесли. Ну, не страшно, напишем тебе справку. Приемные комиссии обычно работают месяц. После смены приходи в контору. Я

тем временем комсомольскую характеристику напишу.

— А кто здесь вместо меня останется? — выдавил я, не зная, что спросить от радости.

— С элеватора старшего электрика временно поставлю.

На подстанции зазвонил телефон.

— Меня, наверное, разыскивают, — сказал Вершигора, — поверь уж, не дай бог быть главным: ни днем, ни ночью покоя не дают, по всякому пустяку звонят.

Следом за ним я вошел в помещение, не отрывая глаз от телеграммы, не понимая еще, какой величайший перелом в моей жизни произошел в тот день. И мирный гул электрогенераторов, и знакомые ребята, и горячие споры, и тихий пруд — все, чем я жил это время, сегодня было в последний раз.

— Быстрее на коммутатор, здесь ни черта не слышно, Свердловск тебя вызывает! — взволнованно выпалил Вершигора.

Пока мы бежали на телефонную станцию, в голове роились десятки предположений. Летную программу в аэроклубе мы еще не закончили — бензина не хватило, выпускных экзаменов не сдавали, и вдруг — какая-то военная школа.

Звонил мой инструктор Кармышкин. Сегодня к восьми вечера я должен быть в аэроклубе, если не успею — в военную школу летчиков не попаду.

— В военную школу летчиков! Жень-ка-а!

— Грицко-о-о!..

Сборы были короткими: времени на беготню с обходным листом уже не оставалось, и Женька снабдил меня своими деньгами.

Я быстро со всеми попрощался. Забежал к главному механику Костромину.

— К родным так и не заедешь? — пожимая на прощание руку, спросил Костромин. — Потеряют, волноваться будут.

— Не успею, Виктор Дмитриевич, времени в обрез, Чернавский им передаст.

Выходя из кабинета, я заметил в темном углу коридора сиреневую кофточку. Надя стояла, слегка опустив голову, сиротливо сведя плечи, и смотрела в мою сторону напряженно, растерянно. Полный душевного смятения, я медленно подошел к девушке. В руках у нее был мой чемоданчик, где лежали сменная пара белья да несколько книг.

— Я ждала... Принесла вещи... второпях и забыть можно.

— Надя, я уезжаю...

— Знаю...

Лицо ее от волнения покрылось красными пятнами. Глаза, точно у провинившейся, избегали открытого взгляда.

— Не думай, я бы непременно забежал...

— У тебя и так нет времени. Я решила...

— Я уезжаю, — продолжал я, не зная, что еще сказать. — В летную школу.

— Знаю все. — Брови ее нетерпеливо дрогнули. — Заехал бы к родным.

Подошел Женька:

— Надюша, давай-ка мне чемодан. Я вас догоню за овражком.

Две березки у пруда преградили нам дорогу.

— Знаешь, когда мне будет очень тяжело, я стану приходить сюда.

— Пойдем, постоим там, — предложил я. — До сих пор не могу поверить, что через несколько минут уеду учиться на военного летчика.

— В счастье не всегда легко поверить, — прошеп-

тала Надя. — Я рада за тебя, знаю — ведь это твоя судьба. Помолчим? Дорога дальняя.

Несколько долгих, томительных минут мы молча стояли под березой. Показалась Женькина бричка. Надя вся как-то сжалась, глаза, полные слез, не мигая, смотрели куда-то вверх.

— Держись, Надюшка! — ободрил я ласково.

— Там, в чемоданчике, конверты. Я положила...

— Спасибо. Буду писать. Обязательно.

Прощальный взгляд на родные места. Последний поворот, и поселок, и березы на пригорке, и она — все скрылось. Тоскливо екнуло внутри: завод, товарищи, любовь — отрочество осталось там, за густым притихшим бором. Лес раздвинулся, открылись необозримые дали, свежий ветер просторов взволновал кровь, новизна захватила дух.

Солнце плавилось над головой, когда Женька Вершигора домчал меня до районного села Арамили: автобусная линия связывала его со Свердловском.

— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — спросил он, когда мы ждали на остановке. — Сколько тебе лет?

— Семнадцатый. А что?

— Понимаешь, очень важно именно в молодые годы добиться чего-то большого, стоящего... Мне отец говорил: «Возьмешься за дело с утра пораньше — сделаешь больше!» Так и в жизни: добивайся своей цели, пока молод.

Он глубоко задумался. Густые брови его сомкнулись, обозначив на переносице вторую глубокую складку.

Мы сердечно распрощались. И я долго еще видел Женьку, одиноко стоявшего на дороге с высоко поднятой фуражкой в руке...

...Ночь тянулась невозможно долго. Но она не бы-

ла мертвой. В темноте кипела своя, невидимая мне жизнь. Возле самолета то и дело появлялись пары зеленоватых светящихся точек. Они выжидательно замирали на одном месте, робко приближались к самолету, опять замирали. Вот одна из них показалась у сломанного крыла. Существо притаилось, словно приюхиваясь, ткнулось, должно быть, мордой обо что-то острое и, тихо твякнув, отбежало в сторону. Туда же метнулась вторая пара огоньков. Донеслось протяжное шакалье завывание. По спине пробежал колючий озноб. В унисон завыванию под ложечкой противно засосало от голода. Дополняя мрачную картину, с черного беспросветного неба забарабанил крупный дождь.

Я терпеливо ждал аварийную команду. Ждал и думал. Кажется, никогда в жизни я столько не думал, не вспоминал, как в ту ночь.

Наступал холодный рассвет. Наконец-то... Он разливался медленно, неохотно. А я продолжал пристально следить за черным холмом, откуда все не появлялись спасительные фары. Когда же? Хотелось спать. Усилием воли я отогнал от себя сон. Все подчинялось мне: руки, мозг. Отвратительно недисциплинированным был только желудок. Этот дотошный эгоист не признавал ничего: он ныл, он нудно исподволь сосал, он сердито ворчал.

Дьявольски трудная штука — уметь ждать, не теряя самообладания, все время оставаясь оптимистом. Это своего рода борьба, и победить в ней нелегко. Летчику в летной жизни вообще приходится ждать много. Но одно дело ждать на людях, и совсем другое — в одиночку, на неприветливой земле, в исковерканном, затерянном в ночи истребителе.

Аварийная машина, обляпанная грязью, пришла только на другой день, в полдень. Я был бесконечно

благодарен заботливому Богаткину за сумку, куда он вложил буханку на редкость вкусного хлеба, круг колбасы и флягу необыкновенно живительной влаги. Его промасленная ватная куртка показалась мне куда теплее и нежнее собольей шубы.

Вслед за «аварийкой» подошла грузовая машина с людьми. У беспомощно распластанных крыльев засуетились техники. Майор Козьявкин, наш полковой доктор, принялся обрабатывать рану на моей щеке. Инспектор по технике пилотирования изучал следы ударов самолета о землю. Вскоре исковерканную «Чайку» подняли, поставили на колеса.

Инженер Шолохович и представитель завода исследовали масляный фильтр мотора — он был забит стружкой подшипника. Шолохович обратил внимание на странный цвет масла в отстойнике.

— Чем вы объясните серый осадок в масле? — спросил он начальника ГСМ¹.

Старший воентехник Борисов взял банку со сливом. Он то подносил ее к глазам, то смотрел на свет, наконец зачем-то встряхнул и передал обратно Шолоховичу:

— По-моему, обыкновенная грязь. И попала, вероятно, во время посадки, уже на земле.

— Но ведь мотор тогда уже не работал, и шатун торчал наружу, — возразил представитель завода.

— Вот именно! Через пробитый цилиндр пыль и проникла внутрь! — оживился Борисов.

— Много было пыли? — спросил меня инженер.

— Очень!

— Хорошо. Отстой слива возьмем на анализ.

К этому времени крылья и хвостовое оперение сняли. Можно было отправляться домой.

¹ ГСМ — горючее и смазочные материалы.

После ночного дождя дорога была отравительной. Грязь сгустилась и теперь пудовыми комьями забивала колеса. Старенькая полуторка кипела, как самовар, натруженно тарахтела, ползла черепахой. При виде этой дороги, которую наши преодолевали всю ночь и половину сегодняшнего дня, моя злость на их нерасторопность пропала.

Да и вообще-то я злился не на них, а на голод, который до «посылочки» Богаткина мучил меня невыносимо. Сутки без маковой росинки во рту с непривычки довольно чувствительно сказываются на желудке. Правда, не так уж далеко от меня была деревня, но ни один человек оттуда не подошел к месту вынужденной посадки. Метрах в пятистах пролежала проселочная дорога. За все это время по ней проехало три подводы, однако на мой призыв остановиться люди еще сильнее понукали лошадей.

«Хлеб в пути не тягость». С незапамятных времен существует эта мудрая народная поговорка. И всякий здравомыслящий человек ее придерживается. Самый захудалый мужичонка, отправляясь в любую дорогу, обязательно в чистую тряпицу заворачивал краюху хлеба, а тот, кто позажиточнее, брал в придачу еще и жбан квасу.

В армии даже самый нерадивый солдат знает: что положишь в заплечный мешок, то и попадет в котелок. А вот в авиации, в этом передовом и высокоразвитом роде войск, такая прописная истина никак не может прижиться, хотя именно здесь как раз и нужен «хлеб в пути».

У летчика в полете особые, ни с чем не сравнимые пути-дороги. Какой бы высокой ни была техническая надежность, фраза: «Летчику всегда известно, куда он летит, но он никогда не знает, куда прилетит» — имеет достаточно оснований. Можно припомнить не один случай, когда в обычных учебных

полетах, в аварийной обстановке летчик благополучно выходил из трудных положений, но погибал, потому что не имел маленького, грошовой стоимости, бортового пайка.

Я знал летчика, который одиннадцать суток боролся за свою жизнь. Это был очень мужественный и сильный человек. Он вел дневник одиннадцать дней — подробно описывал борьбу за свою жизнь. Одиннадцать дней без куска хлеба, без щепотки соли. Один на один со смертью! Над ним летали поисковые самолеты, но он не мог им дать знать о себе, потому что ни один конструктор, ни один военный руководитель не снабдили его хотя бы маленькой ракетницей, не говоря о большем — рации. А ведь даже у школьников-радиолюбителей есть портативные простые радиостанции. Попросить пионеров взять шефство над летчиками — и можно не беспокоиться: за короткий срок радиосвязь в аварийной обстановке будет налажена.

Этот летчик первые пять дней шел, а остальное время полз. И когда всего каких-то пять километров осталось до места, где находились люди, жизнь навсегда покинула этого мужественного человека. А будь бортпаяк, летчик смог бы поддержать свои силы и добраться до жилья. Мне не раз во весь голос хотелось крикнуть тем, на чьей совести смерть этого летчика: неужели по ночам вас не беспокоят кошмары? Неужели у вас не поднимется рука подписать бумажку, которая считала бы преступлением любой полет без бортпайка и аварийных средств связи? Задумайтесь хоть на минуту о тех страданиях, которые пришлось испытать летчику, представьте себя на его месте.

Приходилось только удивляться, сколько средств иногда расходовалось бессмысленно, впустую! А вот бортпаяк оставался той величайшей тяжестью для

интендантства и военного руководства, на которую у них никогда не хватало ни средств, ни сил, и вернее всего — желания понять, как это нужно летчику в беде.

* * *

Наша полуторка, пыхтя, взобралась на последний холм, и с его вершины мы увидели манящие огни города...

Фиса выглянула из окна как раз в тот момент, когда я с забинтованной головой вылезал из кабины. Ноги ее будто приросли к полу; она беспомощно прислонилась к стене.

— Что с тобой? — скорее догадался, чем услышал, я.

— Успокойся, успокойся... — я гладил ее волосы. — Ну что разволновалась? Все хорошо. Успокойся...

Я, как мог, успокаивал смертельно перепуганную жену. Она медленно подняла голову и только тут обратила внимание, что в комнате есть посторонний. Доктор Козьявкин деликатно стоял в стороне. Фиса смутилась, заторопилась на кухню.

— Ну, вот ты и дома. Три дня на отдых. — Майор вытер вспотевшую после рома лысину. — Командиру полка все расскажу чин-чином.

Да, я дома. Что может быть приятнее — выпутавшись из беды, после всех невзгод сбросить заляпанные грязью доспехи и попасть в тепло своей комнаты! На белой хрустящей скатерти дымится чашка душистого кофе, мягко светит электрическая лампочка, в углу в своей кровати сладким сном забылся белоголовый сынишка.

Теперь можно слегка подшутить над женой: ведь ничего особенного не случилось. Маленькое летное

происшествие, ночь, одиночество, раздумья... Нет, лучше не вспоминать.

На следующий день мы с самого утра пошли бродить по городу. После полуторамесячного житья в казарме небольшой бессарабский городок показался мне столицей. Чистые зеленые улицы, красивые витрины магазинов, крикливые афиши, горластые мальчишки-газетчики — на все это я смотрел во все глаза, как только что вырвавшийся на волю заключенный.

На базарной площади стоял разноязыкий гомон; здесь можно было услышать румынскую и украинскую речь, немецкую, исковерканную русскую. Приземистая церковь с высоким шпилем высилась в центре. Сегодня, как, впрочем, и каждый день, сюда съехалось множество крестьян. Фрукты, овощи, мясные туши — всего в изобилии, все дешево. Правда, по сравнению с прошлым годом цены сильно подскочили, но в этом местные жители винили наших жен: они, мол, набрасываются на все без разбору.

В маленьком обувном магазинчике услужливая продавщица долго обхаживала жену, какие только туфли не предлагала, снимая их с зеркальных полок ловкими красивыми движениями: замшевые, лакированные, из крокодильей и змеиной кожи. «Только, ради бога, купите», — просили ее руки, улыбка. И мы сделали несколько покупок, чтобы чем-то наградить внимание продавщицы, ее обходительную, милую настойчивость.

Уже порядочно припекало, когда мы, нагруженные свертками, на извозчике подкатили к дому. Фиса сияющими глазами поглядывала на обновки. Ее похудевшее лицо оживилось, на щеках играл румянец.

— Мне так не терпится примерить все это, что я готова без обеда остаться.

Тяжело шаркая шлепанцами, в комнату вошла хозяйка и вручила мне записку.

От кого бы? Я развернул листок. Дежурный по штабу просил меня срочно явиться на аэродром.

— Что-нибудь случилось?

— Не знаю. Но, кажется, наотдыхался.

Фиса сразу как-то сникла.

— Может, пообедаешь? Я быстро...

— Нет, лучше помоги мне собраться, вызывают срочно.

Кому же я так срочно понадобился?

Над аэродромом кружились самолеты. Чтобы не дать повода для лишних разговоров, я рассчитался с извозчиком у границы летного поля. Все вокруг заросло ромашкой, сплошное белое море цветов простиралось даже там, где поле подходило к стоянкам. Вдоль железной дороги в линейку вытянулись распластанные темно-зеленые «МиГи». На пригорке, прокладывая дорогу, по-прежнему пылили бульдозеры.

Две ласточки выпорхнули из-под ног и помчались на бреющем полете над белыми головками ромашек. Они летели вдоль стоянки, взмывали горкой, опускались вниз, бесшумно скользили мимо озабоченных людей, словно хотели понять причину их напряженной нервозности.

На КП Дубинин суетливо потер руки и быстро, как всегда, проговорил:

— Явились? Хорошо. Сейчас вызову Комарова, пойдем в штаб полка.

Я присел на скамейку, осмотрелся. Ничего здесь не изменилось с позавчерашнего дня: к столам были прибиты коптилки, от заплесневелых стен привычно исходил тяжелый запах, на старом месте, в углу висела немая карта района полетов. Чувство беспокойства не покидало меня. Что-то говорило о невидимых переменах.

Наконец появился Комаров.

— Куда же вы запропастились? — раздраженно заметил комэск.

— «Чайку» Речкалова смотрел, товарищ старший лейтенант. Только что привезли с вынужденной.

— Сильно поломана? Куда поставили?

— Притащили к ПАРМу¹. А повреждения... По-моему, их куда меньше, чем у Хархалупа.

— Не уходите, сейчас пойдем докладывать, выясню только, где они.

Борис подошел ко мне, крепко пожал руку:

— Ну, как себя чувствуешь? Что со щекой?

— Спасибо, хорошо. Щека-то? Пустяк, ссадина небольшая, скоро пройдет. Не знаешь, зачем меня вызвали?

Комаров удивленно присвистнул:

— Тебе что, не сказали?

Тут настала моя очередь удивиться.

— Генерал Осипенко вызывает, — пояснил он. — Сегодня утром прилетел. Такое тут было!..

Что именно было — я не узнал: комэск заторопил нас к начальству.

— Подождите здесь, я доложу, — сказал он, когда мы подошли к небольшому «квадрату».

Полковое начальство окружило невысокого плотного человека в синем комбинезоне. Мы не слышали, что он говорил, но по тому, как он выразительно жестикулировал, показывая то на стоянки, то на занятых своим делом людей, можно было догадаться — давал «руководящие указания». Изредка к группе подбегали командиры, замирали в ожидании распоряжений и пуль срывались назад.

— Борька, который там генерал?

¹ ПАРМ — полевая авиаремонтная мастерская.

— Комиссар с ним разговаривает.

— А маленький, коренастый, к которому Дубинин подошел?

— Да ты что, не узнал? Сорокин, бывший комэск первой эскадрильи. Он теперь инспектор дивизии.

Сорокин глянул в нашу сторону и что-то сказал тому, кого Комаров назвал генералом.

Дубинин подбежал к нам:

— Пойдемте. Да смотрите — докладывать четко. Вы, Речкалов, первый.

Проторчав целые сутки на вынужденной посадке, я успел десятки раз проанализировать свои действия. Инспектор полка разбирал все по горячим следам и ничего предосудительного не нашел. Но я чувствовал, что конец мытарствам еще не наступил.

Дубинин перешел на строевой шаг, приложил руку к козырьку. Мы сделали то же самое.

— Товарищ генерал, докладывает командир первой эск..

— Отставить! — прервал его резкий окрик. — Как руку держите? Не умеете подходить к генералу, а еще комэск. Повторить!

Мы повернулись, отбежали немного и вновь пропечатали строевым шагом.

— Ну, кто из вас сел на вынужденную?

— Я, товарищ генерал-майор.

— Фамилия?

— Младший лейтенант Речкалов.

— Вижу, что младший лейтенант, а не генерал. Кубики на петлицы нацепил, а НПП¹ не знаешь.

К этому времени я уже поднакопил мало-мальски житейский опыт — знал, например, что возражать начальству нельзя. И все-таки, когда меня неспра-

¹ НПП — наставление по производству полетов.

ведливо обвинили в незнании НПП, — а уж в этом я разбирался хорошо, — удержаться не смог:

— Товарищ генерал, наставление по производству полетов я знаю.

— Вы слышите? — удивился генерал и повернулся к командиру полка. — Он знает!

Иванов смотрел в сторону, чуть склонив голову набок на крепкой мускулистой шее. Я обратил внимание на прутик в его левой руке. Прутик резко, со свистом бил по голенищу — верный признак, что командир полка видит непорядок и нервничает, — об этом барометре в полку знал каждый.

Все молчали. Только в воздухе гудели моторы. Я почему-то ждал ответа Иванова.

Комдив, должно быть, понял, что командир полка промолчит.

— Разбить самолет, нарушить НПП, где черным по белому написано: посадку на «живот» производить на пахоту вдоль борозд, а не на твердое поле, — и после этого заявлять мне о знании НПП!

— Товарищ генерал, когда это случилось, он летел на малой высоте, и там не было...

— Матвеев, я все знаю.

Начальник штаба развел руками, как бы утверждая этим жестом: знаете, так зачем об этом говорить, но все же добавил:

— У него другого выхода не было, инспектор подтвердит.

— Товарищ генерал, — решил высказаться Чупаков, — майору Матвееву хорошо известно, что в инструкциях обобщен опыт сотен людей. Многие параграфы в них написаны кровью, и тех, кто их нарушает, — он посмотрел на нас, — следует наказывать.

— Матвеев также знает, товарищ старший политрук, что это НПП писалось, когда мы начали летать

на «И-5» и «Р-5», — метнув исподлобья сердитый взгляд, заметил командир полка.

— Довольно! За нарушение НПП и поломку самолета Речкалова арестовать на семь суток. — Он посмотрел на Комарова: — А тебе за то, что не мог ему указать пахоту, — трое суток ареста. Вы свободны.

— Благодарю Аллаха, легко отделался, — сверкая зубами, смеялся Паскеев, когда мы в подробностях передавали ребятам только что состоявшийся разговор. — Вон Столяров один десять суток отхватил, а за что? Окурки валялись у КП.

— Чего ты на меня тычешь! — недовольно огрызнулся стройный, пышноволосый младший лейтенант. — За себя лучше скажи.

— Я и не скрываю своих пять суток.

— За какие ж это грехи, Тима?

— Опять его телосложение подвело, — фыркнул Шульга, — голову-то в кабину всунул, а ноги наружу торчали.

Под общий смех Паскеев рассказал, как он не обратил внимания на подходившего генерала, а, заметив его, растерялся. Вместо того чтобы отрапортовать, вскочил на плоскость и нагнулся в кабину, — в общем, сделал вид, будто занят чем-то серьезным.

— Слышу, меня по ногам стучат, — довольный, что вокруг все гогочут, продолжал Тима. — Хотел было матюгнуться, — работать, мол, не дают, черти, — соскочил на землю, а командир дивизии вежливо так говорит мне: «Чтоб не прятался больше по кабинам от генерала, доложи своему командиру: арестовал я тебя на трое суток». — «Есть доложить командиру», — я повернулся, хочу уйти. «Постой, — говорит он ласково, — за то, что не умеешь от генерала отходить, еще двое суток даю»...

В тот день мои несчастья не закончились. В тече-

ние четырех часов я сидел у особиста, так мы звали уполномоченного особого отдела, и старательно писал объяснение. Один вопрос поставил меня в тупик:

— Куда вы дели слитый из мотора отстой масла?

— Я его и в руки не брал.

— Но вы же ехали всю дорогу в кабине шофера?

— Да.

— И банка стояла там же?

— Нет, банки я не видел.

Тут старший лейтенант прочитал вслух выдержку из объяснения инженера полка; Шолохович показывал, что сам лично ставил банку с отстоем масла в кабину шофера.

— Теперь-то, надеюсь, вы не станете отрицать, что банки в кабине не было?

— Повторяю вам, я ничего не видел, — уже менее уверенно забормотал я. — Может быть, шофер знает?

— Кто дозаправлял самолет маслом перед вылетом?

— Я. Ну и что же из этого? Все летчики помогают техникам.

— Вы лучше отвечайте за себя и свои действия, а не за всех.

Так, словно на свежих дрожжах,росло подозрение.

Я не буду приводить всех деталей этого допроса под расписку. Многие действительно оставались неясным. Банку с отстоем масла инженер полка, как выяснилось, в кабину ставил — это подтвердил водитель. Я же ее там не видел, хотя, правду сказать, и не присматривался. Потерять ее, тем более по дороге, мы не могли. Все же, когда на аэродроме начальник ГСМ попросил у инженера эту банку, ее нигде не оказалось.

Излишне говорить, какое тяжелое подозрение падало на меня из-за стечения случайных фактов.

По-видимому, лишь бесспорная истина, что ни один летчик не стал бы играть в «кошки-мышки» со своей жизнью, да неоднократные и до этого случаи обрыва шатунов в полку не привели к трудно поправимым крайностям. Но подозрение!.. Такой груз способен раздавить человека.

К сожалению, на этом дело не закончилось. Как говорят в народе: «Беда беду родит — третья сама бежит и бедой погоняет».

Обрыв шатуна в воздухе — большая беда, предвестник пожара. Она привела с собой и вторую — семь суток ареста ни за что ни про что. Третья сама прибежала — необоснованное подозрение. И как венец всему, в тот же вечер ко мне подошел наш простяга-доктор:

— Знаешь, ваша эскадрилья на днях перелетает в лагеря, будет переучиваться на «МиГах». Но тебе нельзя.

— Почему, товарищ военврач третьего ранга?!

— Ты должен пройти медкомиссию в Одессе. Приказ.

Сколько времени «висело» на мне это страшное подозрение — трудно сказать, но, по всей вероятности, до самого начала войны. Я не понимал, что тогда судьбу человека нередко в мгновение ока решала пустая случайность. Не понимал, почему наше человеческое достоинство порой не ставилось ни во что. А ведь это краеугольный камень во взаимоотношениях между людьми. Есть только одна подлинная ценность в жизни — уважение человека. А величие общего дела должно только объединять людей.

Трудно определить, где проходит граница между детством, юностью и зрелостью. Но если это связано с каким-либо событием, то я могу уверенно сказать: в те дни мне пришлось распрощаться с юностью.

* * *

Больше всех веселились за столом Петя Грачев и наш сосед по квартире танкист Иван Дрыгайло — высоченный парень с крупным горбатым носом. Вино и веселая музыка поднимали настроение, но усталость и события дня сказывались. Борис Комаров задумчиво смотрел в раскрытое окно на плывущие пушинки тополей. Постоянный запевала Тима Ротанов притих и о чем-то неслышно переговаривался с женой.

— Ах, черт возьми, не успел вчера деньги получить! — с досадой воскликнул Дрыгайло. — Отпускной-то уже в кармане лежит.

Его черные с изломом брови подскочили кверху:

— Глядишь, махнули бы сегодня с тобой в Одессу.

Грачев наполнил опустевшие рюмки:

— Ничего, брат, не горюй, завтра поедешь.

— А вы договоритесь в Одессе встретиться, — посоветовал Ротанов.

— Подождите, подождите, — перебил Петя, — еще по одной?

— За что? — Комаров начал загибать пальцы: — За упокой пили, за здоровье и благополучное возвращение хозяина пили, за хозяйку пили...

Грачев почесал затылок, хитровато взглянул на танкиста:

— За отпуск Ивана Дрыгайло, а?

— Ишь, хитрюга какой, уже на завтра зарится. Ну что ж, давай! — отозвался тот.

Смеркалось. Одурманивающий запах цветов струился в раскрытое окно. Я взглянул на часы. Жена перехватила мой взгляд.

— Мне пора... на вокзал.

Фиса пригорюнилась.

— В дорогу тебе все собрано, — ласково сообщила она. Помолчала и обвела взглядом сидящих за столом, тихо спросила: — Знаешь, чего мне больше всего хотелось бы сегодня?

— Чего же, мамка?

— Чтобы у этого дня никогда не было вечера. Понимаешь — день без вечера...

— Как ты сказала? День без вечера?

— Да. И ты бы никуда не уехал.

— Очень здорово!

Я встал.

— Дорогие друзья, предлагаю выпить последнюю рюмочку за только что сказанное: за день, у которого не будет вечера и, значит, разлук, всегда только одни встречи, радостные встречи любимых, родных, друзей...

Все выпили, зашумели, задвигались.

...Под окном зацокали лошадиные подковы. Я подошел к детской кроватке. Сынишка сладко спал, растянувшись поперек матрасика, изредка причмокивая губами. Я наклонился ниже, пытаюсь уловить нежное дыхание. Валерик повернулся ко мне личиком, глубоко вздохнул. Я осторожно поцеловал бархатный лобик и быстро вышел из комнаты.

Провожали меня на двух извозчиках. На вокзале вся компания без конца сыпала шутками, громко смеялась — создавала на дорогу веселое настроение.

Последние торопливые наставления, просьбы: что-то купить, о чем-то узнать. Иван Дрыгаило настойчиво напоминал, что я должен встретить его в Одессе в пятницу.

Сдвинулась с места лоточница, поплыло назад объявление на стене. Поезд тронулся. Фиса бежала рядом с вагоном. У самого конца перрона она оста-

новилась, в последний раз взмахнула рукой. Долго еще на перроне маячила стройная фигура жены. Мог ли я тогда предположить, что вижу ее в последний раз...

Вагон полупустой. Настроение неважное. Я забрался на верхнюю полку, положил под голову чемодан, попытался уснуть, но сон не шел. В мозгу вертелись события прошедшего дня.

Вспомнилось, как утром я подошел к месту сбора, откуда машина увозила нас обычно на аэродром. Здесь неожиданно встретил Грачева, Ротанова и других ребят — все они, оказалось, приехали сюда из лагерей еще в пятницу вечером хоронить младшего лейтенанта Ханина.

— Что же вы, черти, ко мне не зашли?

— А мы думали, ты в казарме, — сказал Грачев и засмеялся: — Срок отбываешь.

— Некогда было, ребята. Ни одного дня еще не отсидел. На ученья в Одессу летал, только появился.

— Ну и как? — поинтересовался Суров. — Интересно?

— Истребителей было! Куда ни глянь — всюду «ишаки» да «Чайки».

Я рассказал, как мы летали над морем, прикрывали корабли.

— Ну, а вы там, в лагерях, как живете?

Оказывается, за этот короткий срок все уже успели вылететь на «МиГах» и теперь заканчивают пилотаж в зоне, отрабатывают групповую слетанность.

— На днях переходим к одиночным воздушным боям, может быть, даже по наземным целям постреляем, — похвалился Комаров.

Я смотрел на загорелые, обветренные лица ребят и втайне завидовал им.

— По уровню летной подготовки как-никак первую эскадрилью догнали, — заметил Грачев.

— У Хархалупа не отстанешь, жмет на всю «железку» наш Семен, — подтвердил Борис, — того и гляди первую обставим.

— Когда к нам приедешь?

— Сегодня вечером, Петя, уезжаю в Одессу. На комиссию. А оттуда — к вам, в лагерь.

— Давай, давай, приезжай скорее, а то висит твое «аварийное» дело неразобранное, меня и так уж терзали, почему тянем.

— Не уйдет от тебя мое дело. Я другого боюсь. Помнишь, в школе — с глазами?

— Ты же проходил после школы комиссию?

— Проходить-то проходил, да вот шпаргалки потерял.

— Ерунда, — успокоил Борис. — Нужно будет — еще раз в Москву съездишь. Расскажи лучше, как Ханнин погиб.

— Не знаю, ребята. Говорят — разбился, а причина неизвестна. Командир полка туда летал. Молчит.

— Жаль его, правильный был мужик, — тяжело вздохнул Тима Ротанов.

На похороны мы ехали в ясное летнее утро. Под щедрым солнцем и животворными дождями туго налился колос, дружно уродилась сочно-зеленая кукуруза, свесили свои шляпы стройные подсолнухи. В садах созревали яблоки и абрикосы. Кругом — мирная счастливая жизнь.

Летчики, техники, младшие специалисты собрались перед казармой. Все стояли задумчивые, молчаливые, тихо переговариваются. На лицах печаль.

— Смотри-ка, и Кондратюк здесь! — оживился вдруг Ротанов, указывая на высокого ссутулившегося летчика.

— А как же, Иван Ханин его друг еще по школе, — сказал Паскеев и окликнул: — Кондратюк!

Тот неохотно подошел, поздоровался. Нос на его продолговатом лице еще больше заострился, горбинка на нем обгорела и шелушилась.

— Ты один приехал?

— Нет, мы целой ватагой, а из полка — только трое.

— Все на похороны? — поинтересовался кто-то.

— На похороны — я один.

— А эти ребята откуда? — Грачев кивнул на летчиков, стоящих в сторонке.

— Приехали за нашими «Чайками». Примут их и перегонят к себе в полк.

— Ребята, слышите? За «Чайками» приехали, — обрадовался Шульга.

На крыльце казармы показался комиссар полка Чупаков. К нему подошел капитан Солнцев. Все притихли, старались уловить, о чем разговор.

— Ну, как там? — Чупаков указал на дверь.

— Заканчиваем, товарищ батальонный комиссар. Гроб установили, жены командиров венки мастерят.

Кондратюк взглянул на часы и, думая о чем-то своем, медленно проговорил:

— Когда смерть тиха, естественна, она меньше ранит. — Он страдальчески взглянул на казарму, на нас. — Но когда вот так... Вчера еще хлопал нас по плечу — понимаете... Не хочется верить...

Мы отошли в тень казармы. Разговор не клеился, перескакивал с одного на другое. Петька Грачев убежал зачем-то в штаб полка и сунул мне свернутые в трубку газеты. Я развернул первую попавшуюся. Вчерашняя «Правда».

— Не читал? — Комаров ткнул пальцем в сообщение ТАСС.

Я быстро пробежал его глазами.

«...В иностранной печати стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. По этим слухам: 1. Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального характера... 2. СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия будто бы стала сосредоточивать свои войска у границ СССР. 3. Советский Союз будто бы, в свою очередь, стал усиленно готовиться к войне с Германией...»

— Вслух читай, — попросил кто-то.

— «...Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов ответственные круги в Москве все же сочли необходимым уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи состряпаны с целью поссорить СССР и Германию»... — прочитал я громко.

— А что, ребята, если немцы и на самом деле стягивают войска к нашим границам? — неуверенно спросил Хмельницкий. — Местные в городе говорят...

— А ты слушай дальше: «...По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а переброска германских войск, освободившихся на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами...».

— Ясно тебе? — Паскеев ткнул Хмельницкого в бок. — А то «если бы да кабы»! Пусть только сунутся!

В это время сообщили, что доступ к гробу Ханина открыт.

После солнечного света в коридоре сразу наступила мрачная темнота. В красный уголок длинной чередой потянулись летчики, техники, призывники запаса. Люди, замедляя шаг, молча обходили постамент, на котором стоял заколоченный гроб. В нос ударил терпкий аромат хвои. Замер почетный кара-

ул. Мы в последний раз вглядывались в лицо погибшего товарища. Он смотрел на нас с портрета. Доброе, мужественное русское лицо. Всего несколько дней назад эти глаза радовались синему небу, цветам, деревьям, а светлые волосы непокорными прядями спадали на крутой лоб под порывами весеннего ветра. И вдруг — бац! Такая нелепая смерть...

Рядом с постаментом в горестном молчании сторбились на скамейке двое стариков — отец и мать Ханина. По щекам их беспрерывно текли слезы. Лица окаменели в мучительном страдании. Не ведали они еще тогда, что их сын погиб героем, став первой жертвой вероломного фашизма.

Новость эту принес Грачев. Комиссар полка как раз произносил над могилой последние прощальные слова. И в этот момент Петька, протиснувшись к Ротанову, что-то зашептал ему на ухо.

— Не может быть! — изумился Тима.

— Вот те крест, сам слышал!

— Что случилось? — спросил я тихо.

— Петька уверяет, что Ивана сбили в воздухе фашистские летчики.

— Ты что, уже хватанул с горя?

— Пшел к чертям, не веришь?! — возмутился Грачев. — Так вот... — И он передал нам случайно подслушанный разговор инженера полка с командиром. — Они летали на место катастрофы. В теле летчика и в крыльях самолета были следы пуль.

— И самих их немцы чуть не сбили — пять пробоин в «У-2», сам сосчитал, не верите? Вон, стоит около «ТБ-3».

Да, теперь все становилось понятным. Немцы, фашисты...

Поезд остановился на большой станции. Ярко освещенная платформа выступала из тьмы, как оазис

в пустыне. Народу было немного, в основном военные.

— Что за станция? — спросил я нашего проводника, пожилого усача, прогуливавшегося по платформе с фонарем в руке.

— Унгены, — сонным голосом ответил тот.

Унгены! Граница СССР и боярской Румынии. Где-то здесь упал самолет Ханина. Я посмотрел в темноту, и она показалась мне теперь зловещей и страшной. В ней будто притаилась смерть, та смерть, что унесла Ханина, и казалось странным, почему так спокойно рассказывают здесь военные.

Короткий сигнал, лязг буферов — и вновь темнота, страшная, непроглядная. Оттуда пришла черная смерть. Там, за рубежом Родины, бушевала война, ее смрадное дыхание становилось все горячее, оно уже коснулось нас. Колеса противно поскрипывали на поворотах, поезд все дальше уносил меня из ночной тьмы к востоку, туда, где смутно угадывалась темная полоска зари. Сон не приходил.

Многое заставляло размышлять о действительном положении вещей. Зачем, спрашивается, нужно было в то время придерживаться тактики созерцания и политики благожелательности по отношению к врагу? Фашисты про себя посмеивались, наблюдая нашу «добропорядочность». Но разве с кем-нибудь можно было поговорить об этом? Приходилось только молча удивляться. И вот он результат. Жил человек, работал, мечтал, любил... Какая нелепая смерть...

* * *

Мои опасения были не напрасны. Окружная военно-врачебная комиссия меня забракела. И теперь, направляясь обратно в полк, я раздумывал о своей дальнейшей судьбе.

Под гулками сводами воинского зала было прохладно. Большие задрапированные окна не пропускали городскую жару и создавали приятный, освежающий полумрак.

«Четыре года я жил только авиацией. Сколько с ней связано надежд! Отказаться от них — значит отказаться от всего», — раздумывал я, прохаживаясь взад и вперед и разглядывая развешанные на стенах зала огромные картины, отображающие, главным образом, революционное прошлое города. Расстрел рабочих на Потемкинской лестнице в 1905 году, в дымке горизонта силуэт броненосца — это его встречали рабочие, а царские жандармы безжалостно расстреливали толпу. На другой картине был изображен молодой Горький грузчиком в порту.

Проходя мимо высокого зеркала, я невольно замедлил шаг и заглянул в него. Стройный круглолицый парень в зеленой гимнастерке кисло улыбнулся мне.

«Никакой солидности, — подумал я, — рыжий чуб и тот покорить не можешь, а еще летчик». При этой мысли курносое лицо в зеркале искривилось, как от зубной боли. «Был летчик, а теперь кем будешь? Еще неизвестно!» Со злости я засунул непокорный чуб под фуражку.

— Любуешься? Хорош, дюже хорош, — раздался за спиной знакомый бас.

— А ты все орешь, не можешь свой голосок поприглушить? — смутился я.

— Виноват, буду говорить шепотом, — съязвил Иван Дрыгаило. Он приехал вчера из Бельц, и мы с ним договорились здесь встретиться.

— Когда твой поезд отходит? — спросил он уже серьезно, вытирая платком потное лицо.

— Через полчаса.

— Может, зайдем? — Он указал взглядом на ресторанный дверь. — Пропустим на дорожку по маленькой.

— Ты ведь знаешь, я не пью.

— А пивца по кружечке? Жарища-то какая!

— И пиво не пью.

— Ну, тогда подожди, — решился Дрыгайло. — Я мигом.

Где-то в конце перрона посапывал паровоз. У поезда царила обычная вокзальная суэта: толпились с вещами люди, бегали проворные носильщики, проводники просили провожающих освободить вагоны. Все спешили поскорее вырваться из душного города. Перрон глухо рокотал. Смех, шутки, напутствия слышались со всех сторон. Одиноких не было — проводники, и те стояли парами и равнодушно разглядывали публику. Радио то и дело сообщало о пригородных и пассажирских поездах. Неподалеку от меня две девушки-веселушки, обнявшись, над чем-то беспрестанно смеялись. Уж не надо мной ли?

Наконец из ресторана выплыл раскрасневшийся Иван.

— Как, отлегло?

— Дюже гарно, — Иван погладил себя по животу. Ну, где твой вагон? Пошли искать...

В купе было пусто. Я занял нижнюю полку. Дрыгайло присел напротив.

— Так бы вдвоем и ехать, — заметил я.

— Да, скучновато тебе будет.

— Тут, брат, не до скуки. Чем еще вся эта история кончится...

— Ерунда. Отсидишь семь суток — и точка. Потом в Москву подашься: пересмотрят решение.

— Твоими бы устами да мед пить.

— Моими — и горилку можно. Эх, явлюсь я зав-

тра к батьке, попробую, — размечтался он. — Як стеклышко! Голубым огнем пышет. Ну, что пригорюнился? Дывись, какой ты богатырь! Такого в Москве не спишут. Впрочем, не будем загадывать. Я вот в Кишиневе вашего Ивачева встретил. Чернее тучи. На парткомиссии был. Исключили. Так что все может быть.

— Жаль. Хороший человек.

Наш паровоз пронзительно загудел. И сразу же послышались требовательные голоса проводников:

— Провожающие, освободите вагоны.

— Ну, бывай!

Мы обнялись, и Иван торопливо пошел к выходу. Я вышел вслед за ним в тамбур.

— Не падай духом, — крикнул он с перрона. — Все будет хорошо!

— Будь здоров, Иван! Привет старикам!

Скрипнули тормоза, буфера вяло звякнули, поезд тронулся.

— Прошу в вагон, товарищ военный, — строго сказала проводница.

Я перешел на другую сторону тамбура, прильнул к стеклу. Мимо проплыло розовое вокзальное здание, несколько быстрее промелькнули садик и водокачка, а потом стремительно начала разматываться зеленая лента придорожных тополей и акаций.

В коридоре послышались голоса.

— Во второе купе, пожалуйста, — говорила кому-то проводница.

«Ко мне подсаживают, — подумал я. — Что ж. Подожду в тамбуре, пока все не утрясется».

Полотно дороги круто повернуло влево. Сразу же за поворотом я увидел солнечную зеленую равнину — школьный аэродром. За ним смутно угадывались очертания большого города. Надвигалась гро-

за, и хоть солнце светило еще ярко, приближение ее уже чувствовалось по синим прожилкам на горизонте.

С грохотом отворилась дверь. В тамбур вышел майор-артиллерист. На его новенькой гимнастерке, перехваченной портупеей, рубиновым светом сиял орден.

— Ага, вот где авиация из второго купе скрывается! — обрадовался он. — А я-то гадал, куда вы подевались. Далеко едете?

— Не очень, товарищ майор. Часа три.

— Ну что ж, как раз и познакомиться успеем. — Он протянул мне сильную горячую руку. — Зовут Степаном, по отцу — Степанов, и фамилия тоже Степанов — от деда досталась.

Я назвал себя.

— Между прочим, — заметил майор, — фамилия-то моя авиационная. Не обратили внимания? Самолет «ССС» знаете? Скорострельный, скоростной, скороподъемный. Степан — Степанович — Степанов...

— Знаю. Самолет этот устарел.

— Почему же? Был я нынешней весной на Дальнем Востоке — полно их там. Да и здесь можно найти. Правда, теперь к вам «Су-2» поступают. Но они, говорят, не лучше. Будь я большим начальником, отправил бы их на свалку... Верно?

По тому, как майор знакомился, как уверенно разговаривал, чувствовалось — человек он знающий, независимый и прямой. Оказалось, что он бывалый солдат: служил на Дальнем Востоке, потом на Кавказе, там не сработался с начальником штаба дивизии и вот теперь ехал командиром артдивизиона на Западную Украину. Успел майор понюхать порошу в боях — воевал в Монголии и Финляндии — и уверял даже, что на войне было легче, чем сейчас: там по-

лучил задание — и вперед, выполнил — получай новое. Изловчился — победил, сплеховал — не жалуйся. Словом, кругом все ясно. Майор засмеялся:

— Если бы только не убивали.

Я недоуменно пожал плечами.

— Что? Считаете, лучше заниматься шагистикой? Тянуться да начальству угождать? Я на учении артиллерию в боевые порядки разворачиваю, а мне приказывают мимо КП дефилировать. Видите ли, по плану требуется слаженность показать...

Рассуждения эти показались мне довольно смелыми. До сих пор я имел смутное представление о тактике наземных войск и потому сейчас с интересом слушал бывалого артиллериста. От души смеялся, когда он рассказывал о том, как однажды их батареи, неожиданно появившись прямо из боевых порядков, открыли огонь, чем до смерти перепугали весь командный пункт.

В купе майор раскрыл небольшой, но увесистый чемодан — в нем, по его словам, вместе с закуской уместились все пожитки — и очень обиделся, когда я наотрез отказался пить. Орден его не давал мне покоя. Наконец я не утерпел:

— Скажите, товарищ майор, за что вы получили Красную Звезду?

— За финскую. Испытал там новинку: на свой страх и риск поставил легкие пушки в боевые порядки наступающих войск. И получилось вроде неплохо, хоть уставом и не предусматривалось.

И он рассказал, как его орудия, действуя вместе с пехотой, прямыми попаданиями подавили три дота.

Человек с орденом в ту пору был в большом почете. Даже в парикмахерских висели таблички о привилегиях орденоносцам. Чего греха таить, не я один завидовал героям. Завидовал и мечтал о подвигах.

Не далее как вчера я, военный летчик, вместе с толпой мальчишек несолидно бежал по городу вслед за Героем Советского Союза майором Герасимовым. Хотелось, чтобы он обратил на меня внимание. Я гордился тем, что имел к нему какое-то отношение. В прошлом году при посадке Герасимов врезался в мою «Чайку», и я помогал ему выбираться из-под обломков. Он-то, конечно, меня не помнил.

Завязался живой разговор, и Степан Степанович скоро догадался, что владело моей душой.

— Что ж, мечта о подвиге — красивая мечта. Но подвиг — это и смелость, и большой напряженный труд. Уметь слушаться разума, подавлять необузданность. Да и сами подвиги бывают разные: тихие, громкие. Бывает, человек всю жизнь незаметно трудится: душа его горит сильно и ровно, и пламень этот не остывает. Ничто не может пошатнуть его убеждений, взглядов, которые подкрепляются делами, новыми поисками. Есть подвиг — порыв. Он, как молния, постепенно накапливается, а потом ослепит все и грохотом пронесется над землей: из человека в какие-то часы, даже минуты, выплескивается огромный душевный заряд.

Степан Степанович вытащил портсигар, закурил. Поезд мчался на запад. Ночная темнота подступала все ближе. Мимо окон, словно длинные очереди трасирующих пуль, проносились паровозные искры.

— Святое дело — подвиг... — вновь задумчиво заговорил Степан Степанович; видимо, что-то его волновало. — Люди подвиг высоко ценят. Героев народ украшает орденами, гордится ими. За подвигом приходит слава... Иной же стремится только к славе, и тогда нет места подвигу.

— Я что-то вас, Степан Степанович, не понимаю.

Если человек мечтает о славе, значит, он готовится к подвигу.

— Не всегда, дорогой. Есть люди, которые ничем не брезгуют ради славы. Знал я одного человека, когда-то даже другом его считал. Вроде и воевал неплохо, и уважали его, а захотел большой славы и стал на нечестный путь.

— Что же он сделал?

— Про снайперов слышал? Это вроде ваших асов. Они, как правило, размещаются в общих боевых порядках. Так вот, друг мой этим воспользовался и как-то приписал себе убитых врагов больше, чем полагалось. Его похвалили, поставили другим в пример. Тут голова от славы пошла у него кругом: начал парень зазнаваться, бахвалиться тем, чего никогда в жизни не делал. Ему-то невдомек, что кое-кто знал об этих махинациях.

— Это с ним вы не сработались?

— Нет, с этим мы когда-то в одном полку служили. А не сработался я с другим. Он воевал в Испании, вернулся оттуда с наградами, в полковничьем чине. И стал я ему, как лапоть сапогу, не пара.

— Удивляюсь, Степан Степанович, откуда это у нас? Кастовых предрассудков нет, а поднимется такой человек на одну-две ступеньки — и возомнит о себе.

— Две ступеньки — еще ничего. А если выше? К такому не подступись! Каменным забором отгородится. Даром слова не скажет. Прописные истины начнет за собственную мудрость выдавать. — Майор сердито посмотрел на меня. — Откуда это берется? Поживешь — узнаешь.

Неловкое молчание воцарилось в купе. Первый раз в жизни со мной говорили так откровенно. Сперва я подумал, что мой спутник — просто не-

удачник. Но открытое, доброе лицо Степана Степановича, умные его глаза со сбегаящимися к ним ниточками морщинок — свидетельниц нелегкой жизни — решительно отвергали это.

Словно прочитав мои мысли, майор широко улыбнулся и, как бы оправдываясь, сказал:

— Это я разговор припомнил с одним начальником, после учений. Вернее, не разговор. Говорил он... И вот теперь только меня взорвало. А вообще-то... давайте лучше посмотрим, что пишут в газетах. А то в городской суматохе некогда было почитать.

Он достал целый ворох газет. Я развернул «Красную Звезду» и сразу же впился в четвертую полосу. Новый рекорд Леонида Мешкова... Война в Сирии... Над Европой идут воздушные бои... Активность немецкой авиации над Англией резко спала... Я хотел поделиться этой новостью с майором, но он опередил меня.

— Вы — авиатор! Как считаете, почему немцы перестали бомбить Англию? Вот уже который день затишье...

— Наверное, у них большие потери.

— А не кажется ли вам, что здесь что-то другое? Не забывайте, в руках гитлеровцев вся промышленность Европы. Им сотня-другая самолетов — тьфу! Нет, тут пахивает новой авантюрой,

— Может быть, — согласился я. — Немцы могут форсировать Ла-Манш и высадиться в Англии. Наверное, готовятся.

— Возможно, возможно...

Майор встал и несколько раз энергично взмахнул руками, как бы стряхивая с себя раздумья:

— Давайте-ка лучше поспим, утро вечера мудренее. Будете сходить — разбудите.

Он принялся раскладывать постель, а я вышел в

коридор и стал изучать расписание. До моей станции было еще добрых часа полтора. Я решил последовать примеру майора и прилег.

В Чубовку, маленькую станцию с единственным огоньком на перроне, мы прибыли поздней ночью. Майор спал сном праведника, и тревожить его мне не хотелось. Стараясь не шуметь, я быстро собрал свои пожитки и тихонько прикрыл за собой дверь.

Кроме меня, никто больше не сошел.

Поезд ушел в непроглядную мглу. Я остался на перроне один. Что делать? Куда пойти? Поразмыслив, решил дождаться утра. В пристанционном садике облюбовал скамейку, положил под голову чемоданчик и через несколько минут уже спал крепким сном.

И ГРЯНУЛ БОЙ...

Я проснулся от какого-то неприятного сновидения и не сразу понял, где нахожусь. На яблоневетке над самым лицом раскачивалась маленькая пичужка. Было раннее утро, теплое и тихое. Небо уже посветлело, и утренняя заря, — красоту ее, возможно, и воспевала пичужка, — отсвечивала в оконных стеклах маленького одноэтажного здания. Я вскочил со скамейки, осмотрелся. Вспугнутая певунья оборвала свою трель, вспорхнула и исчезла в кустарнике. Слух уловил чье-то сочное похрапывание. Тут я все вспомнил. Подошел к окну, заглянул в помещение. На деревянном диване беззаботно раскинулся дежурный. Часы-ходики на стене отстукивали четверть пятого. Я прикинул, как мне быть: до аэродрома двадцать пять километров, если идти пешком, можно часам к одиннадцати не спеша добраться до места. Попадется у бензозаправки попутная машина — тогда еще раньше.

Я перебрался через пути и направился к бензоскладу. Обыкновенный самолетный ящик служил одновременно караулкой, жильем и канцелярией. Обитатели его еще крепко спали. Полусонный часовой за колючей проволокой сообщил мне, что за вчерашний день был только один бензозаправщик, да

и тот торопился к воскресенью вернуться домой. Я мало огорчился этим: двадцать пять километров — не расстояние для молодых, крепких ног, тем более утром, до жары.

Солнце, огромное, оранжево-золотое, уже поднялось над горизонтом и начало отмеривать самый длинный свой путь в году. К этому времени я уже отшагал половину расстояния.

Пыльная, изъезженная дорога петляла мимо зеленых полей. Балки и низины изрыли степь глубокими морщинами. На необозримом пространстве, насколько хватало глаз, шевелились пшеничные колосья, шелестела кукуруза, пестрели шапки подсолнухов. Вообще степные места я не люблю. Моя родина — Урал — вся в лесах. Перелески, деревни, речушки — мне дорог этот пейзаж. А тут идешь, идешь — и глазу не на чем задержаться.

Но утром в степи хорошо. Вся она переливается прозрачными красками. Суслики, как часовые, стоят у своих норок; заметив подозрительное существо, один из них тревожно свистит — и все, как по команде, мгновенно исчезают.

Две подводы выскочили из небольшой балки и запылили по большаку. Первая была битком набита шумными, веселыми девушками. На второй сидели только двое. Я немедленно оказался под обстрелом любопытных девичьих глаз.

— Катюша, подвези летчика, — услышал я звонкий голос.

— Он тебя на самолете покатает, — под общий смех подхватила другая.

Вторая подвода неожиданно остановилась, и мягкий грудной голос произнес:

— Сидайте.

Раздумывать было некогда. Я взобрался на свежее душистое сено и поздоровался.

— Катя, а Катя, — не унимался звонкий певучий голос, — угости летчика кваском. Небось пить хочет...

Только теперь я рассмотрел «кучера». Это и была та самая Катя, к которой приставали девчата. Она повернулась к подруге, передала ей вожжи и нацедила мне полную кружку пенистого квасу. Я наклонился к ней взять кружку — и оробел. Господи! Какую же красоту может сотворить природа! Огромные серые глазищи были окаймлены густыми ресницами — не глаза, а очи; таких глаз не нарисуешь и не опишешь. На загорелом лице, с яркими, по-детски припухшими губами, они искрились прозрачными степными родничками, сверкали и переливались, смотрели на мир откровенно и доверчиво. Удивительные глаза! Да и вся она была какая-то особенная. Мне почему-то казалось, что я уже давно знаю эту дивчину. Утреннее солнце золотило тяжелую копну темно-русых волос, от легкого ветерка платье то раздувалось, то плотно облегалo статную, крепкую фигуру.

Я вообще не привык заводить знакомства с девушками, да еще с такими красавицами; и теперь язык у меня словно отнялся, я не сразу нашелся, чтобы поблагодарить за квас. А тут еще Катина подружка ни на минуту не оставляла меня в покое. Лукаво поблескивая хитрыми глазами, она так и сыпала новостями.

Я узнал, что все они девятиклассницы, едут на сенокос.

Маша — так звали Катину подружку — взмахнула вожжами и как бы между прочим заметила, что сегодня у них в клубе вечер, а Катюша неплохо танцует. Я был приятно удивлен: оказывается, многие наши летчики часто похаживали к ним на танцы за шестнадцать километров.

У мосточка через ручеек подвода остановилась. Маша спрыгнула, зачерпнула бадейку воды и стала поить лошадь. Мы сидели с Катей на облучке и стеснительно молчали.

— Ну, нам направо, — объявила Маша и уселась на свое место.

— До побачення, — просто сказала Катя. — Вам прямо. Вон, видите хутор? Диканька. От нее до аэродрома десять километров. А мы туда, — она указала на низину, куда уже свернула первая подвода.

Я пожал Катину руку, мне почему-то казалось, что мы обязательно встретимся.

— А может, поможете нам копнуть? — заметив мое замешательство, озорно спросила Маша.

Будь это в другое время, я бы и раздумывать не стал — помчался на сенокос с этими славными девчатами. Но сейчас... Я прощально махнул рукой. Подводы запыхали. Из низины донеслась звонкая девичья песня.

На душе было светло. Случайная встреча до краев наполнила меня бодростью, от прежней грусти не осталось и следа. Еще вчера медицинская комиссия признала меня негодным к летной службе. Казалось, жизнь кончена. Но не зря, видно, говорят, что молодость — девичья память: только до порога, переступила — все забыла. Прошел один только день, и я уже бодро шагаю по степи, подсвистываю жаворонку, а в ушах звенит: «До побачення». Будущее уже не страшит. Я представляю себе, как возвращаюсь из Москвы к старичку-профессору с решением центральной врачебно-летной комиссии об отмене его заключения. Или нет, лучше я приду к нему возмужалый, с орденом на груди, и гордо скажу: «Вы, профессор, считали меня случайным человеком в авиации, вы списали меня с летной службы, а я добился

своего. Я совершил не один героический подвиг, меня знает весь Советский Союз. Что вы теперь на это скажете?»

...Подвиг. Где я могу совершить его? На войне? Но войны нет. А в полку, какой может быть подвиг? Тем более что с приходом к руководству нового наркома обороны авиация теперь не в почете. Нет, уйду из полка и стану летчиком-испытателем. Там-то уж можно будет прославиться. Майор-артиллерист вчера говорил, что к подвигу нужно готовиться. А как? Хороший этот Степан Степанович! Где он теперь?

Я шел в хмельной тишине, и все время ждал чуда. Я не представлял себе, каким оно будет, но знал: что-то должно произойти.

Я свернул с тропинки и сел между бурно разросшимися вдоль межи полевыми маками. Высокая стена кукурузы заслонила крайние хатки небольшого хутора. Оттуда доносились разноголосые крики мальчишек, лай собак, скрип колодезного журавля. И вдруг я увидел чудо: прямо у меня на глазах распустился какой-то цветок. Только что я смотрел на его туго спеленатый бутон, и он вовсе не казался мне интересным. Я рассматривал его просто так, машинально, прислушиваясь к звукам хутора. А он, не стесняясь меня, начал спокойно раскрывать свои лепестки навстречу живительным лучам солнца. Сначала чуть дрогнул, а затем отстал верхний лепесток и замер, будто присматриваясь к чему-то. За ним — второй, третий... И цветок вдруг запылал, обнажив медвяную сердцевину, готовый к визиту пчел и бабочек, вершащих великое таинство.

Я смотрел на это удивительное творение природы и думал: нечто подобное бывает и с человеком; никто его не замечает, но приходит час — и открывается внезапно человеческая красота.

Где-то далеко загрохотал гром, и я невольно встревожился за цветок: налетит на него ураган, сломает тонкий стебелек, смое пыльцу — и ничего не останется от этой красоты.

Я еще немного посидел, разглядывая цветок, его нежные улыбающиеся лепестки, потом встал и быстро зашагал через выгон к хутору. Над улочкой кружились тополиные пушинки, пахло кизяком, парным молоком. У плетней переговаривались хозяйки, пощипывали траву гуси, рылись в земле насадки. На дороге висела туча пыли. В ней прыгал какой-то босоногий светловолосый мальчишка. При каждом прыжке рыжая пыль кругами растекалась по сторонам, липла на его рубашонку. Рядом, прихлопывая в ладоши, скакала такая же белоголовая девчонка, подражая озорнику. Я засмотрелся на них; в детстве мне тоже нравилось барахтаться в пыли, подбрасывать ее руками и подставлять «туче» голову. «Прыгайте, прыгайте, — мысленно сказал я им, — все равно мать отшлепает, но когда-нибудь, подобно мне, будете вспоминать это утро как самое большое в жизни счастье».

А потом началась какая-то калейдоскопическая смена событий. Внезапно из прилегающей улочки выскочила автомашина. Огромный пыльный шлейф тянулся за ней, заволакивая сады и хатки.

Мальчонка кинулся туда с радостным визгом. Я хотел было отойти в сторону, но тут увидел, как на ребенка с огромной скоростью мчится мощный бензозаправщик. Сзади раздался душераздирающий крик. Еще мгновение — и я бросился в непроницаемую стену, малыш был уже у самых колес. Машина обдала меня жаром и пылью и промчалась дальше. Я ухватил перепуганного насмерть мальчонку за рубашку. Сердце мое бешено колотилось, руки дрожали.

— Успокойся, дурачок, успокойся, — говорил я ему. Но он продолжал отчаянно брыкаться и кричать благим матом. Неподдалеку заливалась слезами сестренка.

На крик детей разъяренной наседкой выбежала из хаты женщина, схватила малыша и тут же отшлепала его, выкрикивая в сердцах:

— Ах ты, ирод проклятый! Ах ты, горе мое! У-у-у, паршивец! Сладу с тобой нет. Смотри, как весь измазался!.. А ну, идем в хату — я тебе еще наподдам, — она прижала малыша к своей могучей груди, и он неожиданно затих на ее руках. Девчушка все еще продолжала пищать. Мать посмотрела на нее и вдруг набросилась на меня:

— А вы что мальчишку хватаете? Как вам не стыдно! А еще военный!

Я пытался было объяснить ей, но она и слушать не хотела и продолжала что-то кричать. В это время на дороге, глухо рыча, показался второй бензовоз. Я метнулся к машине — выяснить фамилию хулигана-шофера, и уже на бегу услышал, как девочка объясняла всхлипывающим голосом:

— Мама, дяденька не виноват, он братика спас...

Я поднял руку. Машина резко затормозила; из горячей, пропыленной кабины высунулся такой же пропыленный, грязный шофер — одни зубы сверкали — и крикнул мне прямо в лицо:

— Война!

* * *

В это первое военное утро до аэродрома я добрался в одиннадцатом часу. Лица товарищей, которые встречались по пути к штабу, поразили меня непривычной угрюмостью.

Навстречу мне от КП шли двое. Впереди в синем комбинезоне, со шлемом за поясом, частил, словно пританцовывал, Крюков. По его круглому багровому лицу струились крупные капли пота. За ним шел с раскрытым планшетом в руках белоголовый Коля Яковлев.

— Черт знает что, с ума они там посходили, что ли? — сердито ворчал Пал Палыч. Так тепло звали в полку старшего лейтенанта Крюкова, и имя это удивительно соответствовало всему облику плотненького небольшого человека.

— Личный приказ генерала, товарищ старший лейтенант, — с горькой иронией в голосе заметил Яковлев, — ничего не попишешь.

— Да ты понимаешь, — перебил его Крюков, — я еще и летать-то на этом «МиГе» не могу как следует, а тут лети к черту на рога! Это же... — и, махнув со злостью рукой, засеменял дальше.

— Коля! — окликнул я Яковлева.

— А, здорово! Откуда? — удивился он.

— Из Одессы, дружище.

Я смотрел на нашего Яковлева и не узнавал его. Лицо Николая, всегда такое беззаботное, даже легкомысленное, было теперь необычно серьезным, каким-то внутренне отрешенным. Глаза припухли, на висках и подбородке светлый пушок. Грязный воротничок оборванная пуговица на гимнастерке...

Николай в свою очередь окинул меня цепким взглядом и с тем же выражением, с каким разговаривал с Крюковым, произнес:

— Из Одессы? Ну и как?

— Что как? — пораженный его видом, переспросил я. — Куда это вы собрались?

— Значит, из Одессы? — повторил он, думая о чем-то своем. — А чего это ты выфрантился?

— Слушай, — рассердился я, — это не дело отвечать вопросом на вопрос. Скажи лучше толком: что с тобой происходит?

— Со мной? Ничего. — Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом, кисло улыбнулся. — Вот, с Пал Палычем летим на разведку.

Яковлев попытался напустить на себя прежнюю беспечность, но даже залихватски вздернутая на затылок пилотка не могла скрыть его озабоченности и тревоги. Протянув на прощание руку, Николай неуверенной походкой побрел вслед за Крюковым, потом неожиданно обернулся и выкрикнул:

— А ты-то летать собираешься?

Вопрос его больно кольнул меня. Почему он спросил об этом? Впрочем, пока я шел до КП полка, такие вопросы мне уже задавали. Всем я коротко бросал: «Списан». Но ответы не совсем устраивали спрашивающих, больше того, вызвали даже иронию. Техники и то относились к моим словам недоверчиво и подозрительно. Я не мог понять, в чем, собственно, дело. Почему такое недоверие? Может быть, мой вид в то утро не гармонировал с обстановкой? Один только Хархалуп, узнав про мою беду, дружески подтолкнул меня по направлению к штабу, успокоил:

— Эх, была бы моя власть... А ты смелей, смелей! Ей-богу, командир все поймет и разрешит воевать.

Я взглянул на Яковлева. Он стоял в своей любимой позе: уставив руки в бока, выставив левую ногу вперед и чуть в сторону, постукивая носком сапога о землю.

Какая-то злая уверенность овладела вдруг мной, и в тон его вопросу я неожиданно выпалил:

— Нет, не собираюсь!

— Вон что! — Он слегка присвистнул. — Все ясно!

— Собираются, Коля, только в дорогу, да еще жениться. А я буду летать и воевать!

Круто повернувшись, я зашагал на КП.

— Увидим, если доведется встретиться, — послышалось вслед.

Откуда у меня взялась такая уверенность?

Я знал: мое положение почти безнадежно. Врачебная комиссия запретила летать категорически. Кто мог сейчас взять на себя смелость отменить это решение?

Говорят, чтобы набраться мужества и на что-то решиться, следует меньше думать о своем положении. Я пришел на КП. Майор Матвеев, выслушав торопливое: «Прибыл... Негоден... Прошу...», взял злополучное медицинское заключение и тут же порвал его.

— Видишь тринадцатую «Чайку»? — Он указал на закиданный ветками истребитель. — Быстренько готовь к вылету, отвезешь в Бельцы пакет.

Через полчаса я сидел в кабине самолета, вслушиваясь в привычный рокот мотора, вдыхая до боли знакомые запахи выхлопных газов и аэродромного разнотравья.

Рядом прошумели два «МиГа» — это Пал Палыч с Яковлевым отправились в разведку. Техник Ваня Путькалюк вытащил из-под колес колодки. Довольный, улыбающийся, он козырнул мне и вытянул руку в сторону взлета: «Путь свободен!»

Я в воздухе! Пусть задание мое не боевое, я лечу, и это — главное!

Истребитель послушно набирал высоту. Степь расширялась. Внизу, под крылом, мелькали созревающие хлеба, серой тонкой ниткой тянулась дорога, через зеркальный ручеек угадывался крохотный мостик. Легкий поворот влево. Вон и нескошенная низинка, две недомиетанные копнушки, а рядом — они,

мои попутчицы. Приветственно покачивая крыльями, «Чайка» низко пронесется над самыми головами. Вижу, как в ответ мне долго машут косынками.

«Наверное, ни о чем еще не знают. Оно и лучше. Война сюда вряд ли докатится».

Позади остался мутный Днестр с заросшими берегами. Промелькнул на возвышенности утопающий в зелени бессарабский городок Оргеев; от него убежал на северо-запад заболоченный Реут — мелководная речушка, служившая надежным ориентиром до самого аэродрома.

Поля и поля простирались вокруг. Золотистые, ярко-зеленые, они казались почти синими, только по другую сторону Днестра они уже не лежали огромными квадратами, а, словно пестрое лоскутное одеяло, были рассечены межами на маленькие участки.

Войны как будто и не было; она пылала на границе, где-то за синью горизонта, за чернеющим вдаль лесом, куда быстрые крылья унесли Колю Яковлева и Пал Палыча.

Впереди черной тенью кружил коршун. Второй выискивал кого-то в хлебном приволье. Но что это? Черные тени начали менять свои очертания, превращаться в силуэты вражеских истребителей! А вот и их жертва — одинокая «Чайка». Беспомощная, исклеванная, она уже не огрызается огнем своих пулеметов, а тянет в сторону деревушки, слабо увильвая от наседающего врага.

Один из немецких летчиков спокойно, как в мишень, нацеливается на свою жертву. Теперь я хорошо вижу его; мой истребитель быстро приближается к нему.

«Вот ты какой, немец! — Широко раскрытыми глазами рассматриваю живой вражеский самолет. —

Тощий-то какой и длинный! Ну и всыплю же я тебе сейчас!»

С бреющего полета «Чайка» взлетает ввысь, навстречу фашисту. В прицеле видны силуэты обрубленных крыльев, хрупкий фюзеляж, желтый нос. Пора!

Глухо зарокотали пулеметы; шустрая стайка светлячков оторвалась от «Чайки» и понеслась к врагу. Тонкохвостый «Мессершмитт» на мгновение приостановился, как бы задумался, потом энергично взмыл вверх, в сторону.

«Ага, не по нутру! — провожая врага взглядом, усмехнулся я. — Но где же второй?» Я быстро глянул туда, где он должен был появиться, потом назад — самолета не было. Первый «Мессершмитт» тем временем попытался обойти меня сзади. Я круто развернулся и в этот момент обнаружил внизу второго; не обращая внимания на мое присутствие, фашист нахально пристраивался к изнемогающей «Чайке» — он собирался добить ее. Полупереворотом я направил нос истребителя на наглеца. Он уже рядом с моей полуживой союзницей. Я попытался отпугнуть его длинными очередями. Что такое? Враг не боится или не видит моих трасс? Еще секунда-две — и будет поздно. Мой самолет от большой скорости уже трясется в мелком ознобе, мотор ревет на предельной мощности, ручку управления сильно лихорадит. Где-то справа появляется белесоватая дымка короткой очереди, предназначенной, должно быть, для меня.

«Ага, «желтоносик»! Тоже отпугиваешь? Не выйдет!»

Жму на гашетки еще раз, еще... «Мессершмитт» не выдерживает, уходит вверх.

Боевым разворотом вывожу свою «Чайку» из пи-

ке в сторону врага. Странно! Противник не принимает атаки, ускользает от меня. Дымя мотором, к нему подтягивается второй.

Где же привычная «карусель» боя, которую мы так усердно и красиво выписывали в тренировочных зонах? А может, фашисты испугались? Нет, вытянувшись в цепочку, «Мессершмитты» подбираются ко мне. Что ж, примем бой.

Первый только «клюнул» сверху и сразу же ушел от лобовой атаки. Второй попытался атаковать сзади, но атаку в лоб тоже почему-то не принял. О! первый открыл огонь! Как это он успел оказаться у меня в хвосте?

Теперь роли меняются. Я уже не стреляю, а верчусь ужом от одного врага к другому, следя, как бы они не «прищемили» мне хвост. Я будто меж двух бандитов, трусливо норовящих воткнуть нож в спину.

Огненные трассы учащаются. Мы сходимся так близко, что я отчетливо вижу напряженные лица врагов. Один из них, тщедушный «хлюпик» с маленькой головкой, едва выступающей из кабины, целится в меня особенно старательно.

Страха нет. Только слегка кружится голова. В груди — злость и азарт.

Мне приходилось до этого читать, как некоторые летчики описывают свою первую боевую «карусель»; я немало удивлялся одному обстоятельству: летчики уверяли, что в этой схватке ничего нельзя толком увидеть, действуешь почти вслепую. Возможно, у них так и было. Это тоже был мой первый бой, но здесь все оказалось по-другому. Я почему-то прекрасно видел и этого «хлюпика», что «закручивал» на меня сзади, и того «желтоносика», что дымил слева.

Неужели я его наконец разозлил? Первый фа-

шист, не сворачивая, неся прямо на меня. Я нажал на гашетки. Что за чертовщина?! К фашисту протянулась одна-единственная ниточка зеленых светлячков! Только позднее я сообразил, что остальные пулеметы молчали. Вражеский самолет стремительно сближался со мной. Дыхание перехватило. Не свернуть! С маленького самолетика он вырос до жутких размеров. Еще мгновение — и... Я лихорадочно сунулся за козырек, к приборам. Еще не веря, что лобовая атака завершилась, я некоторое время летел в напряженном ожидании столкновения, просто так. Потом рука потянулась к механизму перезарядки. Но тут что-то ударило по самолету, управление вырвало из рук, и «Чайка» закрутила «бочку». А справа на предельной скорости пронесся «хлюпик», о котором я успел на время забыть. Наглец, он еще махал мне рукой: до следующей встречи, мол. Видно, у него кончалось горючее. Он спокойно уходил у меня на глазах вслед за своим напарником. «Не уйдешь, подлец!» Я быстро развернулся — но теперь молчали все пулеметы. Обидно!.. Я с досадой проводил взглядом медленно тающий дымный след, оставленный «Мессершмиттами».

Под крылом Бельцы. Дымом затянут вокзал. Пролетаю низко-низко над крышами. Прижимаясь к стенам, люди испуганно задирают головы. Вот и мой дом. Окна распахнуты, опустели. Где же Фиса с Валериком?

Свой аэродром с воздуха не узнаю: по границам растолкано десятка два разномастных самолетов, около дороги громадина «ТБ-3». Медленно догорает бензохранилище. Всюду чернеют воронки от бомб. В одной из них хвостом кверху торчит исковерканный «МиГ». Куда садиться? Приткнулся на узкую полосу рядом с четырехмоторным «ТБ». К «Чайке»

подбежали Штакун с Германошвили. Указывая путь между огромными воронками, они проводили меня в дальний угол, где маячил с вытянутыми в сторону руками Богаткин.

— Вылазь быстрее! — укрывая самолет свежесрубленными ветками, торопил он. — Того и гляди, «Юнкерсы» припрутся, — и, осматривая рваные крылья, качал головой: — Ну и ну, где это тебя так изрешетили?

Не отвечая на его вопрос, я старался выяснить толком, что же тут произошло.

— Врасплох нас застали, вот что! — зло проговорил Богаткин. — По тревоге-то всех нас подняли, а вот аэродром с воздуха прикрыть, хоть бы звеном, никто не сообразил.

Поручив избитую «Чайку» техникам, я побежал отдавать пакет по назначению. Вид завалившейся от взрыва землянки, искромсанного, с черными язвами ожогов аэродрома, едкий запах горелого металла и резины от двух обуглившихся «МиГов» — все теперь болью и ужасом отзывалось внутри. Я то и дело оглядывался по сторонам.

Впереди, у самолета, остановилась полуторка. Из нее выскочил невысокий летчик в порьжевшем реглане. По склоненной набок голове и светлым волосам я узнал младшего лейтенанта Семенова. Крикнув что-то техникам, он с лихорадочной поспешностью стал натягивать парашют.

— Что случилось, Женька? — спросил я. — Куда ты?

— В Пырлицу. Мы там в засаде дежурили и не знали, что война. Фигичев прислал сюда. Ух, на границе страшная пальба! Земля гудит! Вот и спешу, сюда перелетать будем. Атрашкевич приказал.

— А где капитан?

— Вон, около «МиГа», — указал он в сторону речушки.

Проводив взглядом оторвавшийся от земли истребитель, я заторопился к Атрашкевичу напрямик через летное поле.

Противоречивые, спутанные мысли захлестнули меня. С одной стороны, я горел желанием испытать свои силы в настоящем бою. Манила легкость побед, знакомая по книгам, кинофильмам. Действительность, когда я столкнулся с ней воочию, оказалась совсем иной. Здесь, на аэродроме, я увидел то, чего нельзя было и предположить. Война дохнула огнем в лицо, и страх, как холодок, зябко скребся в душе. Нет! Страх уже повис над головой...

Вдруг я увидел бегущего в мою сторону человека. Он отчаянно махал руками. Потом донесся призывный крик. Я растерянно оглянулся по сторонам и с удивлением обнаружил, что людей с аэродрома словно сдуло. В звенящей тишине наплывал откуда-то непонятный гул. Я повернулся в том направлении, и... к горлу подкатил удушливый ком: из-за кучевого облачка прямо на меня выплывали звено за звеном черные силуэты бомбардировщиков, а над тем местом, где стоял четырехмоторный великан «ТБ-3», дробью рассыпались очереди двух пар длиннотелых «мессеров».

В тот момент, когда я, как от удушья, хватал воздух, земля качнулась. Я кинулся туда, где только что был человек. При каждом близком разрыве земля на мгновение уплывала из-под ног. Ощущение собственного веса утратилось; казалось, я бегу, перебирая ногами в пустоте. Меня обдало чем-то палящим, я споткнулся. Страх сжал сердце. «Смерть...» Рядом, широко разбросав руки, лежал мертвый красноармеец. Лица не видно. Затылок разворочен осколком.

Примятая трава и земля под головой в лужице крови. Позднее я узнал: это был авиамоторист Вахтеров. Но в этот момент ужас бросил меня вперед. Грохот и треск оглушали. Опять не хватало воздуха. Чьи-то сильные руки внезапно стиснули, свалили меня. Я брыкнулся и обмяк. По телу забарабанили комья земли. В горле запершило от чего-то горько-кисло-го, прелого.

— Дурья голова! Соображать надо, — слышался сердитый голос. — Убьют ведь!

В воронке, приподняв голову, лежал Атрашкевич¹ и хрипло считал:

— Семь... девять... двенадцать... — лицо и руки у него были в черноземе. — Эх, черт, заправить самолеты нечем...

Я скосил глаза в ту сторону, куда смотрел капитан, и холодная испарина выступила на лбу: пятнадцать косокрылых «Хейнкелей» заходили на повторное бомбометание. Они летели на малой высоте, и видно было, как из открытых люков пригоршнями вываливались смертоносные семена. Они сыпались прямо на нас, заглушая все шумы своим страшным свистом. И, казалось, нет от них спасения.

«Хейнкели» бросали теперь не крупные бомбы, но зато в большом количестве, норовя попасть в самолеты, в людей.

Я инстинктивно втянул голову в плечи, плотнее прижался к дну неглубокой, влажной ямы, зачем-то заткнул уши и ждал...

И снова заухала, конвульсивно вздрогнула земля. Последними, полого спикировав, еще раз про-

¹ Атрашкевич Федор Васильевич, командир эс, капитан, 1905 г.р. 29.06.41 г. сбит ЗА противника на разведке в районе Костуле-ни на «МиГ-3». К моменту гибели сбил 1 самолет противника.

строчили по «ТБ-третьему» «Мессершмитты». И, как бы любуясь работой двухмоторных собратьев-громил, «пробрили» через весь аэродром. Впрочем, любоваться было нечем: кроме убитого солдата и продырявленного бомбардировщика, «Хейнкелям» не удалось поразить больше ничего. Но аэродром они основательно поковыряли.

— Ну вот, теперь долго будешь помнить свое первое крещение под бомбежкой, — отряхиваясь от земли, улыбался Атрашкевич. — Каждому, брат, страшно. И тебе, и мне. Но голову терять нельзя. Запомни — от бомбы не бегают, — и, шагая к своему истребителю, спросил: — Ты ко мне?

Я вытащил из планшета пакет. Атрашкевич, прочитав, недовольно передернул плечами:

— Передай Матвееву, что из дивизии никакой задачи на подъем дежурных истребителей не ставилось, было приказано только рассредоточиться и ждать распоряжений. При первом налете наши ребята взлетали под бомбами и сбили четыре «Юнкерса». Одного завалил младший лейтенант Суров. Геройски дрался. Если бы не проклятый ас. Мы за смерть Саши этого капитана прямо над аэродромом спустили на парашюте. От бомб сторело три «МиГа». Бензин еще не прибыл. Для взлета и посадки пригодная полоска есть, а остальное, — он указал на вновь оживший аэродром, — за ночь подлатают.

Не успел я подивиться на вылезавших из воронок людей, как они тут же исчезли: со стороны города на аэродром спикировали истребители.

— Стой, куда ты! Это же свои, Фигичев из Пырлицы, — и, посмеиваясь над моей прытью, Атрашкевич дружелюбно заметил: — Ну и трусишка же ты, однако. Впрочем, к этому не сразу привыкнешь. Но надо. Иначе смерть.

Вскоре я был среди товарищей. От них узнал о первых часах войны и смерти Саши Сурова. Моя «Чайка» с аккуратно залатанными пробоинами уже стояла на взлетной полосе. Жаль было расставаться с друзьями, но что поделаешь — война.

Возвращаясь назад, я пролетел над вокзалом. Атрашкевич говорил, что наши семьи будут отправлять в тыл. На путях несколько разбросанных взрывами вагонов и никаких признаков погрузки. «Должно быть, уже отправили». Полетел вдоль железной дороги. В душу закралась тревога: ни одного эшелона на восток.

На аэродроме меня встретила печальная весть: Пал Палыч и Коля Яковлев с разведки не вернулись.

Позже от Крюкова мы узнали подробности этого вылета. Для него тот злополучный вылет и первый день войны запомнился на всю жизнь. Мог ли он когда-нибудь подумать, что его, имевшего всего два самостоятельных полета по кругу на новом истребителе «МиГ-3», пошлют сразу на боевое задание? Да еще какое!

Оказывается, на войне всякое возможно. А было это так. Утром, по тревоге, почти все летчики вылетели в Бельцы. В лагерях остались лишь те, кто совсем не летал на «МиГах».

Пал Палыч бродил некоторое время по опустевшей стоянке. Его командир, капитан Солнцев, еще в пятницу улетел на базовый аэродром, попросив Крюкова последить за порядком в эскадрилье, и остался в городе на воскресенье. Так случилось частенько. Но сейчас положение осложнялось: надо было что-то предпринимать — ведь война.

В глубине души Крюков еще надеялся, что весь этот переполох — просто ловко разыгранная учебная тревога. Тем не менее для успокоения совести

он проверил маскировку самолетов, свежевыврытые щели, дал кое-какие указания и заспешил на КП.

Он не был уверен, что ему разрешат учебные полеты на «МиГах», но по дороге твердо решил про себя добиваться своего или проситься воевать на «Чайках».

«Конечно, «Чайка» — не «МиГ-3», — раздумывал Пал Палыч. — Ну что ж, зато в Монголии она себя показала неплохо».

Крюков открыл дверь КП, шагнул внутрь и в нерешительности затоптался у входа. Духота, надсадные крики в телефонные трубки, стук переговорных аппаратов и пишущих машинок, какая-то нервозная толкотня — все это поразило Пал Палыча.

В углу у аппарата начальник штаба майор Матвеев с телеграфной лентой в руках что-то диктовал красноармейцу. В общем гомене Крюков с трудом расслышал конец фразы: «...боевая задача ясна. Подпись: Иванов». «Где же он?» — удивился Пал Палыч.

Он и не предполагал, что командира полка нет.

В субботу Иванов улетел с инженером Шолоховичем в Бельцы и задержался. Утром была объявлена война. Матвеев привел полк в боевую готовность и доложил об этом в штаб дивизии. Вскоре оттуда генерал Осипенко потребовал к аппарату командира полка.

Как быть? Если телеграфист отстучит: «командира на КП нет», Иванову несдобровать — с генералом шутки плохи. Если же доложить: «командир у аппарата», кто-нибудь может случайно прилететь из дивизии — и обман раскроется!

Из рук телеграфиста вновь выползла угрожающая лента: «срочно командира к аппарату». Телеграфист вопросительно посмотрел на начальника шта-

ба. И Матвеев с присущей ему решительностью приказал:

— Отстукивай: майор Иванов у аппарата.

С этого момента Матвеев начал выступать в двух ролях. Вызывал к аппарату начальник штаба дивизии — телеграфист отстукивал подпись майора Матвеева; вызывал генерал — в ответ неслоь: «У аппарата Иванов». И он не просто играл. Он действительно работал за двоих, энергично руководя работой полка. Но на душе у Матвеева скребли кошки. Сколько уже времени прошло, а о командире — ни слуху ни духу.

Связи с Бельцами нет. Там люди, почти двадцать самолетов простаивают без летчиков. А ведь аэродром бомбят, нужно срочно перегнать их в безопасное место. Легко сказать — «перегнать». Где взять летчиков и как их туда перебросить?

Наконец один из летчиков эскадрильи Барышников сообщил, что командир полка нашелся. Летчик специально вернулся с боевого задания, чтобы доложить, что самолет Иванова стоит в поле, должно быть, без бензина; по крайней мере, так он понял сигналы пилота. Значит, командира надо срочно выручать...

Всех этих забот Пал Палыч не знал. Поэтому он продолжал терпеливо стоять у входа, ища глазами майора Иванова.

Матвеев отошел от аппарата и только тут, наконец, заметил старшего лейтенанта.

— Ну что тебе, Пал Палыч? — без обиняков спросил он.

— Товарищ майор, это самое... понимаете... — смутившись, сбивчиво начал Крюков, — полетать бы на «МиГах», потренироваться.

— Ха-ха! Ты слышишь, Курилов? — обратился майор к ожидавшему у стола инспектору полка. — Чего захотел, а? Учебные полеты... Да ты что, дорогой, не знаешь? Война! С Гитлером!

— Если война, — волнуясь, но решительно перебил его Крюков, отчего еще больше начал путаться в словах, — я... мы... понимаете... посылайте бить фашистов, давай войну!

Он умолк, пунцово-красный от смущения.

С озабоченного лица Матвеева как ветром сдуло глубокие складки над переносицей; по землянке прогремел его раскатистый смех. Майор подошел к столу, на котором среди кипы бумаг лежала развернутая карта; под глазами у него разбежались лучиками лукавые морщинки.

— Ладно, войну я тебе дам. Подожди минутку.

И тут же, обратившись к Курилову, распорядился:

— Ты, Федор Николаевич, быстренько бери «У-2», одного летчика и чеши за Ивановым. Его «УТИ-4» где-то вот тут, в сорока километрах. — Матвеев указал на карте предполагаемое место посадки. — Разыщи и немедленно сюда. Понял?

Курилов утвердительно кивнул головой.

— Товарищ майор...

Матвеев обернулся к сутуловатому воентехнику.

— Ну, что еще у тебя, Медведев?

— «У-2»!

— Откуда?

— Из штаба дивизии, товарищ майор.

Матвеев задумчиво почесал затылок, лоб, в глазах мелькнула тревога.

— Вот еще не было печали, — взглянул на инспектора. — Кого думаешь взять с собой, Курилов?

— Покрышкина¹ из первой. Он пока не у дел.

— Хорошо, — согласился Матвеев, — и смотри, чтобы одна нога там, другая здесь.

Приказ прилетевшего из дивизии был категоричен: на ответственное задание послать летчиков только с боевым опытом.

«Кого? — раздумывал Матвеев. — Тех, кто раньше воевал, здесь нет. Они в Бельцах. Крюкова? Но он еще на «МиГе» не переучился».

Матвеев созвонился с дивизией, доложил положение дел. Генерал приказал: «Полетит Крюков».

Начальник штаба подошел к нему, положил руку на плечо.

— Вот тебе, есть война. Ясно?

— Товарищ майор, я же не... — рядом с высоким и стройным Матвеевым он выглядел еще меньше ростом, — я не отказываюсь, но...

— Приказ сверху, ты же слышал. Возьмешь с собой Яковлева.

Поднявшись в воздух, Пал Палыч сразу же физически ощутил многотонную тяжесть нового истребителя. Новизна машины захватила и в то же время придавила Крюкова. По сути, это ведь его первый полет; вчерашние два — по кругу — были не в счет, каких-то четверть часа в воздухе.

Он не боялся неизвестности, его не страшила сложность боевого задания. Пал Палыча беспокоило другое: он попросту не знал самолета. Когда летчик привыкает к машине, «влетается» в нее, у него никогда не возникает ощущения, какое бывает, на-

¹ Покрышкин Александр Иванович, летчик, ст. л-т. Впоследствии первый трижды ГСС, маршал авиации. Итоговый счет к концу войны — 46 самолетов, сбитых лично, и 6 в группе.

пример, у пассажира в самолете. Летчик и самолет перестают быть каждый сам по себе. Вместе с истребителем пилот всем своим существом вписывается в крутые виражи; крылья, вонзившиеся в небо, становятся его руками, мотор — его сердцем. Но это дается долгими тренировками, а Пал Палыч был сейчас как-никак новичком.

Надрывно ревел мотор, сдвинулась с места и уползла за красную черточку стрелка термометра воды. Пал Палыч до упора открыл шторки водяного радиатора, сбавил обороты.

Какой режим полета для «МиГа» самый выгодный? Как его подобрать? А тут еще трескотня в наушниках мешает сосредоточиться! Он сразу же выключил радио, крепко выругавшись в душе в адрес начальника связи.

Самолет Яковлева шел рядом. «Ему хорошо, — позавидовал Крюков, — переучивание почти закончил. А тут сиди, парься».

И Пал Палыч в поте лица вел самолет в самое логово врага.

Позади осталось добрых полчаса пути. Теперь два разведчика летели над территорией врага. Отчетливо виднелись синие отроги Карпат. Надо бы повнимательнее следить за воздухом. Как назло, облачность, до этого висевшая внизу редкими хлопьями, сгустилась.

Пал Палыч некоторое время определял местонахождение, после чего взглянул на бензиномер и ужаснулся: стрелка колебалась на середине, все больше отклоняясь в сторону нуля, до объекта же было далеко.

«Фу-ты, ну-ты, — произнес Пал Палыч любимую присказку, как обычно, когда сталкивался с чем-то для себя нелегким. — Как быть?»

Раздумывать не пришлось. Вокруг истребителей появились зенитные разрывы. Пал Палыч сманивировал к облакам, посмотрел вниз. Там серел крупный узел, дымили паровозами темно-грязные составы. Неподалеку от города прилепилась взлетная полоса аэродрома. Вокруг нее пестрел самолетами продолговатый аэродром.

«Мессершмитты» появились неожиданно. Вначале Яковлев указал ему на одну пару, а затем Крюков и сам заметил слева от себя другую.

«В бой не вступать» — таков приказ. Путь к отступлению отрезан первой парой, вторая стремится обойти спереди. А разведать главный объект необходимо! Не возвращаться же с пустыми руками!

«Мессершмитты» наседали. Крюков и Яковлев по одному вскочили в облака. Вынырнув оттуда, летчики увидели прежнюю картину: вражеские истребители продолжали преследование.

Пал Палыч снова спрятал свой «МиГ» в облака; снова вслед за ведущим устремился Яковлев. Здесь сильно болтало, несколько минут полета показались вечностью.

Впереди возникли знакомые по карте очертания вражеского города. «Мессершмитты» наконец отстали, а плотный огонь зениток истребителю не помеха. Со свойственными ему упрямством и решимостью Крюков выполнил приказ.

Но где самолет Яковлева?

Маневрируя между разрывами, встревоженный Пал Палыч сделал один круг, другой. Яковлева не было. Бензин на исходе.

Пал Палычу все же удалось перелететь обратно через границу. Пытаясь подыскать место для посадки, он израсходовал последние капли горючего. Мотор заглох, и самолет рухнул в лес.

Только к вечеру Крюков смог добраться до штаба и передать ценные сведения о расположении вражеских войск.

Никому не хотелось думать, что нет больше в живых белобрысого весельчака Коли Яковлева.

* * *

Земля неохотно расставалась с солнцем. Густые тени, точно продолжая работу взрывов, заполняли овраги, низины и расплывались по косогорам, затягивали золотистые солнечные пятна. Привычная вечерняя тишина обволокла аэродром. Впереди ночь, полная тревог и неизвестности. Первая ночь войны. Настороженно притаились дома. Оконные стекла, которые так весело перемигивались каждый вечер со звездами, казались теперь слепыми, полными тоски и одиночества. Надолго ли? Сколько еще придется ждать, пока затеплятся в них ласковые ясные огоньки? Притих в густых зарослях акации командный пункт. Его ориентиром сейчас служили только огоньки папирос. Изредка бледное пламя спички выхватывало из ночи посуровевшие лица товарищей. Слышались приглушенные, взволнованные голоса.

Наконец можно собраться с мыслями, хоть немного отдохнуть от дневной суматохи, от воя снарядов и грохота бомб.

Скрипнула дверь. В ее узком проеме возникли знакомые силуэты командира полка и начальника штаба. Разговоры стихли. Летчики подошли поближе, уселись прямо на землю.

Иванов заговорил, как всегда, спокойно, но по тому, как он особенно старательно выговаривал каждое слово, угадывалось сдерживаемое волнение.

— Товарищи летчики! Сегодня фашисты вероломно напали на нашу Родину. Вам пришлось принять на себя первый удар. — Голос командира окреп, в нем зазвучала сталь. — Вы оказали врагу достойный прием. Десяток фашистских стервятников и почти сотня гитлеровцев больше не вернутся домой. Высокое мастерство и бесстрашие проявили в воздушных боях летчики Ивачев, Викторов, Макаров — каждый из них сбил по одному вражескому самолету. Исключительное мужество и храбрость проявили наши летчики, отражая налет на аэродром в Бельцах. В неравной схватке с противником они сбили прямо над аэродромом прославленного фашистского аса. Отважно дрались в этом тяжелом групповом бою летчики первой эскадрильи.

Иванов умолк.

— Война не бывает без жертв. Видеть смерть всегда тяжело. Вдвойне, втройне тяжелее, когда от руки врага гибнут близкие товарищи, друзья. Смертью храбрых погибли сегодня Саша Суров и Семен Овчинников¹, наши молодые летчики, комсомольцы, славные ребята. Прошу почтить их светлую память минутой молчания.

Все встали. Плотная, молчаливая недвижная живая стена. Толька одна минута, шестьдесят секунд тягостного молчания, но за это время в памяти у каждого из нас встали эти двое: высокий сероглазый Саша Суров и подвижный, жизнерадостный Сеня Овчинников.

Всего несколько часов назад я разговаривал с Овчинниковым на аэродроме в Бельцах. Его светло-

¹ Овчинников Семен Яковлевич, адъютант аэ, л-т, 22.06.41 г. сбит на «МиГ-3» в/б в районе Бельцы. Похоронен там же. Сбитых самолетов противника не имел.

карие глаза еще излучали задор и азарт только что прошедшего боя. Растянувшись под крылом самолета, Иван рассказывал нам о внезапном налете фашистов. Я до сих пор слышу его голос:

«Сижу я в кабине, вздремнул даже слегка. Вдруг слышу, по голове меня кто-то лупит, а в ушах перестук отдается: тра-та-та-та, тра-та-та-та. Ну, техник быстренько включает зажигание, я скорей за плунжер хватаюсь, смотрю — справа командир звена уже на взлет пошел...» — Иван рассказывал увлеченно, захлеб. Запустив мотор, Овчинников устремился за командиром. А в это время над головами с оглушающим грохотом проносятся «Мессершмитты». Трескотня их «эрликонов»¹ — не для слабонервных. На южной окраине с треском захлопали фугаски. Но вот на взлет пошли наши истребители. Скрылся за черными разрывами самолет старшего лейтенанта Шелякина. Вслед за ним устремились Гриша Шиян, Саша Суров и Петя Грачев. Лоб в лоб мчатся их истребители навстречу атакующим «Мессершмиттам».

На аэродроме творится невообразимое. На стоянках самолетов, на взлетном поле — повсюду грохочут взрывы. Там, где было бензохранилище, разлилось огненное море. Черный дым окутал два не успевших взлететь «МиГа».

Все живое укрылось где только можно. Даже в речке. Из воды торчит голова Тимы Паскеева: с ужасом следит он за несущимися к земле бомбами. Его длинное, худое тело при каждом близком разрыве моментально расплывается на дне. Рядом, у берега, лейтенант Дементьев с перекошенным от страха лицом.

¹ Спаренные 20-миллиметровые зенитные пушки.

Огненная смерть пляшет на земле. «МиГи» все взлетают и взлетают. Через какую-то долю секунды повиснет в воздухе истребитель младшего лейтенанта Овчинникова. Но в этот момент раздастся взрыв, и тугая, как плеть, волна швыряет самолет в бездну. «МиГ» Овчинникова скрывается на мгновение в дыму, боком выскакивает и, перевернувшись несколько раз, влетает в следующий взрыв. Падают вниз комья земли и обломки исковерканного истребителя. Тем временем вторая волна бомбардировщиков пересекает исполосованное разрывами летное поле, и пляска смерти становится еще лихорадочнее.

Случилось невероятное. Наперекор всему Овчинников остался жив. Но тут же, точно очумелый, сквозь грохот и разрывы он кидается с парашютом под мышкой к одному из стоящих на земле истребителей и через несколько минут вступает в бой.

А в небе, над аэродромом, разгорается ожесточенная схватка. Строчат пушки, рассыпаются дробью пулеметы, окрестности раздирает натруженный вой моторов.

Под загоревшимся «Мессершмиттом» раскрывается белый куполок парашюта. Но скрыться фашистскому летчику не удастся. Пленник — капитан, на его груди вызывающе блестят два железных креста — награда фюрера за разбойничьи полеты над Африкой и Европой. В этой войне капитану явно не повезло: первый же его вылет в советское небо оказался последним.

Когда я сел в Бельцах, за косогором догорал сбитый Суровым «Юнкерс». Я смотрел на клубы черного дыма и как бы видел рослого крепыша туляка.

Словно вихрь, носился его «МиГ» среди «Юнкерсов». Ослепленный яростью Саша мстил фашистам

за вероломство, за своего техника Дмитрия Камаева, погибшего от первой вражеской бомбы. Стремительная атака советского летчика обратила в бегство фашистских бомберов. Задымился еще один «Юнкерс», пошел на снижение и стал удирать третий. Саша еще яростнее набросился на него, атакуя со всех сторон. Ливень огненных трасс осыпал самолет Сурова, немецкие стрелки исступленно отстреливались, а он все бил, бил, позабыв обо всем.

«Оглянись, Сашка! Сашка!!» — кричали ему предостерегающе Шелякин и Шиян. Но Саша не слышал их — радио-то не было. Летчики кинулись наперерез размалеванному «Мессершмитту», но опоздали. Меткая пулеметная очередь прошила краснозвездный «МиГ»...

Младший лейтенант Овчинников погиб часом позже, когда я улетел из Бельц. И сейчас, в траурной минутной тишине, я слышал Ванин торопливый говор, видел его большие, полные гнева глаза, коренастую, крепко сбитую фигуру, бегущую сквозь дым между разрывами бомб...

...Вновь зазвучал твердый голос командира. Он говорил о том, что враг силен и коварен.

Свежий ветерок зашевелился в ветвях. Месяц выбрался из-под облака, серебром задрожал в листве, призрачным светом залил аэродром. Где-то неподалеку зарокотал самолетный мотор — вначале слабо, словно прислушиваясь к себе, потом во всю мощь; тысячеголосое эхо прокатилось по окрестностям. Из посадки короткой очередью откликнулся пулемет и, расписавшись зелеными трассами, смолк. Самолеты, как и люди, готовились к завтрашним боям.

— Командирам эскадрилий зайти на КП, — рас-

порядился начальник штаба, — а вы, орлы, на машину — и спать. Все поработали сегодня на славу; полторы сотни боевых вылетов, больше десятка воздушных боев!

— Завтра, надо думать, денек будет погорячее, — задумчиво произнес командир.

— Мы, товарищ майор, рады стараться, — весело выкрикнул Кузьма Селиверстов¹. — Нам бы «харчишку» по паре стаканчиков за штуку! Тогда, будьте уверены, не посраим земли русской.

— Я тебе покажу «харчишку»! — шутливо пригрозил майор Иванов.

Затарaxтел грузовик. Все потянулись к машине, вполголоса переговариваясь между собой. Вскоре кузов полуторки был переполнен. Кто-то предложил пройтись пешком.

— Айда, братва, — согласился Кондратюк.

— Пошли, — поддержал Пал Палыч и шариком покатился впереди всех.

Нас обогнала битком набитая летчиками полуторка. Низкий баритон выводил:

...Угрюмый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица...

Дружный хор на всю степь подхватил припев:

...Пропеллер, громче песню пой,
Неся распластанные крылья,
За вечный мир в последний бой
Летит стальная эскадрилья...

¹ Селиверстов Кузьма Егорович, комзвена, л-т, 1913 г.р. 15.10.41 г. на «И-16» сбит в бою в районе ст. Синявская Ростовской обл. Лично сбил девять самолетов противника и два в группе. Первый Герой Советского Союза в 55-м иап.

* * *

Так началась война... Гроза, столь долго и настойчиво гремевшая у наших границ, перешагнула их и разразилась с ураганной силой. Опыт польской, норвежской и французской кампаний убедил немцев в том, что внезапные удары по аэродромам противника являются верным шагом к завоеванию господства в воздухе.

Вот почему, планируя вторжение в Советский Союз, германский фашизм сосредоточил у наших границ почти всю свою авиацию.

Существенный с самого начала количественный перевес немцев еще больше увеличился после первых бомбово-штурмовых налетов на наши аэродромы. К тому же и перевооружиться на новую материальную часть мы еще не успели; все это поставило нашу авиацию в тяжелые условия.

Внутренне, как мне казалось, я был готов к войне. Но что я знал о ней...

Нам и в голову не приходило, что незваных гостей придется принимать на своей территории! Как и все, я имел довольно смутное представление о немецкой авиации и того меньше — об их тактике. Причиной тому была отнюдь не моя нерадивость; нас так учили, тешили лестным для самолюбия несомненным преимуществом сталинского воздушного флота, колоссальными бомбовыми залпами, превосходными летно-тактическими данными истребителей.

Каким же был мой арсенал тактических приемов борьбы? Конечно, лобовая атака! Сколько было о ней прочитано, переслышано... «Лобовая атака, — думалось мне, — едва ли не единственный путь к по-

беде. Ведь именно в ней проявляются вся воля летчика и его мастерство».

Воздушный бой воображение рисовало точь-в-точь, как в предвоенные дни: сходятся звено на звено, невообразимая кутерьма, все гоняются друг за другом. Учебных боев с бомбардировщиками мы вообще не проводили и не представляли даже, как они выглядят в прицеле. И не только в прицеле! В тренировочных полетах нам категорически запрещалось к ним приближаться: «Как бы чего не вышло».

Многие привычки пришлось ломать, многое делать не так, как было принято раньше. Все эти представления вскоре изменились, но в те первые дни мы свято верили в свою непобедимость. Но уверенность в победе не покидала нас и в самые тяжелые для Родины дни.

Потекли суровые военные будни. Летчики до темноты не вылезали из самолетов. Вот и сегодня. Еще затемно мы приехали на аэродром и столпились у командирской «Чайки». Старший лейтенант Дубинин коротко сообщил положение на фронте, наши ближайшие задачи, а в конце, подчеркнув активность вражеской авиации, предупредил:

— Строгий наказ майора Иванова — в полете, тем более в бою, от группы ни в коем случае не отрываться. В соседнем полку по этой причине погиб командир эскадрильи Карманов¹. Мы тоже потеряли несколько самолетов и летчиков.

— Капитана Карманова сбили? — в один голос вырвалось у нас. — Когда?

¹ Карманов Афанасий Григорьевич, комэск 4-го иап, 20-й сад, капитан, 1907 г.р. 23.6.41 г. сбит в воздушном бою самолетом противника в районе Кишинева

— Позавчера. Над Кишиневом.

Весть эта ошеломила. Карманова знали все, о его храбрости писали. В первый же день войны Карманов сбил два «Мессершмитта» и почти сразу же — бомбардировщик. Не укладывалось в голове, как мог погибнуть такой летчик. «Такой летчик! Что тогда ждет нас, рядовых?» — испуганно мелькало кое у кого.

Мы стали расходиться к самолетам.

— Надо друг за друга зубами держаться, — буркнул Иван Зибин¹, — тогда и черт не страшен.

Сам Иван, всегда уравновешенный, хладнокровный, делать это умел. Как-то во время полета между ним и ведущим разорвался зенитный снаряд; Зибин не отвалил в сторону — он вслед за командиром продолжал пикировать на зенитку.

— Эх, Иван, Иван... Ну что ты «мессеру» на своей «Чайке» сделаешь? — иронизировал Тетерин. — Ведь при встрече в воздухе получается как у Пруткова: «Не чеши затылок, а чеши пятки».

— А ты не чеши язычишком, лучше соберись с умишком, — не остался в долгу Зибин. — Человек человеком держится, а в бою — еще и уверенностью в машине.

С командного пункта воздух прочертили две зеленые ракеты. Аэродром ожил, загудели моторы.

Звено за звеном в небо устремилась группа «МиГов».

— Рановато что-то наши на задание полетели, —

¹ Зибин Иван Михайлович, зам кэ, ст. л-т, 1912 г.р. 16.07.42 г. на а/э Нахичевань, г. Ростов, был убит осколком зенитного снаряда. Похоронен 17.07.42 г. там же. В воздушных боях лично сбил четыре самолета противника и один в группе.

переменил разговор Тетерин. — И нужно проклятой бомбе именно в мой самолет угодить! Болтайся теперь здесь...

Трудно было понять, насколько искренне это сожаление. Из Бельц Тетерин вернулся на «Чайке», влился в группу Дубинина и теперь частенько вылетал прикрывать аэродром и тыловые переправы через Днестр, хотя свободный «МиГ» при желании найти было можно.

— Им хорошо — что ни вылет, то воздушный бой, — Леня Крейнин проводил быстро удаляющиеся истребители завистливым взглядом, — а тут...

Он не договорил, сердито натянул на черные волосы белый подшлемник и неожиданно широко улыбнулся.

— Что мы, лыком шиты? А ну, пошли с боем штаны в кабинах протирать.

В душе я с Крейниным был согласен; так же, как и он, с тем же настроением я посматривал на товарищей, которые воевали на «МиГах». Но я-то знал, что Крейнин воевать на них будет. Перед самой войной Леня закончил переучиваться на «И-шестнадцатом» — переходном этапе к «МиГу».

Для меня такая возможность практически исключалась. Только что за завтраком мы разговаривали на эту тему с Дубининым.

— Долгая история, — объяснял комэск. — Теперь не до этого, а ты ведь и на «ишаке» не летаешь.

По-своему Дубинин был прав. Нужно изучать самолет, организовывать учебные полеты, сдать зачеты... Кто станет заниматься этим?

А летать и воевать на «МиГе» хотелось отчаянно! И не потому, что он считался у нас «сверхсамоле-

том». Многие летчики «МиГу» предпочитали старые, но зато испытанные машины.

Здесь было другое. Мне казалось, что на нас, «чачечников», смотрят как на второсортных. Товарищи воюют на «МиГах», а тут приходится выполнять какие-то второстепенные задания. Я проклинал себя и те минуты, когда совершил вынужденную посадку, — так отстать из-за нее от друзей! Теперь я завидовал даже тем, кто воевал на «И-16»: все-таки и скорость, и пушки есть. «Перебраться бы хоть на него, — мечтал я, — подходя к своему самолету. — Вон летчики из 67-го полка штук десять бомбардировщиков недавно завалили на этих «ишаках».

— Присядь-ка с нами, — позвал меня Бессекирный, выглядывая из-под крыла «Чайки», где он возился вместе с Ваней Путькалюком, — поговорить надо.

— Чем это вы занимаетесь?

— Об «эрэсах» что-нибудь слышал? — в свою очередь спросил он меня.

— Слышать слышал, да никогда не видел; знаю только, что эти балки к ним относятся, — я указал на металлические салазки, закрепленные под крылом. — Какой смысл? Торчат и только скорость снижают.

— Хочешь на снарядики взглянуть? Прихватил я со склада несколько штук.

Мы подошли к замаскированным ящикам. Путькалюк смахнул пожелтевшую траву, отодрал с одного крышку. На дне ящика лежал РС¹ — темный длинный снаряд, похожий на небольшую ракету: короткие перья стабилизатора, в хвосте отверстие реактивного сопла.

Кузьма Бессекирный, неутомный, по-юноше-

¹ РС (эрэс) — реактивный снаряд.

ски угловатый, влюбленный в свою профессию техник, заметил мое любопытство и принялся увлеченно объяснять устройство снаряда. А потом вдруг предложил:

— Попробуем стрельнуть?

Это было заманчиво. Мы слышали о необыкновенной эффективности этого оружия, однако никто не знал, применялось ли оно вообще, кроме полигонных испытаний.

Искушение выстрелить «эрэсами» первым в полку было велико. Я согласился. Договорились держать это в тайне, прежде чем все полностью не подготовим к стрельбе.

Оружейник и техник тут же энергично принялись за дело: под каждым крылом подвесили к балкам по снаряду, осторожно вставили пусковые пиропатроны, ввернули взрыватели.

Наконец все было готово. Путькалюк убежал докладывать командиру полка.

— Как ты считаешь, разрешат нам стрельнуть? — волновался Кузьма.

— Дело стоящее. Думаю, должны.

Пришел майор Иванов. Внимательно выслушал нас, одобрил.

Я сел в кабину. Бессекирный еще раз проверил электрическую систему пуска. Загоревшее лицо его было серьезно, но излишняя суета выдавала волнение; оно невольно передалось и мне.

— Кузьма, что вдруг да не соскочат снаряды? — приподнято шутливым тоном начал я. — Выходит, от меня мокрое место останется?

— Соскочат! Куда им деться...

В светло-карих глазах Бессекирного мелькнула

тревога. Но он тут же взял себя в руки и в тон мне произнес:

— А если... От «Чайки» ничего не останется наверняка, а от тебя — еще вопрос.

Любопытных собралось много. К командиру полка подошли Матвеев и помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу Погребной¹. Рядом с ними, немного в стороне, столпились летчики; среди них я заметил коренастого Ивачева, рядом, как всегда, закадычный дружок Кузя Селиверстов — на животе пистолет болтается.

— Не знаешь, Кузьма, сильный выстрел при пуске?

— Стрельнешь — увидим. Остальное ясно?

— Ясно. Отгони только народ подальше. На всякий случай.

Бессекирный соскочил с плоскости, что-то сказал собравшимся. Те поспешно отошли на безопасное расстояние. Теперь на «Чайку» поглядывали из-за укрытия, как на неразорвавшуюся бомбу.

Оружейник подошел к командиру полка. Красный флажок в руке Иванова взлетел вверх. Словно невидимый провод протянулся от него в кабину, к взрывному устройству. Я нащупал пусковую кнопку. Напряженная пауза. Казалось, она длится вечность. На лбу выступила испарина. Короткий взмах флажка вниз, и тотчас же палец нажал кнопку, взрывное устройство сработало. Я не услышал привычного оглушительного выстрела. Раздался резкий хлопок, и два черноватых следа устремились в небо. Я вздохнул с облегчением. Из поднебесья, будто вторя моему вздоху, один за другим донеслись сильные взрывы.

¹ Погребной Михаил Акимович, позже был назначен комиссаром 55-го иап — 16-го гиап.

«Чайку» моментально окружили плотным кольцом. Кто-то заглядывал под плоскости, кто-то щупал руками обшивку крыльев, пальцами оттирал следы копоти от пороха, кто-то уверял, что самолет после выстрела сильно брыкнул.

Постепенно волнение улеглось, и командир полка разрешил нам испытать «эрэсы» в воздухе.

Готовились недолго. Мишенью выбрали одинокое дерево на краю оврага: Я поднялся в воздух и плавно ввел самолет в пологое пикирование. Внизу маленькими букашками маячили зрители. Целился я старательно. И когда цель повисла на ниточке перекрестия, я произвел пуск, и в тот же миг сквозь шум мотора послышался характерный свист. «Ниточка» оборвалась. Дерево, срубленное разрывами, повалилось наземь.

Кузьма Бессекирный был на седьмом небе. Еще бы! Откопать на складе такое сильное оружие, сразу зарекомендовавшее себя в глазах летчиков!

Командир полка тут же отдал распоряжение быстро подготовить все самолеты, оборудованные для стрельбы «эрэсами», потом подозвал меня.

— Молодец, ей-богу, молодец! Не подозревал, что ты так метко стреляешь.

— Будем надеяться, он и с фашистами так же справится, — сказал Погребной. — Как, не промахнешься?

Я посмотрел в его добрые, глубоко сидящие под мохнатыми бровями глаза — и от волнения не смог сказать ни слова. Мальчишеская радость бушевала в груди. Так бывало в детстве, когда меня хвалил отец.

Этот день запомнился еще и по другой причине. Такова уж человеческая память. Порой она отказывается отвечать на упрямые вопросы. Молчит. А иногда, по необъяснимому своеволию, выталкивает на

поверхность то, что казалось давным-давно забытым. Будто рассеивается туман, редет пелена.

После обеда, прикрывая переправы, я впервые увидел живых «Юнкерсов». Они летели выше нас и чуть в стороне. Дубинин, покачав крыльями, кинулся наперерез. Я включил свои «эрэсы».

Трудно предположить отчего — от нашей агрессивности, то ли от нескольких залпов зениток, а может, у них было другое задание, но «Юнкерсы», немного отвернув, взяли курс на восток.

Мы звеном — вдогонку. Моторы режут на полную мощность, сердце колотится в предвкушении боя. Еще бы — драться в глубине своей территории, не боясь за свои хвосты, к тому же с обыкновенными «юнкерсами». Я так в душе расхрабрился, что готов был всем им хвосты поотрубать винтом! Но ничего этого не случилось. Не догнали...

А когда сели на аэродроме, Леня Крейнин, как всегда, сострил:

— Ты на чем летал?

— На том, на чем и ты: на «Чайке».

— «Чайка» ж благородная птица. Зачем ей связываться с паршивенькими стервятниками.

Не успел я сорвать на нем злость за неуместную шутку, как был тут же стиснут сильными руками Богаткина.

— Командир! Здорово, старина!

— Афанасий Владимирович! — обрадовался я. — Здравствуй, здравствуй! Откуда ты взялся?

— С обеда поджидаю. Прямо со станции и сюда. Нас тут много — Германовшвили, Гичевский.

— Паша Гичевский?! Он же не вернулся с задания в первый день.

— Жив и здоров Паша, командир. А сейчас его,

поди, все еще Кондратюк в объятиях душил. На комсомольском собрании все. Пойдем?

По дороге Богаткин выкладывал до мельчайших подробностей события в Бельцах за время моего отсутствия. Он казался постаревшим. Нос заострился еще больше, слегка выступающий вперед подбородок был небрит, и впалые щеки казались землистыми.

Неожиданно Богаткин остановился и спросил меня:

— Ты о начфине базы слышал?

— Нет, а что? — поинтересовался я.

— И о Борисове, начальнике ГСМ, не знаешь?

Я отрицательно мотнул головой, думая о предстоящей встрече с Пашей Гичевским.

— Начфин был шпионом фашистским.

— Что?..

— Шпионом, говорю, был он и сбежал в первый день. Вместе с ним и Борисов удрал.

— Скажи, Афанасий Владимирович, — востропнул я сразу же, — не их ли рук дело?..

— Их, командир, их! — с ненавистью воскликнул Богаткин. — Эти сволочи подсыпали что-то в масло, потому и заклинивались подшипники, шатуны обрывались. Ух, попадись они мне...

Мы подошли к грачевскому «МиГу» — здесь проходило собрание. Богаткин заговорщически шепнул:

— Подсядем незаметно, чтобы Паша не увидел, — ух, и будет тебе от него.

— А в чем дело, Афанасий Владимирович?

— Потерпи — узнаешь, — таинственно произнес Богаткин.

Обсуждение первого вопроса подходило к концу.

— Разве это дело? — азартно кричал Ротанов. Вся его поджарая спортивная фигура была в движе-

нии. — На «МиГах» приказывают идти в разведку на бреющем полете, в то время как хорошо знают, что самолет этот на малой высоте — «утюг»! Я так считаю: разведчик должен выбирать высоту полета и маршрут сам.

Тима Ротанов говорил всегда коротко, но прямо — то, что думал.

— Здесь, товарищи, присутствует старший политрук из дивизии. Я прошу его передать кому следует, — продолжал Ротанов, — прежде чем приказывать, следует думать. Вот, к примеру: послали нас вчера прикрывать двенадцать «Су-2». Ползут они еле-еле на восьмистах метрах, а мы одним звеном над ними болтаемся. Разве это прикрытие? Хорошо, что «худые» не встретились, а то дали бы «прикурить» и нам и им. Так воевать нельзя.

— Прикрывать «Су-2» лучше «Чайкам» и «И-шестнадцатым», — вставил Грачев. — На «МиГах» тяжело.

— Посылать нужно не по звену, а так, чтобы и бой можно было вести, и силенок хватило бомбардировщики прикрыть. Короче: не нарушать боевой устав авиации. Все! — закончил Ротанов.

Иван Зибин попросил слова. Подошел к механику Бреусову — тот вел протокол:

— Запиши. Бывает часто и так: сидишь в кабине, ждешь до умопомрачения. Бац: ракета! Вылетаешь — а куда, сам не знаешь. Я хочу сказать, что задачи летчикам надо ставить своевременно и время давать на подготовку к вылету. Нам нужны не только постоянные слетанные звенья, но и группы. Как мы сегодня на штурмовку вылетели? Летчики из разных эскадрилий, разных полков. Кто командир, неизвестно.

Выступавшие были немногословны. Говорили о том, что оружие в воздухе часто отказывает, аэро-

дром зенитками не прикрыт, связь с постами ВНОС¹ плохая. Многие вылеты цели своей не достигают, — и, конечно же, о бдительности.

— Председатель, дай мне говорить, — выскочил из-под крыла Германовши. — Я и товарищи завтра вечером сами будем сделать два зенитный пулемет. Клянусь моей матерью, ух как стрелять будем, сам стрелять будем! — и под одобрительный смех юркнул на свое место.

Выступил помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу Погребной. Коренастый, крепко сбитый, с быстрым и цепким взглядом, старший политрук говорил негромко, привычным движением поглаживая лысину. Как и полагается представителю вышестоящего штаба, Погребной подвел итог выступлениям и заверил, что все критические замечания будут переданы командованию.

Потом обсуждали комсомольские рекомендации для вступления в члены ВКП (б).

Первой обсуждалась рекомендация Тиме Ротанову.

— Есть возражения? — спросил председатель.

— Ротанов — смелый, бесстрашный летчик. Он уже одного «мессера» завалил, достоин быть в партии.

— Единогласно, — подсчитал Дмитриев.

Дружно и быстро проголосовали комсомольцы за Зибина, Кондратюка, Бессекирного.

С заявлением летчика Плаксина вышла заминка. Как раз в последнее время Алексей Плаксин «ослаб» здоровьем и перешел на связной самолет. Но он — еще адъютант командира полка. Мнения разделились — начальство обижать неудобно.

— Надо воевать, товарищ Плаксин, а не прислуживать, — громче всех протестовал Ротанов.

¹ Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи.

— Но ведь он же не по своей вине... — неуверенно защищал Алексея Петя Грачев, — летает на беззащитном самолете, подвергается, может, не меньшей опасности. Это же не шкура дементьевская, товарищи.

— Нечего антимионии разводить, — выкрикнул Гичевский, — и так ясно! Ставь, председатель, на голосование.

Выражение лица Гичевского в темноте разобрать было трудно. Только белел на голове сплошной бинтовой шлем. Кондратюк обхватил его сильной рукой, прижал, точно ребенка, к груди.

Подсчитали голоса: семь «за», двадцать четыре — «против». Плаксин понурил голову, ссутулился. Мне стало жаль парня. Может, действительно, нездоров?

Последнее заявление — Валериана Герmanoшвили — подняло у всех настроение. Когда проголосовали, Герmanoшвили снова выскочил из-под самолета и под общий хохот радостно заявил:

— Большое спасибо за доверие. Знай все, мой пулемет станет стрелять прямо в фашиста, никогда летчика не обманет. Сам стрелять будет.

Виталий Дмитриев, председательствующий, с трудом успокоил развеселившееся собрание и дал слово Пете Грачеву.

— Товарищи, тут мы хотели еще поговорить сегодня об одном старом деле нашего комсомольца, но старший политрук отсоветовал.

— Непонятно! Поясни! — потребовал Кондратюк.

— Аварию Речкалова помнишь?

Кровь ударила мне в лицо. В ушах загудело. Собрание зашевелилось. В общем шуме послышался звонкий голос:

— Он не виноват, это вражеских рук дело.

Неожиданно что-то большое, сильное навалилось на мою голову, обдало запахом крепкого пота.

— Век тебя не забуду, дружище, — взволнованно засопел Гичевский прямо в ухо.

Я с трудом освободился от цепких объятий.

— Паша, ты что?

Гичевский смахнул со скуластой щеки слезу, широко улыбнулся и снова схватил меня в охапку

— Не понимаешь? Ничего не знаешь?!

— Решительно!

— Черт курносый! Дружище! Ты ж мне жизнь спас!

— Так это был...

— Я, Гришка, я!..

В этот вечер я выпил за ужином свою первую фронтovou стопку. Обжигающим теплом разлилась она по всему телу, жаркой испариной выступила на лице.

В столовой — мазаном сарайчике, служившем до недавнего времени хозскладом совхоза, было шумно и душно. Две керосиновые лампы задыхались в клубах табачного дыма; неверный их свет делал лица летчиков темно-багровыми, глаза превращал в черные проемы. Хотелось выйти на свежий воздух, но пробраться из-за длинного дощатого стола к выходу было практически невозможно.

— Пойми ты, — доказывал Петя Грачев Тетерину, — «Мессершмиттов» можно бить на «Чайках» не хуже, чем на «МиГах». Понимаешь?

Тетерин пытался возражать: не тебе, мол, меня учить. Но тут на него набросился Ротанов.

— «Чайки» тебе нехороши, да? Почему ж на «МиГ» не переходишь? Скажешь, их нет? Врешь! Выходит, на «Чайке» над аэродромчиком легче и безопаснее летать? Хитришь, Леня!

Языки развязались. Спор становился все жарче.

— Бросьте, товарищи, — успокаивал Пал Палыч, — вышли бы на воздух, проветрились...

К столу подошел Хархалуп. Его крупное цыганское лицо было темным, хмурым.

Грачев подвинулся. Кто-то протянул наполненный стакан.

— Не большой я любитель спиртного, а сегодня выпью еще, — принимая стакан, глухо сказал Хархалуп. — Плохо мы воюем, ребята... Неоправданно тережим людей, машины. А почему?

— Не нужно нас по мелочам распылать на всякие пустые вылеты, дергать поменьше, — заметил Кондратюк.

— Это верно, но главное ли? А главное, по-моему, — побыстрее отказаться от предвоенных привычек. О Карманове слышали? Мой друг... Смерть его немцам так просто не пройдет. — Хархалуп залпом осушил стакан, крикнул, встал из-за стола. — Запомните, товарищи! У летчика может быть много друзей. Но те, с кем он делит все — уходит в полет, смотрит в лицо смерти, — эти должны занимать в его сердце особое место. Цените друзей, доверяйте им, деритесь за них.

* * *

Наступил пятый день войны. Утро как утро. В полях пересвистывались суслики, в высоком небе заливались безмятежные птицы, свежий ветерок, настоящий на пряных степных запахах, разгонял сонливость, но нас эта красота мало привлекала.

Из скупых газетных сообщений мы плохо представляли, что делается на других фронтах, но знали: фашисты безудержно прут на Ленинград, Минск, Житомир.

Сегодня ночью немцы переправились через Прут у Скулени, захватили плацдарм и накапливают силы. Рядом — Бельцы.

Многих тревожила неизвестность о судьбе родных и близких. Слухи ходили самые противоречивые. Кто-то где-то слышал, будто эшелон с семьями разбомбили, другие уверяли обратное — никого из города не вывозили. Начальство разводило руками, не в состоянии сообщить что-либо определенное.

Летчики были неразговорчивы. Тревожные раздумья порождали замкнутость. Но длилось такое обычно до получения задания на боевой вылет, а иногда и до самого вылета, после чего лица оживали, мысли сосредоточивались на новых заботах.

Всем было ясно: противник приложит все усилия, чтоб удержать и по возможности расширить захваченное. И наземникам, и авиаторам предстоял горячий денек.

Командирский «пикап» скрипнул тормозами и остановился напротив капонира, замаскированного стеблями кукурузы. Около «МиГа» с голубым носом сучились в ожидании летчики. Из кузова выпрыгнул Хархалуп.

— Семен Иванович, на минутку. — Командир полка приоткрыл дверцу кабины. — Задание ясно?

— Да, товарищ командир. Все будет сделано как вы сказали.

— С вылетом не задерживайся, — майор взглянул на часы, потом на стоявших поодаль летчиков. — Время еще есть. Обговори со своими сегодняшнюю задачу. Пусть сами сообразят, как лучше. Воздушные бои всегда разнообразны. Особенно советую: обрати внимание на осмотрительность и тактические приемы врага.

— Есть!

Хархалуп откозырял и четким строевым шагом направился к своей группе. Выправка и подтянутость для него были также естественны, как отточенность форм для «МиГа».

Тима Ротанов, добровольный помощник Хархалупа, встретил его по всем правилам устава.

— Почему только семь исправных самолетов? — удивился Семен Иванович, выслушав Ротанова, — чей не в порядке?

— Исправлены все восемь, товарищ командир, — раздался голос старшего техника.

Городецкий вылез из кабины и по-гусиному, вразвалку, подошел к Хархалупу.

— Просто «тридцать третью» воздухом недозаправили.

Следует заметить, что Хархалуп остался верен двум тройкам — этот номер был у его самолета и до войны.

Семен Иванович помолчал. Легкая улыбка обнажила крепкие зубы, слегка разгладила угрюмое лицо.

— Ну, что приуныли? Не завтракали еще?

— Не-ет!

— Завтрак успеется, — приободрился Грачев. — Скажите, как там дела?

«Там» — это на фронте. Летчики ждали утешительного ответа. Но что сказать этим людям, которые так напряженно ловят каждый его взгляд? Они воюют, не жалея себя, теряют товарищей. Из пятнадцати летчиков в группе осталось теперь только восемь, и еще неизвестно, кому из этих восьми доведется увидеть завтрашнее утро.

До последней минуты все свято верили: война будет на вражеской территории, малой кровью. А пока получается наоборот. Хорошо известно, что враг

несет огромные потери, но он еще яростнее рвется в глубь страны.

Хархалуп твердо знал, что существует некая психологическая грань, перейдя которую иные люди могут потерять веру в свои силы. Конечно, не все и не сразу. Но достаточно одной капельке набухнуть и скатиться в противоположном направлении, как по ее следу потечет другая. Этого не следует допускать. И это самое трудное. Война есть война. Словесной шелухой, хвалебными гимнами тут не прикроешься. Что им сказать? Чтобы защищали Родину? Это они и сами знают. Чтобы не боялись смерти? Они ее боялись, так же как и он. Нет, нужно другое. Он, как командир, обязан не допустить, чтобы отдельные капельки неуверенности превратились в ручей и захлестнули летчиков, породили ощущение беспомощности перед врагом.

Хархалуп подозвал Городецкого:

— Николай Павлович! Сколько, говоришь, исправных самолетов?

— Товарищ командир, я же докладывал: исправны все восемь, но...

— Так это же сила, друзья! А ну-ка, садитесь поближе.

И первым опустился на моторный чехол.

— ...Но после первого вылета, — продолжал Городецкий, — все будут неисправными. Нет воздуха. Привезли по одному баллону на звено.

— Присаживайся, душа промасленная, будет воздух.

На лицах появились улыбки. Хархалуп смотрел спокойно, уверенно. Взъерошил волосы.

— Мой дед рассказывал — его прадед чистейший был хохол, из-под Полтавы; так он на ворованных лошадях за шведами до самой Румынии гнался. Хо-

тел у шведского короля скакуна прихватить. Да так и осел на всю жизнь в Приднестровье. А вот отец дед — тот уже прожженный цыган — за Наполеоном скакал чуть ли не до Берлина.

— На чьих же лошадях? — рассмеялся кто-то.

— Конечно, не на собственных! — Хархалуп состроил такую гримасу, что все прыснули.

Неподалеку заработал на полную мощность мотор. Кто-то с дотошной пунктуальностью проверял его работу на всех режимах. Когда гул несколько стих, Хархалуп спокойно продолжал:

— Немцы захватили небольшой плацдарм на нашем берегу. Конечно, пехота турнет их обратно. Мы же на своих истребителях должны ей помочь. Как, Яша, поможем? — обратился он к маленькому смуглому летчику.

Вопрос застиг Яшу Мемедова врасплох: слегка растерявшись, он огляделся вокруг — товарищи ждали, что он скажет, и решительно произнес:

— Я, мы все, обязательно поможем наземникам. — Мемедов смущенно улыбнулся. — Гнаться ведь будем за фашистами не на ворованных кобылах, а на своих кровных самолетах.

— Правильно, Яша!

— Молодец!

Угрюмые лица разгладились, оживились.

Хархалуп понял: теперь можно о деле.

— Вылетаем через час после взлета первой эскадрильи. Садимся на базовом аэродроме в Бельцах. Оттуда будем прикрывать войска. Нагрузка большая: до семи вылетов с боями. Как, выдержите?

— Нам не привыкать... — ответил за всех Грачев. — Но как фашисты...

— Бить их будем, чтоб чертям тошно стало! А пока давайте подзаправимся. Вот и завтрак.

Прибыла подвода с завтраком. Две девушки-официантки разостлали под кустами скатерти, и летчики расположились прямо на пахучей траве.

Завтрак был беспокойным. Многие старались скрыть свое волнение за шутками и нарочито громким смехом.

Крупное лоснящееся лицо нашего доктора Козьякина приветливо улыбалось каждому, кто подходил перекусить. Он заботливо осведомлялся о самочувствии и тут же выдавал маленькие шарики «Кола».

— Как спалось, товарищ Тетерин? — Все знали, что Леня любит поспать.

— Спасибо. Хорошо, Митрофан Иванович, — ответил тот. Тон был обычный, фамильярно-снисходительный, но заспанное лицо выражало живой интерес, пока доктор отсыпал из коробочки порцию «Колы». Продолжая держать подставленную ладонь, Тетерин, как бы между прочим, заметил:

— Жаль только, ночка коротка.

— Да что ты! — шутливо удивился военврач и зажал ему ладонь с шариками: — По твоим глазам этого не вижу, а лишние шарики тебе во вред: спать не будешь. — И тут же занялся щуплым быстроглазым летчиком: — Как спалось, товарищ Шульга?¹

Васянька старательно прятал в сторону припухшие глаза. Худое, нервное лицо его посерело. Стараясь не дышать на врача, он что-то невнятно проворкотал.

— Ты что это, словно красная девица, глазки отворачиваешь? — допытывался Козьякин, отсыпая кучку коричневых драже.

¹ Шульга Василий Антонович, ст. летчик, помощник командира полка по ВСВ, капитан. 29.04.43 г. не возвратился из боевого задания из района Крымская.

— Да он от твоей лысины отворачивается, слепит она его не хуже солнышка, — вступился Хархалуп.

— А, Семен Иванович! Здрасьте. Как спалось, уважаемый коллега? — «Коллега» было любимым обращением доктора. — О, да я вижу, и на тебя моя лысина действует.

— Не твоя лысина, а мошкара проклятая, — ответил тот, принимая из конопатых рук доктора свою порцию.

— Оно и видно, глазищи-то покраснели, — подковырнул доктор и назидательно посоветовал: — Крепкого чайку хлебни. Утречком хорошо помогает.

— Эх, Митрофан Иванович, не забывай, глазищи мои цыганские, лукавые. Ты бы лучше в душу заглянул. Горит она, в бой рвется.

— Вот это человек! — негромко сказал Иван Зибин. Зибин высказал вслух то, о чем я подумал. Могло ли быть что-нибудь лучше, чем находиться в одном строю с Хархалупом, Грачевым, Викторовым!.. Быть на главном направлении. Учиться побеждать.

Я слушал разговор друзей, и было мне радостно и грустно. Грустно потому, что воевал не с этими людьми, на счету у которых появились уже лично сбитые самолеты.

Да только ли у них! Далеко за пределами полка разнеслась молва о бесстрашных летчиках Ивачеве¹ и Селиверстове. На глазах у пехотинцев они вдвоем разогнали большую группу фашистских бомбардировщиков. Все с уважением говорили о мужествен-

¹ Ивачев Константин Фадеевич, комэск, ст. л-т, 1911 г.р. 14.10.41 г. не вернулся с б/з из р-на Троицкое — Николаевка Запорожской обл. На момент гибели сбил семь самолетов противника.

ном Атрашкевиче, об энергичном, смелом Шелякине¹, о бесшабашной и неразлучной паре — Фигичеве и Дьяченко², о многих других наших ребятах.

За все это время мне ни разу еще не приходилось попадать в тяжелые переделки, о которых то и дело рассказывали летчики, чтобы взрывались цистерны, горели машины, переворачивались танки.

Правда, Шульга уверял, будто на днях от моих бомб одна зенитка скособочилась. Но сам он в тот вылет куда удачнее отцепил свои бомбочки. Точно в переправу! Все были уверены, что он решил ее протаранить, и, когда «Чайка» взмыла от воды свечой, каждый вздохнул с облегчением.

Кто мог подумать, что он способен на это! Тщедушный москвич с грустными карими глазами, Шульга незадолго до войны бросил было летать. Несколько дней вражеского нашествия неузнаваемо преобразили его.

На противоположной стороне аэродрома заработал мотор, за ним второй. Вскоре все вокруг огласилось густым ревом.

— Хлопцы, кончайте завтракать, — заторопил своих Ротанов, — первая эскадрилья взлетает, пора к вылету готовиться.

Над нами, почти цепляясь колесами за кусты, пронеслось звено майора Иванова. Мы хорошо видели

¹ Шелякин Федор Иванович, зам. кэ, ст. л-т, 1915 г.р. 13.07.41 г. на «МиГ-3» не вернулся с боевого задания из района Кишинева. На момент гибели сбил четыре самолетов противника

² Дьяченко Леонид Леонтьевич, летчик, мл. л-т, 1916 г.р. 25.07.41 г. на «МиГ-3» в районе д. Осиповка был ранен в в/б, при доставке в больницу умер. Похоронен 26.07.41 г. в местечке Фрунзевка Одесской области. К моменту гибели сбил четыре самолета лично и один в группе.

его крупную, устремленную вперед голову, долговязого Дьяченко и орлиный профиль Валентина Фигичева.

Следом за ними взлетел капитан Атрашкевич, его сопровождали младшие лейтенанты Семенов¹ и Миронов². Замыкало звено Панкратова. Не делая привычного круга над аэродромом, самолеты сразу легли на курс и растаяли в плотной синеве утра.

— Пошли, — позвал меня Зибин, — нам минут через тридцать в первую готовность.

Не прошли мы и половины пути, как над аэродромом появился одинокий «МиГ». Мотор его работал с большими перебоями. Истребитель с ходу сел и зарулил на стоянку. Навстречу нам, что-то крича, бежал Коцюбинский. Наконец удалось разобрать: «Командир полка вернулся с задания».

— А ты куда бежишь как угорелый?

Он махнул рукой в сторону командного пункта и, не отвечая, помчался дальше. Иван проводил его презрительным взглядом.

— До войны неплохим летчиком считался. Активист. Красиво на собраниях агитировал... А война началась — в эскадрильного писаря превратился. Смотреть на таких не хочется.

— Кому-то и писарем надо быть, не из каждого хороший солдат получается, — заметил я. — Не станешь же ты отрицать, что перед вылетом боишься?

¹ Семенов Евгений Алексеевич, летчик, мл. л-т, 1915 г.р. 05.07.41 г. на «МиГ-3» не вернулся с боевого задания из района Фалешты.

² Миронов Константин Игнатъевич, летчик, мл. л-т, 1915 г.р. 22.06.41 г. в темноте при возвращении с б/з в районе Мардаровка скапотировал на посадке. 24.06.41 г. скончался в больнице города Котовска. Похоронен там же. Сбитых самолетов противника не имел.

Но ты подавляешь в себе эдакий подленький голосок: вдруг собьют? И со мной то же бывает, и со всеми. И все-таки в бою думаешь уже о том, как врага уничтожить. А Коцюбинского на это не хватило.

— Знаешь, — Зибин внезапно остановился, — с плохой меркой подходили к летчику до войны. Оступился человек — и сразу хорошего в нем будто уже и нет.

Иван сердито сплюнул и огляделся вокруг. Я не отвечал. Мне не хотелось прерывать ход его мыслей. Я подумал, что за немногие дни войны, словно свежим ветром, с людей смахнуло предвоенную замкнутость.

Отдаленный гул мотора вновь остановил нас. Звук приближался. Из-за холмов выскочил истребитель. Летел он низко и как-то неуклюже разворачивался из стороны в сторону.

— Смотри, смотри! — закричал Иван. — Садится без шасси!

Самолет не долетел до аэродрома и плюхнулся за кукурузным полем. В небо поднялся столб черного дыма.

Когда мы подбежали к месту посадки, летчика уже вытащили из кабины и осторожно усаживали на продырявленное снарядами крыло. То, что мы приняли вначале за дым пожара, оказалось бурой пылью. Ветер медленно относил ее в сторону. В окровавленном летчике я с трудом узнал Женьку Семенова из первой эскадрильи.

Кровь товарища... Я впервые видел ее так близко. На гимнастерке, на лице, в светлых волосах... Через всю щеку зияла рваная рана. Говорил он с трудом и то и дело выплевывал сгустки крови. Пока врач обрабатывал рану, из обрывочных фраз мы узнали, что эскадрилья Атрашкевича вела тяжелый бой с бом-

бардировщиками и «Мессершмиттами». На звено Атрашкевича свалилась четверка «худых», как называли мы «мессеры», потом еще пара. Семенова подбили, но из боя он не ушел. Наконец ему удалось зажечь одного «худого», и тут его ранили.

Женю осторожно усадили в санитарную машину. Глаза его лихорадочно блестели.

— Товарищ майор, дайте мне самолет, — горячо шептал он. — Завтра же полечу в бой. Отплачу им... Бить гадов можно, только выше летать надо... — У него уже начинался бред. — На земле наши бьют их — дым столбом.

Иванов склонился над ним:

— Будет тебе боевой самолет, дорогой мой, обязательно будет, а пока езжай, подлечись.

Распорядившись убрать израненный истребитель, майор подозвал Хархалупа:

— Семен Иванович! Готовься! Будем помогать Атрашкевичу. Полечу с вами.

Люди заторопились к машинам. Мы тоже заняли первую готовность на своих «Чайках». Справа от меня стоял самолет Дубинина, поодаль, за копной сена, виднелась желтохвостая «Чайка» Зибина — до войны она принадлежала четвертой эскадрилье.

Подбежал Потехин, укладчик парашютов. Вчера он приехал из Бельц с рукой на перевязи. Потехин подтянулся в мою кабину, и прыщеватое лицо его сморщилось от боли.

— Запуск моторов по двум белым ракетам, — сообщил он, внимательно осмотрел парашют и, оберегая забинтованную руку, осторожно спустился на землю.

Как меняются люди! Совсем недавно этот человек боялся выстрела, а сейчас, стоя на посту, раненный, под бомбежкой, не струхнул, не кинулся прочь —

стал тушить горящую «Чайку». «Все же на войне люди становятся проще, чище, умнее! — думал я. — Может, они остались, в сущности, такими же, но все доброе в них, человеческое, становится виднее».

Солнце пригревало затылок. Нудная неподвижность в кабине становилась мучительной. Чего бы не дал я сейчас, чтобы размять поясницу, с наслаждением вытянуть ноги! Но привязные ремни позволяли лишь поерзгать на сиденье парашюта.

Уже давно скрылась на западе группа Хархалупа, несколько раз успели взлететь в небо и приземлиться с летчики Барышникова, а мы все сидели, ждали сигнала к вылету.

Ждать вообще неприятно. А томиться неизвестностью перед боем — еще хуже. Где-то идет смертельная схватка, кто-то, сраженный, бросает последний взгляд на землю. Может, и тебе грозит такая же участь. Ну что ж — только б не ждать!

Подошел Бессекирный. Заглянул под крылья на реактивные снаряды, погладил их темные головки, словно напутствовал: «будьте умниками, попадайте точно в цель». Ему не терпелось поскорее испытать «эрэсы» на врагах. Бессекирный уже здорово надоел мне своими наставлениями, но его повышенное внимание к моему самолету было приятно, оно напоминало, что моя миссия более значительна, нежели остальных летчиков, у которых под крыльями висят обыкновенные бомбы.

Ваня Путькалюк передвинул ветки ивняка, и над моей головой образовалась плотная тень. Свежий ветерок играл в ветвях; слабый шорох пожелтевших листьев убаюкивал. Уставшие глаза сами собой начали закрываться...

— За-пу-уск! — донеслось откуда-то с края стоянки.

— Запуск! — взвился Бессекирный и вместе с Путькалюком принялся отгаскивать маскировочные ветки.

Взревели моторы. Восемь «Чаек», сомкнув строй, взяли курс на запад.

* * *

Высота тысяча метров. Над нами плывут редкие кучевые облака — признак хорошей погоды. Четкий строй машин, ровный успокоительный гул моторов, близость товарищей — все это поднимает настроение, вселяет уверенность.

Бельцы. Южная окраина. Улицы пустынные. Редкие прохожие с опаской поглядывают вверх. По легкому волнению самолетного строя чувствуется: летчики высматривают родные места. Вот и моя улица. Я хорошо различаю прямую линию пестрых нарядных домиков, что тянутся от центра на окраину мимо епископства с огромнейшим садом и скрываются за возвышенностью в сторону Унген. А там, в двух-трех десятках километров — враг. Жаль, не видно моего дома — он остался далеко в стороне. Еще один, последний взгляд на город, в котором прожито больше года, и в сторону, где должен быть дом, что помнит дни беспечной молодости.

Впереди жестокий и сильный враг; как бы отвечая моим мыслям, Дубинин напоминает об этом покачиванием крыльев.

Через несколько минут внизу другая дорога. Остовы обгоревших машин, глубокие следы воронок на зеленом ковре хлебов, исторгающие черный дым коробки танков. Чьи они? Определить трудно; опознавательные знаки обгорели, а мне еще ни разу не

приходилось видеть с воздуха ни свои, ни чужие танки.

Справа блеснула река. Прут. Там фашисты. Нервное напряжение увеличивается. Эти кучевые облака сейчас особенно опасны. Сверху, как из-за ширмы, будут отлично видны наши серебристые «Чайки».

Нас неожиданно окружили темно-оранжевые клубочки зенитных разрывов. Дубинин резко сманеврировал влево и вниз. Крыло к крылу с Дубининым держался Зибин. Я приотстал: так легче держаться и можно вести наблюдение. На земле мелькали редкие фигурки, виднелись свежие окопчики, несколько брошенных повозок. Не стрелять же по ним реактивными снарядами!

Опушка ошетибилась зенитными «эрликонами», и трассы снарядов потянулись к нашим хвостам. Туда сразу же бросилось звено Крейнина. Это было предусмотрено на земле. И тут на нас скрестились тысячи трассирующих огоньков.

Мы всегда удивлялись зенитной защите немцев. Ни одна штурмовка не обходилась еще без пробоев в чьем-нибудь самолете. Даже в походных колоннах, на марше фашисты обстреливали нас из зениток. Но в такой плотный огонь я попал впервые. Казалось, все трассы нацелены в меня. Тело невольно сжалось в ненадежном укрытии между звездообразным мотором и бронеспинкой. Несколько вспышек мелькнуло в плоскости вращения винта.

Дубинин нацелил свою «Чайку» на ближайший лес — немцы вели оттуда особенно плотный огонь. Иван не отставал от него. Их пулеметы ударили одновременно.

«А ведь и у меня их четыре», — вспомнил я. Но открывать огонь было уже поздно. Мы выскочили на лес, и он зеленой стеной укрыв нас от зенитного ог-

ня. Сквозь макушки деревьев я увидел целое скопище грузовых машин и танков с огромными, во весь бок, крестами. Они незаметно приткнулись между деревьями вдоль опушки леса, по краям проселочной дороги. Их сосредоточили здесь, должно быть, для удара по Бельцам.

Командир эскадрильи с боевого разворота устремился в атаку, Зибин за ним. Я пошел за Иваном, но опять немного отстал, чтобы точнее прицелиться.

Вот это цель! Как раз для «эрэсов»! Я поймал в перекрестье наиболее открытый объект — танк. В поле зрения попали только что сброшенные Дубининым и Зибиным бомбы. Они отделялись плавно, нехотя, точно не желали расставаться со своими самолетами.

И опять взгляд на землю. Черный крест на вражеском танке быстро увеличивался. Расплывчатые очертания белой окантовки становились четче. Пора! Из-под крыльев сорвались две хвостатые кометы и тут же взорвались в стальном корпусе. Вслед за Дубининым я вышел из пикирования и не смог удержаться — взглянул вниз. По всему лесу грохотали разрывы бомб, и над всем этим гигантским смерчем вытянулся вверх огромный черный столб дыма — прямое попадание моих снарядов.

«Одна атака — один танк горит. А у меня под крыльями еще шесть штук, — радостно подсчитывал я, — это еще три атаки. Не бывать им, гадам, в моем городе...»

Что-то резкое ударило в крыло. Самолет бросило набок.

«Засмотрелся на землю и столкнулся с ведущим?» Я огляделся по сторонам: никого. Вторая очередь «Мессершмитта» прошла верхнее крыло и напомнила, что я не на полигоне, где можно разглядывать точные попадания. Перед самым носом пронесся

«худой». Моя «Чайка» вздрогнула, отпрянула в сторону. Я закрутил ее в глубокий вираж. Где же наши? Осмотревшись, я обнаружил их далеко в стороне, на темном фоне плывшего над лесом дыма. Над серебристыми «Чайками» проносились сверху знакомые силуэты. «Худые»! Сколько же их! Пара, две... четыре! Скорее к товарищам, в свалку вертящихся машин. В куче, среди своих, безопасней. Поздно. Меня атаковали сразу два немца.

Выскальзываю из-под атаки, пытаюсь прорваться к своим. Не удастся. Атака следует за атакой. Пулеметные очереди проносятся совсем рядом. Для меня это не новинка — подобное я уже испытывал.

Нам часто говорили: «Одиночка» — находка для «месса». Неужели одному — смерть? И почему я их не атакую? Ах, да! Я же роковая «одиночка»! Не выйдет! Главное — взять себя в руки. Увернуться от атаки и попробовать напасть самому, в таком положении это лучшая самооборона.

Фашисты, чувствуется, уверены в победе, атакуют все нахальнее. Я внимательно присматриваюсь к нападающим, пытаюсь разгадать их намерения. Кажется, одного из «мессеров» я знаю. Неужто мой старый знакомый, «хлюпик»? Такая же маленькая голова едва возвышается над кабиной.

В стороне по-прежнему каруселят «Чайки» и «мессеры». Наши успели оттянуться к своим войскам. Прорваться, во что бы то ни стало прорваться к ним. Но как?

Теперь я в выгодном положении, все чаще огрызаются мои пулеметы. Две очереди почти достигли цели. Второй немец резко отвалил в сторону и стал держаться на почтительном расстоянии.

А почему бы не пугнуть их реактивными снарядами? Но как стрелять, и можно ли вообще исполь-

зовать «эрэсы» для воздушных целей? Тут я вспомнил, что взрыватели установлены на шестьсот метров, и обрадовался несказанно: примерно на таком расстоянии фашисты чувствуют себя в безопасности и не обращают на наш огонь внимания. «Стрелять надо строго в хвост, — решил я. — Так проще».

Немцы тем временем продолжали нападать. Я отбил еще одну атаку. Бессильный зайти ко мне в хвост на вираже, фашист проскочил под «Чайкой», и я увидел, как он злобно грозит мне кулаком. Теперь я не сомневался: конечно же, те самые «хлюпик» и «желтоносик», в бой с которыми я так необдуманно ввязался во время своего первого вылета, когда мне удалось спасти Гичевского.

«Если вы, господа фрицы, не сбили меня в первой схватке, то сегодня у меня за плечами несколько воздушных боев. С вашими повадками я уже знаком». По голубой цифре «тринадцать» на хвосте самолета они, видно, тоже поняли, с кем имеют дело. Накал боя возрос. Немцы начинали нервничать. А я почувствовал себя увереннее. Как и в тот памятный первый день войны, что-то похожее на азарт закипало внутри.

Пока длинной очередью я отпугивал второго «Мессершмитта», «хлюпик» круто спикировал. Разворотом под него я легко увернулся от атаки и проследил, как он на предельной скорости проскочил в сторону и взмыл пологой горкой вверх. Я оказался в выгодном положении. Вывел «Чайку» из разворота и тут же очутился у «Мессершмитта» в хвосте.

Но что это? Чувствуя, что мне не угнаться за ним, он дразнит меня, помахивает крыльями. Пытается заманить под атаку своего напарника? Нет, «желтоносик» еще далеко. Дразни, дразни... Блеск покачиваемых крыльев помогает мне лучше прицелиться.

Вот «месс» на перекрестье сетки. Нажимаю кнопку пуска и почти ощущаю, как электрический импульс врывается искровым разрядом в ракету. Под крыльями раздается свистящий шелест. Два огненных метеора соскакивают с салазок и молниеносно настигают врага.

Трудно передать словами состояние при виде первого сбитого самолета. Об этом событии летчик начинает мечтать с того момента, как впервые садится в кабину истребителя. И не каждому выпадает дожждаться мгновенья, когда вражеский самолет, точно детская игрушка, беспорядочно кувыркаясь, помчится вниз, а за ним, до самой земли, потянется черный шлейф дыма.

Неожиданно из-за облаков, блеснув на солнце, один за другим начали выскакивать вражеские истребители. Сразу мне показалось, что «Мессершмиттов» очень много и все они немедленно бросятся на меня. Чувство страха — не из приятных. К нему трудно привыкнуть: инстинкт самосохранения естествен. Со временем он притупляется, но тогда я еще не умел загонять его вглубь, и прежде чем сработал рассудок, все заглушило сознание опасности. Я бросил свою «Чайку» вниз, туда, где дрались мои товарищи, с единственной целью: спастись за их спинами.

«Чайки» — «веселые ребята», как их с легкой руки Лени Крейнина окрестили летчики, все еще отбрыкивались от «мессеров». Я камнем влетел в клубок ревущих машин и увязался за хвостом сорок четвертого.

В гуще боя все, что ни делается, пронизано одним чувством — взаимной выручкой. Я стрелял вдогонку «мессерам», кто-то отбивал их из-под моего хвоста.

В воздухе по-прежнему сверкали огонь и металл.

Роем слепней носились тупоносые «Чайки». Плавные ястребиные круги описывали размалеванные вражеские истребители.

Вдруг что-то резко изменилось в поведении фашистов. Они бросили «Чак» и пустились наутек. Я выпустил по одному из них последние снаряды и подстроился к ведущему.

Вскоре все объяснилось: на вражеских истребителей посыпались наши «МиГи», и над нами в голубоватой дымке разгорелась новая, еще более жесткая схватка. Схватка, о которой потом долго говорили в полку.

Мы благополучно приземлились на своем аэродроме. Навстречу мне бежал Бессекирный, Путькалюк делал руками знаки, указывая место стоянки. Было видно, с каким нетерпением ждали возвращения наши технари, наши бесценные боевые друзья. Они напряженно всматривались в каждый садящийся истребитель и, опознав «своего», с радостным криком: «Мой сел!» — мчались навстречу.

Я заруливал на стоянку все еще под впечатлением боя и не замечал, как бедняга Бессекирный, держась за крыло, повисал иногда в воздухе от большой скорости.

Мотор выключен. По всему телу разлилось блаженство. Воля, главная сила в бою, сразу обмякла. Жужжали еще не успокоившиеся приборы, потрескивали раскаленные цилиндры, шипел в трубках воздух. Я с жадностью воспринимал свое возвращение в мир безопасности, безмятежно наслаждался тишиной и степным простором.

На кабину навалился Бессекирный.

— Жив? Не ранен?

Я отрицательно мотнул головой.

— Сегодня, Кузьма, у меня было настоящее боевое крещение. Спасибо тебе за снаряды.

— Сбил фашиста?!

Я промолчал. Тщательно, с излишней педантичностью, осмотрел кабину, выключил тумблеры, не торопясь, стянул перчатки и сунул их вместе со шлемом за прицел.

— Что молчишь? Оглох?

Так же не торопясь, я выпрыгнул из кабины, прибрал пятерней мокрые волосы и в ответ на нетерпеливые, возбужденные взгляды только теперь утвердительно кивнул головой.

— Путькалюк, ты видишь — он оглох! — вне себя закричал Бессекирный — Ну, говори же! Сбил? Почему молчишь?

— Зажег, а не оглох, — пояснил я, не находя подходящих слов.

— Кого, что зажег? — не вытерпел спокойный техник.

— От твоих снарядов, Кузьма, нашли себе могилу фашистский танк и один «хлюпик».

Ответ мой привел их в еще большее недоумение. Теперь взгляды как бы вопрошали: «В своем ли он уме?»

Тогда я рассказал, как штурмовал танки и кто такой «хлюпик».

Весть о моей первой победе над «Мессершмиттом» облетела эскадрилью. Еще не иссякли восторги Бессекирного и Путькалюка, как Богаткин, Германовичи, Паша Гичевский и кто-то еще примчались поздравить с победой. Меня тормозили, требовали вновь и вновь пересказывать подробности боя.

— Погоди, Грицко, — перебил вдруг Крейнин, — не заврался ли немного с радости?

— Да ты же сам видел, как падал «мессер»... — не-

уверенно пробормотал я. — Вон и Иван Зибин подтвердит.

— Видеть-то видел, а вот почему ты думаешь, что это именно «хлюпик»?

Я недоуменно взглянул на Крейнина, потом на Германошвили — тот уже латал пробоины верхней плоскости и в напряженной тишине ждал, что я отвечу.

— Я его рассмотрел в бою так же хорошо, как сейчас вижу, что Вазо успел вылить себе на брюки уже половину краски.

Германошвили чертыхнулся, а Крейнин даже языком прищелкнул:

— Мастак ты на выдумки, однако! — и, смеясь, повернулся к Зибину. — Он рассмотрел его! Да ведь до «месса» было черт знает сколько!

— И загорелся он от второй, а не от первой пары «эрэсов», — подсказал Иван, — а первая взорвалась в стороне.

Я хотел было возразить Зибину, что первые два снаряда были выпущены по танку, но тут же сообразил: они ведут разговор о другом, кем-то сбитом самолете, и, вероятно, принимают его за мой. И я вновь в подробностях обрисовал воздушный бой с двумя «Мессершмиттами» до того, как присоединился к их группе.

Германошвили, весь в серебристой краске, не выдержал и закричал сверху:

— Вазо лучше всех смотрел. Мой командир сбил два «хлюпик». Одын — мы видэл, а другой — командир сам смотрэл.

Его предположение заставило всех взглянуть на бой по-другому. Но восстановить полную картину схватки не удалось; раздалась боевая команда, все

разбежались по машинам, и вскоре по сигналу зеленой ракеты эскадрилья вновь обрушилась на танки.

Как мы и предполагали, в тот день фашисты под прикрытием авиации несколько раз переходили в наступление и даже слегка расширили захваченный плацдарм. Но наш артиллерийский огонь, воздушные атаки и контратаки стрелкового корпуса приостановили их.

Солнце было уже в зените, и волны раскаленного воздуха, что поднимались с земли, вместе с дымкой на горизонте создавали впечатление пожара, медленно ползущего к аэродрому, когда мы после очередной, четвертой по счету, штурмовки внезапно почувствовали страшную усталость.

Привезли обед. Жара и боевое напряжение перебили аппетит. Девушки подвозили еду прямо к самолетам, но летчики к ней почти не притрагивались и предпочитали холодный компот. Загорелые лица заметно осунулись, глаза покраснели.

Техники сами выбились из сил, но, как могли, старались облегчить нам жизнь. Путькалюк смастерил легкий тент и всякий раз до вылета устанавливал его над моей кабиной навстречу палящим лучам. Потом вкопал в землю бидон из-под молока — теперь у меня под рукой всегда была свежая прохладная вода.

— К завтрашнему дню выроем маленькую землянку, — пообещал техник, — сеном застелем. Будешь отдыхать, как в царских хоробах.

— Спасибо тебе, Ваня. Сам-то немного отдохни, а то нос да уши остались.

Неожиданно к самолету подъехал замначштаба полка майор Тухватуллин и развернул передо мной карту.

— Видишь, — он указал на синий карандашный крестик в районе Могилева—Подольска, — здесь утром сел подбитый «Ю-88». Колхозники пытались захватить экипаж, но он отстреливается из пулеметов и никого не подпускает. Самолет нужно уничтожить. Майор Матвеев приказал сделать это «эрэсами». Вылетишь немедленно.

Пока я устраивался в кабине, Тухватуллин сообщил потрясающую новость: у Хархалупа после воздушного боя на крыле оказались человеческие мозги.

Случай этот, беспримерный в авиации, в первую минуту меня ошеломил. Казалось, такой поступок просто невозможен, да и отважиться на это — значит самому рисковать жизнью. Зачем же рубить плоскостью?

— Может, путаете? — нерешительно спросил я.

— Нет-нет, так и было, — заверил майор, складывая карту.

* * *

«Юнкерс» стоял посреди поля. Вокруг него на почтительном расстоянии виднелись человеческие фигурки. При моем появлении фигурки замахали руками и кольцом двинулись к самолету. Может, я волновался, может, не учел поправку на ветер, но первая пара снарядов легла далеко позади «Юнкерса». Экипаж моментально выскочил из самолета и залег в поле. Со второй атаки снаряды разорвались в плоскости; бомбардировщик завалился набок и загорелся. Я проследил, как кольцо окружения быстро сомкнулось вокруг фашистов, на прощание покачал колхозникам крыльями и лег на обратный курс.

Стоянка «Чаяк» была пуста, да и ряды «МиГов» поредели.

— Все вылетели сопровождать бомбардировщики, — сообщил мне Путькалюк. — О Хархалупе слышал?

Я решил, что есть новые сведения, и отрицательно покачал головой.

— И о Грачеве ничего не знаешь? — удивился Иван. Он забыл, наверное, что я еще не вылезал из кабины после полета.

— Хархалуп таранил фашиста на парашюте! А Грачев против четверых «худых» дрался и «завалил» одного.

— Вот это герои! — восторженно подхватил Бесекирный, даже не поинтересовавшись результатами своих «любимчиков» — «эрэсов».

Вести об этом бое наших летчиков быстро распространялись, дополнялись «детальями», хотя толком подробностей боя никто не знал.

Я отправился на КП эскадрильи. Надо было доложить, что задание выполнено, и заодно узнать результаты боя.

Было душно. Издалека докатывались глухие удары, от которых вздрагивала земля. Над головой простиралась миражная безоблачная высь. Но на западе уже клубились грозовые тучи. Они медленно поднимались над синеющими холмами и солнечными долинами Молдавии, ширились, неумолимо двигались к востоку. Я посмотрел в ту сторону, и мне представился огненный клубок сцепившихся самолетов, а в реве и грохоте боя — окаменевшее лицо Хархалупа, перекошенный ужасом взгляд фашиста и страшный удар крылом. По спине побежали мурашки. Потом я попытался вообразить Петю Граче-

ва: вокруг в смертельной схватке носятся хищные «мессеры», а он, распаленный азартом боя, почти кричит:

Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет...

И вдруг эта мелодия явственно отозвалась в сознании. Она теперь сливалась с запахом знойных полей, ее тревожно выстукивало сердце:

...Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет...

Затрепетали налитые колосья. Со стороны Днестра вновь гулко застонала земля. Там в эти минуты рвутся фашистские снаряды, враги кромсают молдавские сады и виноградники, поджигают крестьянские хаты, уничтожают все, что с детства вошло в нашу плоть и кровь одним словом — Родина.

Я тревожно глянул на небо и ускорил шаги.

Командный пункт эскадрильи оборудован нехитро: копешка сена, неглубокая щель и телефон, дозвониться по которому в штаб полка — задача нелегкая: на одном-единственном проводе аэродрома «висят» все эскадрильи и наблюдательные пункты. Адъютант Медведев сообщил: штаб уже осведомлен об уничтожении «Юнкерса». Известно также, что колхозники захватили фашистских летчиков и сдали их в штаб дивизии. Затем загадочно сказал: к нам в эскадрилью выехал один товарищ, и мы должны радоваться его приезду.

«Какое-нибудь начальство из дивизии, — недовольно подумал я, увидев пылящую вдали машину, — кто бы это к нам пожаловал?»

Возле копны машина притормозила, и из каби-

ны — я остолбенел — в новеньком комбинезоне выпрыгнул и важно подошел ко мне...

— За сбитого «мессера», за взорванный «Юнкерс», за испытание «эрэсов»...

Я не верил своим глазам: торжественно и серьезно, без искринки смеха, меня поздравлял... Яковлев. Наконец он не выдержал и захохотал:

— Чего глазищами-то моргаешь? Здорово!

— Колька?! Чертушка! Ты же... Жив?

— Ну, вот и встретились, — сказал он просто, будто только вчера мы разошлись после веселого ужина.

Ну и встреча это была! Прибежал Гичевский, сразу тоже не поверил, а потом бросился обнимать Кольку. Набежали техники, оружейники, и все тискали, качали его — живого, но уже вычеркнутого из списков довольствия. Удивлению, расспросам, радости не было конца.

Звзвилась сигнальная ракета. Мы вылетели на очередную, кажется, шестую в этот день, штурмовку — подсобить пехотинцам.

Кромсали врага здорово. С оглушительным треском взлетали в воздух автомашины, лопались подожженные танки, переворачивались орудия. Воды Прута бурлили, принимая взорванные переправы, трупы гитлеровцев.

Напряженным был этот день — день возвращения Яковлева. Ноги подкашивались, в голове шумело, каждый мускул гудел от усталости, но успехи наземников радовали нас, прибавляли сил. И когда нам передали, что войска просят подавить вражеские батареи за Прутом, мы слетали еще разок.

Садись уже в темноте. На стоянке ждал Яковлев.

— Семь боевых вылетов! — взволнованно повторял он. — Даже в кресле пассажирского самолета си-

деть семь часов подряд — пытка, а на истребителе, в бою, под огнем!..

— Только бы не отступить, Колька. — Шульга в изнеможении присел на ящик. — Ради этого будем летать еще и еще.

Я попросил Яковлева рассказать, что произошло с ним после того, как его сбили.

— Плен и побег; — засмеялся он в ответ и начал торопить: — Побежали, ребята, к Хархалупу, он сел только что. Узнаем подробности боя.

«Плен... Самое страшное, что может случиться с солдатом на войне, — думал я, устало шагая за Яковлевым. — Может ли быть что-нибудь мучительнее бессилия перед врагом, тревожнее полной неизвестности: что произойдет через час? Завтра? И наступит ли это завтра? Каким ожесточенным ни бывает бой — там ты свободен, ты хозяин своей судьбы, все зависит от тебя. Но в плену...»

Неподалеку от командирской «эмки» скучились летчики. Хархалуп и Иванов — оба рослые, плечистые, под стать друг другу — на голову возвышались надо всеми.

Когда мы подошли, командир полка уже подвел итоги дня:

— Наступление фашистов по всему фронту сорвано. Враг снова отброшен за Прут. Наши летчики штурмовыми действиями оказали большую помощь наземным войскам, и они в присланной телеграмме благодарят вас от всего сердца.

Как приятно слышать такое!

Летчики взволнованно зашумели.

— Передайте и нашу благодарность наземникам. Мы всегда готовы помочь! — крикнул Грачев.

Когда возбуждение улеглось и летчики отправились ужинать, Иванов отвел Хархалупа в сторонку:

— Вот что... Ты на меня, Семен Иванович, не обижайся. — Глаза Иванова подобрели. — Короче, хочу предупредить тебя: не увлекайся в бою.

— Но ведь летчиков в бой веду я, — возразил Хархалуп, — пример командира... Тем более сейчас. Фашисты так и прут.

— Это хорошо, что ты личным примером... Летчики верят тебе, смело дерутся, — майор прищурился, представив, должно быть, картину боя. — Понимаю тебя: у всех одно желание — уничтожить врага. Но и о людях нельзя забывать.

— Понял, товарищ командир, учту, — упрямо согласился Хархалуп. — А все-таки драться надо бесстрашно, дерзко.

— В бою одного бесстрашия мало. Важнее командирское хладнокровие, умение обеспечить успех всей группы...

Яковлев потянул меня за рукав:

— Взглянем, чем он фрица трахнул.

В левом предкрылке самолета Хархалупа была вмятина. Петя Грачев, брезгливо потирая руки, рассказывал, как он сам отдирает клочок волос, и какое-то месиво с крыла.

— Как это случилось?

— Бой был тяжелый. Сначала «худые», потом две группы «Юнкерсов». Викторов звеном и мы с Ротановым закрутились с «мессерами», а Хархалуп набросился на бомберов...

Петя рисовал бой красочно, выразительно жестикулировал. Он вновь переживал схватку с четырьмя вражескими истребителями.

— Одного я рубанул с ходу, а Тима так всыпал другому, — Грачев раскатисто захохотал, — эх, фриц как заштопорит — умора, прямо на своих!

— Смейся, смейся, — перебил его Николай Столя-

ров, — не окажись там Атрашкевич со своими хлопцами, была бы нам такая умора...

— Ну а Хархалуп? — допытывался Яковлев.

— Прелюбопытнейший случай! — вновь оживился Грачев. — Семен Иванович нагнал на фрицев страху: одного «Юнкерса» зажег сразу же, на второго нацелился. И надо же — в это время БС у него отказали. Он их перезаряжать, а скорость — будь здоров! Фрицы видят, прямо на них «МиГ» мчится. С перепугу из «Юнкерса» засигали вниз — один, другой, третий. Яша своими глазами видел.

Мемедов, ведомый Хархалупа, до сих пор скромно стоял в сторонке и отмалчивался, слушая, что говорят другие.

— Я что, — засмеялся он, — сам за командира струхнул, подумал: таранить решил «Юнкерса», а когда в крыло ему фашист врезался, я даже глаза закрыл.

Уже совсем стемнело. Все разместились в «полуторке». Дорогой Яковлев склонился к Грачеву и горячо зашептал:

— Петька, будь другом — попроси Хархалупа.. Понимаешь, мне бы самолет — и с вами. Силы — хоть отбавляй, а злости — на десятерых!

На западе огненным заревом пылали облака.

* * *

После вчерашнего побоища у Скулени—Фалешти гитлеровцы присмирели. Правда, с утра они сделали попытку снова зацепиться на восточном берегу Прута, но огонь нашей артиллерии и штурмовые удары с воздуха отбросили их за пограничный рубеж.

Во второй половине дня на земле установилось некоторое затишье. Затишье перед бурей!

Вражеская авиация переключилась на усиленную разведку. За день нам удалось сбить четырех «каракатиц» — так мы прозвали неуклюжие внешне «ПЗЛ-24». Одну кокнул я, последнюю сбил вечером Селиверстов.

Вечером же в боях над Прутом старший лейтенант Ивачев и младший лейтенант Довбня сбили по одному «Юнкерсу». То была четвертая победа Ивачева, а у Кузьмы Селиверстова — третья. Отмечая ее в компании за ужином, Селиверстов и Барышников, должно быть, немного переборщили. Возвращаясь с песенками в общежитие, они перепутали дороги: вместо школы наткнулись на какой-то склад. Завязалась перебранка с часовым. Подошли начпрод БАО и техник по приборам Рейтер.

То ли обратная дорога была слишком длинной, то ли взгляды на жизнь не привели к истине, но финал спора утром всем стал известен: Рейтер удирал от Барышникова, а Кузьма с пистолетом в руке гонялся за начпродом и наткнулся на... комиссара полка.

Селиверстову в подобных ситуациях вечно не везло. Даже на войне. Чупаков оказался на высоте — уложил его спать на гауптвахте. А утром... Кто сказал, что рассвет приносит протрезвление? Кузьмы на гауптвахте не оказалось. Но как бы то ни было, запись в историческом формуляре полка гласит: «Этот день, 28 июня, был особенно памятным и торжественным... Полный отваги и героизма, он вечно будет храниться в сердцах личного состава полка».

С самого рассвета по небу ползли рваные, тяжелые тучи, но жизнь на аэродроме бурлила: техники латали поврежденные самолеты, летчики проверяли их в воздухе, а между вылетами решались дела насущные.

Мой и яковлевский самолеты стояли поблизости. Мы добирались с КП на стоянку вместе. Какая-то непонятная вялость овладела мной. Зато Коля был на седьмом небе: он получил самолет. Правда, «МиГ» был избит и неисправен, но Яковлев вместе с техником Штакуном уже подремонтировал его и после обеда готовился к облету. Он без умолку рассказывал, как они доставали запчасти, как втиснулись без очереди в ремонтные мастерские и как, наконец, тащили истребитель обратно на аэродром.

Оживленно было и у грачевского «МиГа».

— О чем спорите? — весело крикнул Яковлев.

— С чего ты взял? — удивился Петя. — Просто обсуждаем детали предстоящего вылета. Подсаживайтесь, послушайте.

— Мы уже убедились, — продолжая начатый разговор, спокойно говорил Виктор¹, — при равных условиях немцы вступают в бой неохотно.

— А лобовых атак, как черт ладана, боятся, — вставил Петя Грачев. — Вчера пара «худых» как сиганет от меня переворотами...

— Но хитрят паразиты здорово, — заметил Николай Лукашевич.

— Мы должны быть хитрее фрицев, — задумчиво произнес Виктор.

— Правильно! — подтвердил незаметно подошедший Хархалуп. — Вот и расскажи, как это сделать.

Семен Иванович очень ценил серьезного вдумчивого командира звена. И не только он. Всем были по душе прямой нрав, скромность и отвага лейте-

¹ Викторов Виктор Михайлович, комзвена, л-т, 1912 г.р. 21.07.41 г. не вернулся с б/з из района Рыбница. К моменту гибели сбил три вражеских самолета.

нанта. Викторов уже успел сбить три немецких истребителя.

Летчик улыбнулся, потер ладонью лоб, пригладил волосы.

— Немецкие истребители умело используют облака и солнце. Иногда им удается обмануть наших самолетами-приманками. Подлетит такой одиночка, а то и пара «мессеров».

Прямо просят, чтобы сбили. И даже хвост подставят. Некоторые поддаются. А немец покрутился-покрутился, и удирать, подводит под удар своих или просто уводит в сторону.

— Он прав. Меня на этом под Бельцами срубили, — перебил Ротанов и горько вздохнул: — Жаль «сороковку», хороший был самолет.

— Все эти уловки следует знать, — продолжал Викторов, — не нужно быть «иванушками». Хорошая осмотрительность...

— ...залог здоровья, товарищи, — дополнил весело Хархалуп. — Верно, Яша? — обратился он к Меметову.

Меметов¹ слегка покраснел, взглянул на товарищей:

— Верно, товарищ командир.

— А почему так получается: завяжешь бой с одной парой — смотришь, откуда ни возьмись, еще «худые»? — спросил Дмитриев. — И почему они с верхотуры на нас валятся?

— Здесь дело вот в чем, — пояснил Хархалуп. — Немецкие летчики самостоятельны в выборе действий. Вылетает, скажем, эскадрилья «мессов» — шесть

¹ Якуб Меметов, летчик 16-го гиап. 11.04.43 г. «Аэрокобра» мл. л-та Меметова горящей упала в озеро в районе севернее ст. Абинская. Пилот погиб.

или восемь пар — в заданный район с интервалом в три, пять минут. Все связаны между собой по радио. Летают на разных высотах и держат под контролем большое пространство. Встретила какая-нибудь пара советские самолеты, вот нас, допустим, — тут же оповещает своих. Те — на помощь.

— Я недавно в точности такую картину наблюдал. На вынужденной сидел... — подтвердил Лукашевич, большеглазый, стриженный под ежик младший лейтенант. — И что интересно: наши летят кучно, их далеко видать, а откуда вдруг выскочила первая пара, я не заметил. Потом как посыпались со всех сторон — и все сверху.

— Значит, и нам нужно так действовать, — предложил Грачев.

— А радиосвязь у тебя есть? — возразил Тима Ротанов. — То-то и оно.

— Но ведь не можем же мы терпеть такое безобразие! — вскипел Грачев. — Сам-то ты что предлагаешь? Или ты, Викторов? Товарищ старший лейтенант, что скажете?

— Давайте, друзья, тоже летать на разных высотах, — загадочно улыбнувшись, предложил Хархалуп.

Все вопросительно посмотрели на него.

— Я, например, полечу со своим звеном на одной высоте. Звено Викторова пойдет на пятьсот-семьсот метров выше. А Ротанов и Грачев с таким же превышением — над Викторовым. Понятно?

— Мы же сразу потеряем друг друга, а поодиночке нас всех «мессы» съедят, — решительно возразил Ротанов.

— Съедят? Может, мы их первыми прихлопнем, а? — И, толкнув Меметова в бок, Хархалуп задорно спросил: — Как, Якуб?

— Моя голова такое не понимает, — смутился тот.

— Нам не разрешат этого! — усомнился Ротанов. — Прикажут, как всегда, летать на строго заданной высоте — и баста.

— Для порядка, — ухмыльнулся Дмитриев. — Надо же быть на виду у начальства.

Летчики молчали. Хархалуп вытащил из планшета листок бумаги, быстро набросал боевой порядок группы и показал его всем.

— Вот, друзья, смотрите: запретить этого нам не могут, да я и сам нарушать приказ не буду. Скажут держать высоту две с половиной тысячи метров, — пожалуйста, ни метра больше. Но это только для меня, Меметова и Дмитриева. А мы летим с вами единой группой, под моим командованием. Следовательно, приказ не нарушаем, хотя Виктор с Лукашевичем и Хмельницким полетят на трех тысячах метров, а Ротанов — ближе к четырем. Вы же знаете — «мессеры» выше летать не любят. Это первое.

Второе — и самое главное. Эшелонируя звенья по высоте, мы будем хорошо видеть друг друга. От этого зависит успех.

Третье. Эшелонирование звеньев лишит немцев возможности нападать на нас сверху. К примеру, атакуют немцы мое звено — и тут же попадают под прицел летчиков Викторова. Захотят напасть на Викторова — сверху ударит пара Ротанова.

Летчики внимательно разглядывали исчерченный лист бумаги.

— Братва, а здорово придумано! Смотрите — при таком боевом порядке мы ведь совершенно не стеснены маневром. Нижнее звено легко сойдет за «приманку». Верно, а? Ну, теперь держись, «худые»!

— Прав Грачев! — вскочил Хмельницкий, высокий статный белорус. — Свобода маневра на высоте позволит группе легко и быстро собраться в кулак и

ударить по бомберам. — Он потрянул головой, отбрасывая назад красивые волнистые волосы. — А в рассредоточенном порядке она почти незаметна.

— Давайте, товарищ командир, попробуем, — предложил Тима Ротанов.

— Хорошо. Но вначале мы с вами в деталях должны обсудить все на земле. И сделаем это сегодня, а потом, так сказать, прорепетируем.

— А все же страшно как-то с непривычки, — признался Дмитриев, — в общей-то кучке куда веселее.

— Новое дело, как вода, вначале всегда пугает, — задумчиво сказал Меметов, — а окунешься — и сильнее станешь.

Взволнованные новизной, мы с Яковлевым зашагали к своим «ястребкам». Коля заметно волновался.

— Стосковался по воздуху?

— Еще бы! — Николай привычным жестом дотронулся до выскобленного подбородка. — Верить, с тех пор, как меня сбили, только и думаю что о полетах. И это теперь вроде как лекарство: от голода, жажды, даже от фашистов. А сегодня, может, и в бой. — Он остановился, нетерпеливо посмотрел в пасмурное небо. — Эх, врезать гадам хочется как следует! Вот увидишь, я еще вас догоню.

По пути нас окликнул лейтенант Абрамов. С начала войны он, как и Коцюбинский, избегал полетов и в итоге стал адъютантом эскадрильи.

— Коля! Тебя комиссар полка разыскивает. — Длинное лицо, тощая, долговязая фигура, — все было пропитано угодливостью. — Звонил из Маяков со штаба.

— Это в такую-то даль с аэродрома пешим тащиться? — удивился Яковлев.

Тот пожал плечами и, ничего не говоря, пошел дальше.

— Ты вот волнуешься, как бы в воздух, побыстрее,

да врезать, а такие, как этот, за свою шкуру трясутся. Есть разница?

— Не знаю, не сравнивал, да и некогда такими вещами заниматься. Ты мне лучше скажи... — Яковлев помялся. — Может один смелый поступок на войне сделать человека героем?

— Как тебе сказать...

— Может! — уверенно ответил Николай. — Надо только захотеть.

Тут он увидел свой «МиГ» и заторопился.

— Нужно технику помочь, — объяснил он, хоть было ясно, что и без него все сделают. — А в штаб уже потом сбегая.

Я шел по мокрой от дождя траве и думал о Яковлеве. В эти дни, я заметил, в нем появилась новая черточка — тщеславие, но такое, за которое трудно осуждать людей на войне: желание непременно наверстать упущенное, совершить что-нибудь героическое. Ради этого Яковлев готов был пойти на что угодно.

Проходя вдоль стоянки, я с удивлением обнаружил, что почти у всех «Чаек» под плоскостями подвешены реактивные снаряды. «Итак, моя монополия кончилась, — подумал я. — Быстро же Кузьма перевооружил «Чайки».

Я присел на баллон с воздухом, переобул мокрые ноги, положил под голову парашют и завалился под плоскостью спать. То был не сон, скорее, чуткое забытьё. Сознание привычно фиксировало каждый взлет, каждую посадку.

Неподалеку прошумела полуторка. Остановилась. Торопливый говор Дубинина поднял меня, и вскоре наше звено летело в Стефанешты, где немцы готовились к переправе.

К этому времени несколько летчиков уже побы-

вали в разведке. И все они — Крюков, Шелякин, Фигичев — докладывали одно: противник спешно подтягивает к фронту свежие силы. Наши части тоже двигались к границе. Мы хорошо видели, как от Дубоссарской переправы на Оргеев сплошной лентой пылилась дорога. Все говорило о том, что скоро начнутся новые ожесточенные бои.

Приземлившись, мы узнали от Путькалюка печальную новость: похоронили инженера полка Шолоховича. В нелепую смерть эту трудно было поверить. «У-2», на котором он летел, обстреляли с земли по дороге на запасной аэродром. Пуля попала прямо в сердце...

* * *

К полудню в воздухе повисла изнуряющая духота. Тело покрылось липкой испариной.

Я встретился с Яковлевым за обедом и не узнал его. Не притрагиваясь к еде, он угрюмо смотрел в тарелку.

— Что с тобой? — спросил я.

Яковлев долго молчал, потом выдавил из себя улыбку и, не поднимая головы, еле слышно ответил:

— Ничего. Отвоевался я, вот что.

— Брось чушь-то молоть.

— Не чушь это, — подал голос Кондратюк. — Запретили Кольке летать. Чупаков распорядился. Временно, говорит, до выяснения. Я сам у него был.

— У кого он — у фашистов, что ли, выяснять собирается? — зло спросил Шульга.

На лице Николая лежала печать неподдельного, непоправимого горя. Все эти дни он только и жил тем, чтобы поскорее подняться в воздух и вместе со всеми воевать. И вот...

Не знай мы Яковлева, такое могло бы показаться правдоподобным. Но это был выходец из коломенской рабочей династии, рано лишился отца. На десятом году жизни Коля, самый старший из троих детей, отправился на поиски хлеба насущного. В тринадцать лет испытал все тяготы «блатной» жизни и тумачи базарных торговки. А в пятнадцать молодой слесарь-инструментальщик познал радость полета — стал планеристом.

Мать гордилась «старшеньким», но самолетов боялась как огня. Умоляла сына быть кем угодно, только не летчиком. Но может ли что-нибудь противостоять велению сердца? В семнадцать лет Коля Яковлев был уже военным летчиком. А в девятнадцать...

Над аэродромом прогудело звено «МиГов». Развернувшись, истребители спланировали прямо над нашими головами. От взвихренного воздуха пригнулись кусты.

— Атрашкевич с разведки прилетел, — сказал Степан Комлев¹, наблюдавший за посадкой летчиков. — Пойду разузнаю, что новенького.

— С кем он летал? — полюбопытствовал я.

— Летуны у капитана постоянные: Макаров, Дьяченко.

— Пойду и я... — поднялся из-за стола Яковлев, — он чуть не сказал «к своему самолету». — Обещал технарю подсобить, мотор опробовать.

Каждому хотелось утешить Николая, чем-то помочь ему. Но чем?

Кондратюк протянул портсигар:

— Колька, твоя любимая марка.

¹ Комлев Степан Кириллович, летчик, мл. л-т, 1918 г.р. 05.10.41 г. на «МиГ-3» не вернулся с б/з из р-на Пологи — Конские Раздоры. К моменту гибели сбитых самолетов противника не имел.

— «Чужие»? Ну что ж, давай. — Яковлев горько улыбнулся и медленно пошел к стоянке.

Его горестная усмешка и неуверенная походка напомнили мне первый день войны и вылет Яковлева и Пал Палыча на разведку. На душе стало тоскливо.

— Ох, чуёт мое сердце неладное, — проговорил Кондратюк, глядя на удаляющуюся понурую фигуру. — Неужто и теперь, на войне, мы не освободимся от пустых подозрений?

— Да, с таким грузом много не навоюешь, — задумчиво произнес я и предложил ребятам: — Пойдемте к командиру полка, попросим за Яковлева.

— Хархалуп уже ходил с Пушкаревым. Иванова нет, а Чупаков проводит совещание о бдительности, — буркнул Лукашевич.

Вечерело. Закончится ли сегодня на этом боевой день? Как-никак, завтра воскресенье. Хотелось помыться, привести себя в порядок.

Путькалцок только что заменил лопасть, простреленную утром на штурмовке, и мне еще предстояло опробовать в воздухе работу винта.

В этот предвечерний час аэродром с воздуха показался серым, такими же были и поля вокруг. Винт на всех режимах работал без тряски и вполне прилично. Правда, масло из втулки винта сильно забрызгивало козырек кабины, но техник не был в этом повинен.

Крутанув несколько «мертвых» петель и «бочек», я проверил оружие, выпустил очередь из каждого пулемета. Острый запах пороховой гари, огненные следы пуль щекотали нервы, возбуждали боевой азарт. Мне даже захотелось повстречаться сейчас с противником. «Жаль, «эрэсы» не успели подвесить, — подумал я, изучая многослойные облака, — а то мож-

но было бы показать фашистам, где раки зимуют». Я направил машину в сторону от аэродрома и дал очередь из четырех пулеметов разом.

И вдруг там, где погасли трассы, показался истребитель. За ним другой! Похоже на «МиГи». Откуда они? Я глянул в сторону аэродрома...

* * *

В эти вечерние часы на командном пункте работа кипела вовсю. Кончался месяц. Нужно было составлять итоговые отчеты, донесения, сводки.

Начальник штаба драил всех за плохо составленные боевые донесения.

— Поймите вы, делопуты от авиации! В донесении должны быть не только результаты вылета! Как летчики действовали в бою? С какой дистанции, откуда атаковали противника? Как вел себя противник? Есть это хоть в одном донесении? Нет! А по ним же боевой опыт обобщают. И летчиков тактике боя учат.

Он хотел было еще предупредить адъютантов, что отчеты о боевой работе эскадрильи за минувшую неделю должны быть представлены своевременно, но тут вошел младший лейтенант Плаксин и сообщил: на стоянке второй эскадрильи Матвеева ждет командир полка.

— Хорошо. Подожди. Сейчас еду. — И, обратившись к адъютантам, распорядился: — До ужина все летные книжки заполнить как полагается. Сам проверю. Ясно? А теперь марш по эскадрильям.

Когда начальник штаба разыскал командира полка, тот «беседовал» с Селиверстовым. За выломанную дверь и побег с гаунтвахты Чупаков приказал, без ведома Иванова и Матвеева, судить Кузьму трибуналом.

Кузя стоял около самолета, небритый, с пустой кобурой на животе. Сухощавый Барышников, командир его эскадрильи, подпирал лопасть винта и не мог поднять глаз на майора. На колесе приткнулся разозленный Ивачев; он тоже чувствовал себя виноватым в том, что произошло.

— Понимаешь ты, дурья голова, что натворил? — в который раз увещевал Иванов.

— Товарищ командир, ну, скажите: «каракатица» — самолет или нет? Я же за ней четверть часа гонялся! Все боеприпасы расстрелял, пока не уколошил.

— Что ты пристал со своей «каракатицей»! — не выдержал Ивачев. — Отвечай за свои безобразия, когда командир спрашивает.

— Какие же это безобразия, Костя? — удивился Кузьма. — Тот «жук» («жуками» он звал всех тылови-ков) категорически «каракатицу» за самолет не признает. Вот, говорит, «Хейнкель» или там «Юнкерс» — за них и граненого не жаль!

Оказывается, весь сыр-бор с начпродом разгорелся вчера из-за негласно установленных за сбитый самолет ста граммов фронтовых.

Командир полка сдержал улыбку:

— Сколько же тебе этот «жук» за «мессера» отваливает?

— О, за «худого» он и бутылку не пожалеет.

— Да ну! Целую бутылку?

— Не верите? — Кузьма привычно облизнул губы. — Спросите Барышникова.

— Почему же «худому» такое предпочтение?

— Да разве тыловая крыса разбирается в авиации? Я бы не взял за «мессера» и СПГ¹.

¹ СПГ — сто пятьдесят граммов.

Глядя на Селиверстова, нельзя было не улыбнуться и тем более сердиться на него. Весь как на ладони: простой, бесхитростный, смешной в безалаберности. Но в бою этот летчик был смел до бесшабашности.

Иванову и смешно было, и жаль Кузьму. Он уже знал, как наказать его. Для этого и вызвал сюда Матвеева, чтобы согласовать с ними и не отдавать летчика под суд.

— Ну и удалось тебе доказать начпроду его ошибки? — Иванов не выдержал и улыбнулся.

— Не успел, товарищ командир. Удрал от меня «жук». Да и Чупаков...

— Вот, полюбуйся, Александр Никандрович, — обратился Иванов к начальнику штаба, — надебоширил да еще с «губы» того...

— Я в курсе, Виктор Петрович. Стянуть с него штаны и хорошим дрыном за такие штучки. — Матвеев кивнул в сторону Барышникова. — И ему еще всыпать за компанию.

— Дрын для него уже подобран, — сказал Иванов. Другого ответа от начальника штаба он и не ждал. Матвееву легче взять вину на себя, чем наказать летчика. — Он у меня этот дрын надолго запомнит.

— Коли так, — Матвеев нахмурился, — чеши, Кузя, отсюда в кутузку (так майор всегда называл гауптвахту) — быстро! Чтоб одна нога здесь, а другая там. Да приготовься!

— Смотри, по дороге — никуда, дуй прямым назначением! — крикнул вдогонку Ивачев.

— Ну, с одним разобрались, — засмеялся Матвеев и передал Иванову папку с делами. — Другой подождет. Тут кое-что поважнее.

— Что-нибудь срочное?

— Получено спецздание: разведать аэродромы Бырлад и Роман. Приказано послать не менее звена.

Иванов поморщился. Закурил.

— Неужели в дивизии не понимают, что только руки нам связывают? Мы и сами в состоянии решить, как лучше выполнить задачу.

— Товарищ командир, разрешите, я слетаю! — вызвался Ивачев.

— Тебе другая работенка найдется, — сказал Матвеев. — Я, Виктор Петрович, уже переговорил с Аtrashкевичем. Он сам решил завтра слетать. В напарники возьмет Дьяченко и Макарова.

— Ну, добро. Да чтоб на рожон не лез. Маршрут и высоту пусть выберет сам.

Запыхавшийся солдат передал, что командира требуют срочно к телефону.

Иванов приказал Барышникову узнать, в чем дело, и продолжал обсуждать с Матвеевым текущие дела.

— Надо бы нам с летным составом недостатки разобрать, — почти кричал он в ухо Матвееву. — Когда ты сможешь выкроить время?

Матвеев ждал, пока стихнет гул опробуемого рядом мотора. Вскоре показался Барышников. Он мчался во всю прыть своих длинных ног, размахивал над головой шлемом и что-то кричал. При виде его ментально ожила стоянка самолетов, в сторону полетела маскировка. Летчики повскакали с мест, принялись быстро натягивать парашюты.

— На Котовск летят «Юнкерсы»! — наконец разобрал Иванов. — Посты ВНОС передали! «Юнкерсы»!

С командного пункта взлетели в воздух ракеты. Яковлев сидел в кабине и газовал на всех режимах. Ивачев, пробегая мимо, махнул ему рукой на взлет, вскочил сам в стоявший впереди «МиГ» и взлетел следом за Николаем. А потом началось столпотворение, которое я и увидел с воздуха.

Со всех сторон летного поля, похожего на пере-

вернутое овальное блюдо, взлетали «Чайки» и «МиГи», в хмурое небо беспрестанно взвивались ракеты...

Непонятная суматоха на земле озадачила меня. Это могла быть только боевая тревога. Но противника не было. В районе наблюдательной вышки я обнаружил длинную стрелу; белое полотнище указывало курс на северо-восток. Значит, враг там. В этом направлении устремилась первая пара «МиГов». О посадке теперь нечего было и думать. Я пустился за «МиГаами» и продолжал напряженно, до боли в глазах, всматриваться в ползущие навстречу облака. Сзади наперегонки мчалось не менее полутора десятков «Чаек». «МиГи» постепенно вырывались вперед, некоторые уже догоняли меня.

Я взглянул на часы: без десяти восемь. Значит, в воздухе я уже двадцать минут. Впереди разорванные слоистые облака. Выше еще несколько ярусов. Все это настораживало. Лучшей погоды для скрытого налета не придумаешь. Слева в просвете мелькнул истребитель. Неужели «Мессершмитт»? Нет, «сороковка» Ротанова. Он обогнал меня, и в открытый фонарь я увидел сосредоточенное напряженное лицо. Перед самым носом моей «Чайки» Ротанов внезапно резко кинулся вправо и закачал крыльями. Я глянул в ту сторону и вздрогнул от неожиданности: «Сколько же их!»

Черные громады «Юнкерсов» тремя группами зловеще двигались к городу. Они то появлялись, то скрывались за нижними облаками. Два «МиГа» уже мчались им наперерез.

Мозг работал четко и оперативно. Атаковать последнее звено колонны! Только бы успеть! Тело напряглось. Ноги крепче уперлись в педали. Голова прильнула к прицелу. К мгновенной злости на тех, кто некачественно изготавливал воздушные винты

для моторов, примешалась горечь: скорость машины не позволяла быстро сблизиться с противником; боковым зрением я видел, как один за другим меня обогнали еще три «МиГа».

Вот досада: лечу без реактивных снарядов. Как бы онигодились! Что ж, будем драться «ШКАСами».

Главное звено противника набирало скорость. За ним, не отставая, дымили остальные «Юнкерсы».

Первые «МиГи» набросились на голову колонны, и сразу черные машины оцетинились тысячами трасс.

Атака была отбита. Один «МиГ» оставил за собой белый шлейф и потянул на снижение. Другие отскочили в стороны.

«Юнкерсы» легли на боевой курс. Через минуту-другую на город посыплются бомбы...

...Вспоминая подробности любого, даже только что прошедшего боя, трудно воссоздать его полностью. Обычно внимание фиксирует несколько коротечных моментов, поражающих своей новизной. Но это у опытных воздушных бойцов. Для новичков же все ново, и потому зрелищная часть выступает на первый план.

Сразу я решил, что все вокруг кишит «Юнкерсами», хотя их было только восемнадцать. Со смешанным чувством смотрел я на картину боя. Фейерверки трассирующих пуль, прорезающие небо, злоеющие силуэты «Юнкерсов» на темном фоне облаков, со страшным ревом носящиеся вокруг истребители — все это показалось мне на мгновение неправдоподобным, фантастическим.

До ближайшей группы врагов осталась какая-нибудь сотня метров, и тут из-за серой, похожей на клок шерсти тучки выскочил одиночный «МиГ». Не сворачивая, он устремился прямо к главному бом-

бардировщику. Я видел, как все бомбардировщики открыли по нему огонь. Огненные стрелы летели впереди, сзади, скрещивались над самолетом, но летчик неотвратимо приближался к вожаку «Юнкерсов».

Русский человек смел от природы: когда угрожает опасность, им овладевает упрямство, и жизнь свою он продает задорого. А если от него зависит судьба многих жизней, успех товарищей, — сын России забывает себя и, не задумываясь, идет на подвиг.

Кто был этот смельчак, так упорно настигавший фашистского вожака? Стремительность атаки показывала, что летчик скорее погибнет, чем свернет в сторону. В стане врага началось замешательство; стрелки на некоторое время даже прекратили пулеметный огонь. На это, вероятно, и рассчитывал летчик. До головного звена «Юнкерсов» было уже рукой подать. В следующий момент истребитель и ведущий «Юнкерс» одновременно открыли огонь. Огненные трассы скрестились на полпути, впились друг в друга. На бомбовозе вспыхнуло пламя. Затем взрыв — бомбовоз, разметав весь строй, рухнул.

И сразу картина боя резко изменилась. Воодушевленные подвигом товарища, наши яростно бросились на рассыпавшуюся колонну фашистов. Я ещё успел заметить, как бесстрашный истребитель почему-то неуклюже спланировал вниз, и сам тут же открыл огонь по ближайшему «Юнкерсу», но... опоздал. Иван Зибин опередил меня — залпом реактивных снарядов срезал фашиста. Бомбардировщики бросились наутек. Еще один «Юнкерс» закрутился в огненном пламени от меткой очереди Ротанова. Многослойные облака не спасли фашистов. Светличный вытащил «Юнкерса» из нижнего яруса, и через минуту тот уже вздыбил землю у Воронковской МТС.

Разгром был полный. Не повезло только мне. Опасаясь, что в такой кутерьме на мою долю ничего не достанется, я сломя голову набросился на фашиста, которого и без того уже одолели три «Чайки». И получил сполна: вражеский стрелок точной очередью перебил стальные расчалочные ленты на правой плоскости.

Люди, знакомые с конструкцией бипланов, знают, к чему это может привести. Несолоно хлебавши я осторожно, «на цыпочках», добирался до дому и по дороге то и дело тревожно поглядывал на вибрирующие крылья, то и дело беспокоясь, когда они «сложатся».

* * *

Как только в воздух поднялся первый «МиГ», начальник штаба бросился к наблюдательному посту, выложил полотняную стрелу в сторону противника и начал пускать ракеты в этом направлении до тех пор, пока за горизонтом не скрылся последний истребитель.

Умолк шум моторов. Стало тихо. Кто же все-таки взлетел?

Сколько поднялось истребителей? На аэродроме этого никто толком не знал. Майор Матвеев поехал выяснять.

Прошло десять минут, пятнадцать... Аэродром словно вымер — ни звука. Необычайная тишина воцарилась на командном пункте.

Минутная стрелка миновала еще одну цифру, и тут раздался телефонный звонок. Штаб дивизии запрашивал: куда полетели истребители?

— Отражать налет, — ответил Медведев.

— Сколько?

— Выясняем.

— Кто поднял?

— По данным постов ВНОС, — пробубнил Медведев и вытер взмокший лоб.

Прошло двадцать пять минут, а от летчиков никаких известий. Иванов начал волноваться. Штаб дивизии потребовал:

— Позовите командира полка.

В ответ на вопросительный взгляд Медведева майор приказал:

— Передай — я на старте.

— Начальника штаба, — не унимались в трубке.

— Матвеев на аэродроме.

Майора Иванова одолевали сомнения. Уж не подвох ли все это? Случаи дезинформации и провокации случались. Вдруг в этот момент фашисты летят на аэродром? Иванов приказал немедленно посадить всех оставшихся летчиков в первую готовность. А штаб дивизии все требовал, требовал объяснений. На тридцать пятой минуте сел, наконец, Виктор, следом за ним — я. Матвеев нетерпеливо вскочил на крыло и заглянул в кабину: летчик улыбался. От души отлегло.

— Запишите, товарищ майор, одного «Юнкерса»! — крикнул оглохший после боя Виктор.

— Молодец, Витька, двести граммов тебе на ужин! — затряс его Матвеев.

— Маловато! — засмеялся летчик. — Про утреннего «Мессершмитта» забыли? — Майор утвердительно кивнул и побежал ко мне.

— Ну, — крикнул он издали, — с чем тебя поздравить? С третьим сбитым?

Выражение моего лица, жалкий, побитый вид «Чайки» озадачили его.

— Выходит, напрасно я к тебе скакал рысаком?

— Не досталось мне, товарищ майор...

— Ха-ха-ха! Как не досталось? Смотри... — Матвеев раскачал крыло, отчего вся полукоробка жалобно закрипела, и помчался к телефону — звонить командиру полка, но тот уже и сам спешил ему навстречу.

— Победа, Виктор Петрович! — ликовал Матвеев. — Викторов и Речкалов видели, как наши орлы четырех бомберов пристукнули. Викторов и сам одного срубил!

— Значит, перехват состоялся? Был бой?

— Да еще какой! По одному — у Зибина, Ротанова, Светличного¹, а вот кто первого сбил — неизвестно.

Истребители поодиночке возвращались на аэродром. Зарулил на стоянку Меметов.

— Один «Юнкерс» капут, товарищ майор!

— Молодец, Яша, большой молодец! — Командир потряхнул его потную руку. — Запиши, Александр Никандрович, шестому бомберу капут.

Весь мокрый, вылез из кабины Барышников.

— Сбил, товарищ командир, — широко улыбаясь, доложил он. — Грохнулся фашист севернее Котовска.

— Это уже седьмой, — пометил в тетради Матвеев и убежал к телефону.

Иванов вновь и вновь пытался выяснить имя героя бесстрашной атаки, решившей исход боя. Но кто это сделал, никто до сих пор не знал. Вернулся Матвеев. К телефону его вызывал Ивачев. Он сидел у Красных Окон на «пузе», с изрешеченным мотором.

¹ Светличный Семен Устинович, летчик, мл. л-т, 1915 г.р. 05.07.41 г. на «МиГ-3» в районе Хвалешти сбит ЗА противника. К моменту гибели уничтожил два самолета противника.

Один за другим приземлились Назаров¹ и Дьяченко. Их жертвы оглушили своими взрывами окрестности Приднестровья.

О двух сбитых «Юнкерсах» доложил Тима Ротанов. Закончила пробег и зарулила последняя, пятнадцатая, «Чайка». Ничего не знали только о седьмом «МиГе» — на нем вылетел Яковлев.

Матвеев сообщил в дивизию результаты вылета. Связь была плохая, и мы слышали, как он громко передразнивал кого-то:

— Сколько, сколько! Говорят тебе, десять «Юнкерсов»². Вот и ну! Не веришь? Сосчитай, около вас все валяются. Куда летели? Тебя, нукало, бомбить. Кто смеется? Я? Была охота мне над вами смеяться. «Юнкерсы» вас уже не тронут. От них рожки да ножки остались!

На аэродроме появился комиссар полка. О чем-то переговорил с командиром и, нахмурившись, отошел в сторону.

А Матвеев продолжал кричать в трубку:

— Потери? Один «МиГ» еще не вернулся. Нет, никто не видел, куда он делся. Минут с десятков подождем. В случае чего вы там помогите в организации поисков. Хорошо? Да, да, понял.

Отдуваясь и вытирая платком побагровевшее лицо, Матвеев подошел к Иванову.

— Генерал требует письменного донесения о бое. Иванов посмотрел на часы, прислушался.

— Первые машины взлетели в девятнадцать пять-

¹ Назаров Степан Спиридонович, зам. кэ, л-т, 1917 г.р. 20.07.41 г. на «МиГ-3» не вернулся с б/з из района Бельцы. Уничтожил один самолет противника.

² По уточненным данным, всего сбито четырнадцать «Юнкерсов».

десять. Горючего Яковлеву еще на восемь-десять минут. Будем ждать.

По лицу Иванова было видно: он не очень верит в возвращение «МиГа».

Ребята полукругом расселись на земле; напряженно ждали. На исходе были последние минуты. Мы слышали, как под карандашом Матвеева похрустывают тетрадные листы.

— Все! — не выдержал Гичевский и вскочил с земли.

— Не все! — одернул его Матвеев. — Сидит, наверное, наш Яковлев на вынужденной где-нибудь поблизости, а ты говоришь — «все»!

Снова вспыхнула надежда. Действительно, почему бы ему не сесть в поле? Сейчас он, возможно, добирается к селу, ищет телефон...

И вдруг резко задрезжал телефонный звонок.

— Аэродром?

— Да, аэродром.

— Возле Чубовки упал ваш самолет. У летчика найдены документы. Яковлев. Николай Васильевич Яковлев. Аэродром, аэродром!.. Вы слышите меня? Аэродром!..

* * *

На земле стынет мягкий сыроватый сумрак. Между двумя кучами бурой земли чернеет разверстая могила. На возвышении — Яковлев. На лице застыла недоуменная улыбка. Новая гимнастерка с чистым подворотничком, в голове груды цветов. Ветерок треплет белокурые волосы, багровый диск солнца бросает прощальные лучи на обострившиеся черты.

Если б только не глаза... Кажется, чуточку приоткрой он веки — и брызнут они, как всегда, смехом...

...В крышку гроба глухо ударяют первые комья. Ве-

черную тишину разрывает нестройный залп прощального салюта, другой, третий. Вороньим криком наполняется воздух.

Комья земли громятся выше, выше. Звуки их ударов становятся глуше... И вот я стою у свежего холмика. На нем цветы, деревянный обелиск. Под стеклом — фотокарточка.

Таким я увидел тебя впервые, таким ты и останешься в памяти всех, кто тебя знал — девятнадцатилетним белобрысым пареньком, жизнерадостным и веселым, вечным юношей и комсомольцем-героем.

Пройдет время. Станут строчкой истории сегодняшние бои. Отстроятся деревни и города, поля превратятся в цветущие нивы. Земля снова будет приносить людям счастье.

И одно из самых сильных моих желаний: среди этой красоты, люди земли, помните о сыне своей Родины — Николае Яковлеве!

* * *

Человеческая память похожа на фотопленку; с годами — от времени, от небрежного обращения — она стирается. Отпечатки уже не контрастны, четкие когда-то линии расплылись, а яркие, впечатляющие картины покрылись темной пеленой.

Я настойчиво допрашиваю свою память, пытаюсь добиться от нее верных ответов, стараясь и в мелочах не отступать от правды.

Но время неумолимо. Даже архивные документы, призванные восполнить пробелы памяти, порой помогают мало. И все же иногда среди пожелтевших от времени страниц, словно выхваченные лучом прожектора, встают передо мной те, кого нет на земле уже многие годы. Я вижу их обветренные лица,

пропотевшие гимнастерки, слышу их голоса, вдыхаю запах трав, бензина, пороховой гари — вижу свою молодость боевую.

Я держу в руках исторический формуляр полка. С волнением перелистываю страницы, читаю торопливые записи. Этот бесценный сейчас документ в свое время велся от случая к случаю, небрежно и бестолково.

«29.6.41 года. Получено спецзадание на разведку аэродромов Бырлад и Роман. Это с честью выполнили капитан Атрашкевич с ведомыми Дьяченко и Макаровым. На аэродроме Бырлад уничтожено 4 «ПЗЛ-24». ...Огнем ЗА¹ на разведке при атаке аэродрома Роман сбит капитан Атрашкевич Федор Васильевич...»

И вот негатив памяти восстановлен. Отпечатался четкий снимок событий.

...Предрассветный сумрак. По дороге медленно тащится старая трехтонка с потушенными фарами — развозит летчиков по эскадрильям. Скольким из нас она стала последним пристанищем! Петр Довбня, Гриша Рябов, Костя Миронов. Вчера на ней ехал Коля Яковлев.

Вспыхивают светлячки папирос. Невеселые раздумья внезапно прерваны криком, шумом, руганью. Летчики выскакивают из машины.

— Что случилось?

— На кого-то наехали.

— Как они очутились на дороге?

— Да здесь же щели и жнивье, — ругается кто-то спросонья, — а дорога — правее.

Короткое замешательство и перебранка. Оказывается, машина наехала на спящих механиков. Не

¹ ЗА — зенитная артиллерия.

имея сил и времени добраться до своих землянок, они вповалку улеглись под шинелями прямо на земле.

К счастью, все обошлось благополучно. Только сержанту Бреусову не повезло: колесо придавило ему ногу.

— Садись на мое место, — скомандовал сержанту Атрашкевич и показал на раскрытую кабину.

— Зачем, товарищ капитан? — непонимающе спросил Бреусов.

— Чудак! В санчасть же отвезти надо.

— Что вы! Я здесь останусь. Не мирное время. Санчасть... — механик ухмыльнулся, накинул на плечи шинель. — Да и к самолету пора топать.

— Вот тебе и чудак! — восхищенно произнес капитан, глядя, как тот, прихрамывая, шагает в темноту. — А ну, пойдете-ка и мы пешком, а то, чем черт не шутит, еще придушим кого-нибудь. Да и сон быстрее разгоним на воздухе.

На рассвете Атрашкевич с двумя своими летчиками смело и удачно штурманул Бырладский аэроузел, потом обнаружил большое скопление авиации на аэродроме Роман и благополучно вернулся домой.

К трем часам пополудни бесстрашная тройка поднялась с земли еще раз, а приблизительно через час на аэродром вернулись только двое...

Весть о гибели капитана моментально облетела весь аэродром. Только Гриша Чувашкин, бессменный техник Атрашкевича, не верил этому; он не уходил с поля и до боли в глазах всматривался в равнодушное, бледное небо. Я в этот день был «безлошадным». Меня вызвали на командный пункт полка.

Иванов сидел за школьным столом, еще недавно служившим старшеклассникам, устремив тяжелый неподвижный взгляд на почерневшую коптилку из гильзы. Бледные, с опущенными головами стояли у

стола долговязый Дьяченко и хрупкий сероглазый Макаров¹. За ними столпились летчики.

— Как же это случилось? — спрашивал майор, не поднимая головы.

Летчики рассказывали вместе, дополняя один другого. Дьяченко, обычно разговорчивый, говорил сейчас с трудом.

— На малой высоте мы подошли к аэродрому Роман; местонахождение аэродрома и расположение стоянок самолетов хорошо помнили по утреннему вылету. Обошли город стороной и выскочили на западную окраину аэродрома.

— Перед этим Атрашкевич перестроил меня вправо, — уточнил Макаров, — мы хотели бомбить южную стоянку — там скучилось много самолетов.

— Но зенитки уже были наготове, — дьяченковский кадык еще сильнее заострился на жилистой шее и при каждом его слове подскакивал вверх. — С первого залпа... прямо в капитана. Его самолет рухнул тут же, за леском.

Командир молчал. Начальник штаба смотрел отчужденно, все еще не веря в то, что произошло.

— Аэродром проскочили на бреющем, бомбы сбросили наугад. Стреляли в нас жутко, — виновато оправдывался Макаров.

— Нужно было мстить за командира, а не бросать бомбы куда попало, — назидательно заметил Чупаков.

— Нужно было не посылать второй раз на бессмыс-

¹ Макаров Иван Петрович, летчик, мл. л-т, 05.07.41 г. ранен на «МиГ-3» в в/б в районе ст. Калараш. Был эвакуирован на лечение. Личный боевой счет — 1 самолет противника.

ленную штурмовку. — Иванов встал. — Вы сделали все, что можно. Идите. Вам надо отдохнуть. А за командира вашего будем мстить все. Александр Никандрыч, — обратился он к начальнику штаба, — быстро посылайте за Соколовым.

Матвеев стряхнул оцепенение:

— Речкалов, карту захватил? Видишь аэродром вдоль железной дороги? Бери «У-2» и немедленно за Соколовым. Он там на «МиГе» переучивается.

Я кивнул и направился к выходу. Матвеев остановил меня:

— Передай Соколову, чтоб сегодня к вечеру вернуться. Ясно? — Он быстро окинул меня взглядом. — Сбросил бы свой комбинезон, грязноват уж очень, как-никак, летишь в тыл.

Я покраснел. Мне ужасно не хотелось ехать из-за этого в поселок, да и времени не было.

Через полчаса мой «У-2», мягко рокоча мотором, скользил двукрылой тенью над полями Прибужья. Упругий ветерок шуршал в обшивке, мягко ударяя в лицо, забирался под комбинезон.

Под крыльями — знакомый вид: живописные изгибы речушек, белые сельские хаты с бархатистыми садами, извилистые ленты дорог между ними. Сейчас все это казалось притихшим, обезлюдившим.

С каждым оборотом винта самолет все дальше и дальше уносился оттуда, где, казалось, горела сама земля, агонизировали искромсанные взрывами рощи. Но мысли мои были там, с товарищами.

Многого мы еще не понимали. Были первые крупницы дорого купленного боевого опыта, летчики по-прежнему горели неукротимым желанием драться и побеждать, но все это не компенсировало пробелов в организации и руководстве. Наш полк растащили по частям на разные аэродромы. Взаимо-

действия с другими видами авиации, с постами ВНОС не было. Не далее как утром по ложному сигналу — «налет на Котовск» — подняли в воздух шестнадцать самолетов.

Почти каждый день приносил необоснованные потери самолетов, людей.

А гибель Атрашкевича? Командир полка убеждал штаб дивизии, что штурмовка не нужна, можно ограничиться повторной разведкой.

Капитан Атрашкевич... Он прибыл к нам в полк из авиационного училища. Опытнейший летчик, он сразу же завоевал у коллег уважение. С одной стороны, Атрашкевич радовался, что вырвался, наконец, в строевую часть. С другой — он остался на прежней должности командира звена. Недовольства капитан не проявлял, но...

Командир полка, чуткий и внимательный человек, понимал его состояние и при первой же возможности, за несколько месяцев до войны, добился того, что Атрашкевича назначили командиром эскадрильи.

Большой опыт, организаторские способности капитана сразу же дали себя знать: его летчики первыми в полку освоили «МиГи», и эскадрилья Атрашкевича, подготовленная лучше других, сразу вступила в бой с врагом.

Имена его летчиков — темпераментного Дьяченко, ершистого Фигичева, тихих по натуре Семенова и Макарова, маленького, ноги колесом, Коськи Миронова, флегматичного Комлева — были в эти дни у всех на устах.

Самолет слегка побалтывало. Впереди показался Южный Буг. Его воды отливали на солнце холодным блеском. А дальше, на горизонте, косой стеной встала грозная облачность. Обойти грозу сторо-

ной? Но один ее край начинался где-то в море, а второй уходил далеко на север и накрыл темневший на холмах Вознесенск. Оставалось одно — пробиваться напрямик, под стрелами молний, полосовавших дождь. Сразу за Бугом порывы ветра стали швырять легкий самолет и трясти его как на ухабах.

Я снизился на малую высоту, решив упрямо пробиваться вперед. Внезапно все вокруг потемнело. Тучи поднятой пыли, низкие рваные облака смешались в урагане. Стихия яростно обрушилась на самолет, швырнула его вверх, вбок и закружила. Сердце сжалось как от непоправимого несчастья.

Я дал полный газ, обеими руками схватил ручку управления и с трудом развернул самолет назад. Короткие минуты полета в беспорядочном круговороте вихрей показались вечностью. Наконец, болтанка ослабла; я почувствовал, что машиной можно немного управлять.

О дальнейших попытках пробиться вперед нечего было и думать. При одной мысли об этом дух захватывало. Оторвавшись немного от урагана, я решил переждать его на земле. Вскоре попалась маломальски пригодная площадка. Неподалеку от нее, по обеим сторонам оврага, была разбросана деревня. Чтобы привлечь внимание жителей, я сделал над селом круг, еще раз осмотрел свою площадку с воздуха и спланировал. Подпрыгивая и переваливаясь с крыла на крыло, машина покатила по земле.

Навстречу мне наперегонки неслись мальчишки. За ними бежал быстрый табунок девушек, позади всех торопились пожилые колхозники. С их помощью я прочно закрепил самолет веревками на земле с подветренной стороны рощицы, для гарантии расставил людей у крыльев и хвоста, а двух крепышей-мальчишек посадил в кабину и наказал крепко-

накрепко держать ручку управления и педали. И не напрасно. Под шквальными порывами молодая рожица заскрипела. Тучи пыли, соломы, травы, листьев пронеслись у нас над головами. Самолет, точно в ознобе, вздрагивал крупной дрожью; «сторожа» повисли на нем, не давая опрокинуться. По обшивке ударили редкие крупные капли, потом забарабанили дробью и, наконец, обрушились ливнем. Ветер сменился дождем, и люди с шумом, гомоном, прибаутками втиснулись под широкие крылья. Мальчишки же не замечали ни ветра, ни дождя; надо было посмотреть, с какими счастливыми и серьезными лицами они выполняли порученное им дело: держались за настоящие рычаги управления! Какой восторг был на их загорелых веснушчатых физиономиях, когда после дождя мы покатали самолет от рожицы для взлета! В мыслях они, видно, бесстрашно «сражались» с фашистами.

Гроза уже ворчала далеко в стороне. Мы подкатили самолет к самому концу площадки и развернули его против ветра.

Нужно было запускать мотор. Без помощника не обойтись. Вызвался сам председатель колхоза — высокий, не старый еще человек в поношенном пиджаке.

Пока я обучал его, как проворачивать пропеллер, как «контачить» — срывать с компрессии поршень, — любопытные, старые и малые, по очереди заглядывали в кабину, удивлялись обилию хитрых приборов.

И когда вновь испеченный механик постиг нехитрую премудрость обращения с пропеллером, а я собрался садиться в кабину, к нам подошла полногрудая черноволосая женщина.

— Откуда у тебя, летчик, кровь в кабине? — подозрительно спросила она.

— Какая такая кровь? — удивленно спросил я.

Все подошли поближе, насторожились, притихли.

— Мишка, — крикнула женщина сидевшему в задней кабине вихрастому «летчику», — побачь, есть на полу кровь?

— Есть, тетка Мотря, — помедлив, ответил тот. — И на боках, и вот впереди.

«У-2» был тот самый, на котором убили Шолоховича. Должно быть, механик не успел хорошо вычистить кабину. Я объяснил это Мотре. И тут же страшно пожалел, что перед вылетом не прислушался к замечанию начальника штаба, когда тот критиковал мой «грязноватый» вид.

Заношенный комбинезон без воинских знаков отличия, покрытые рыжей щетиной щеки, кровь в кабине — все это навело тетку Мотрю на основательные подозрения.

— Документики-то, гражданин, или как там тебя величать, имеются? — уже совсем агрессивно спросила она.

Такое обращение меня взорвало:

— Есть, да не про вашу честь.

Я вытащил комсомольский билет и протянул его председателю колхоза.

Председатель внимательно полистал билет, я тем временем раскрыл планшет с картой маршрута, объяснил ему, куда и за кем лечу.

— Покажь звезды на крыльях, ежели наш! — выкрикнула смуглая молодуха. — Где они?

— Камуфляж, тетушка, потому и звезд не видно.

— Ишь ты, какими фашистскими словами гутарит, — сердито зашептала рослая женщина в цветастой косынке.

— Погодите, погодите. Надо нагнуться и посмотреть на крылья снизу — вот и заметите звезды.

— А может, там бомбы? Не нагибайся, Кузьмич! — подскочила Мотря к председателю колхоза.

Кузьмич нагнулся. Звезды на крыльях были, и комсомольский билет был подлинный, так что Кузьмич успокоился. Не так-то просто оказалось убедить ширококостную Мотрю.

— Знаем мы фашистское отродье! — Она обращалась больше к народу, чем ко мне. — И звезды на крыльях нарисовать могут, и комсомольский билет подделать. А почему он без военной амуниции? Наши летчики так не летают.

— Да знаешь ли ты, такая-сякая! Я с фронта! За командиром новым лечу! — и, распахнув комбинезон, запальчиво и угрожающе подошел к ней вплотную. — Вот она, наша амуниция, кровавым потом пропитана!

Это погубило меня окончательно. Под комбинезоном была тонкая шерстяная майка, купленная по случаю в Бессарабии, в Бельцах. Иностранная фирменная марка, что-то вроде орла с короной, четко выделялась на светло-коричневом фоне.

— Бабоньки, люди добрые, побачьте, — закричала Мотря, — на нем знак фашистский!

Крик ее подхлестнул колхозников. Пожилые и молодые, даже мальчишки — все они двинулись на меня угрюмой стеной. В руках замелькали вилы.

— Погодите, товарищи...

Я быстро взобрался на крыло и попытался успокоить разъяренную толпу.

— Честное слово, свой я, свой! Советский! Вот и пистолет...

Но не тут-то было.

— Бабы, не пускай рыжего в кабину, улетит, — визжал кто-то, — знаем мы таких «своих».

— Отдай пистолет! — истошным голосом заорала Мотря.

— Ну нет, — я зло вытянул «ТТ» из кобуры, — этого не дождетесь.

Уже кого-то верхом послали в город за милицией, а я все еще продолжал доказывать свое происхождение. Не обошлось без крепкой ругани, которая, кажется, возымела действие и больше другого утвердила всех в мысли, что я русский.

Было совсем темно, когда председатель колхоза, наконец, решил смиростивиться. Я влез в кабину, скомандовал:

— Зальем мотор.

— Есть залить, — ответил Кузьмич.

— К запуску...

Вместо привычного «есть к запуску» снова раздался крикливый голос Мотри:

— Граждане селяне, я против того, чтобы этого типа отпускать. Пусть проверят органы. Кто за мое предложение, прошу поднять руки.

Выглянув из кабины, я увидел колхозную демократию в действии. За Мотриной рукой робко потянулась вверх одна рука, другая. Уже увереннее — пятая, десятая...

Председатель пожал плечами, сердито сплюнул и предложил:

— Пойдемте до села. Подождем, пока приедут из города.

Понося в сердцах бдительную Мотрю, я оттащил самолет на прежнее место и накрепко привязал его.

Из Вознесенска приехали поздно вечером. Знакомый воентехник с обслуживающей нас аэродромной базы сразу рассеял подозрения. А когда все передрыги уладили, нас попросили выступить перед населением.

В низком зале бревенчатого клуба народу собралось битком. Все село хотело послушать фронтового летчика. До этого мне как-то не приходилось выступать перед большой аудиторией. Я оробел. Запнясь и путаясь, рассказал, как воюют наши летчики, пехотинцы.

Мне долго и дружно аплодировали, потом стали задавать вопросы.

— А правда, что фашистские самолеты — бесшумные?

— Скоро кончат «заманивать» врага в глубь страны?

— Может, встречал моего Василя Пересунько? — интересовалась старушка.

— И моего Орхипа Спичко! — подхватила молодая русоволосая женщина с ребенком на руках.

Но кульминация наступила позже.

После собрания председатель колхоза привел меня на ночлег в добротную, чистую хату. У калитки нас встретила... тетка Мотря. Рядом с ней стояла статная красивая молодуха, та самая, которую я назвал «тетушкой».

Красный от стыда, я с трудом переступил порог комнаты, где был уже гостеприимно накрыт стол.

— Знакомьтесь, сидайте вечерять. То моя племянница.

— Таня Смирнова из Моршанска, — протянув теплую руку, представилась «тетушка».

Над блестящими синими глазами брови с изломом, такие же густые и черные, как и волосы, во всю щеку разлился нежный румянец. Рядом с ней, среди такого непривычного теперь для меня уюта, я почувствовал себя неотесанным чурбаном.

Был поздний час. Спать меня уложили в горенку, когда все поднялись из-за стола. Хозяйская пуховая постель, прохладные простыни, звон прибираемой

посуды — все было знакомо и в то же время волшеб-но. В раскрытое окно тянуло сладкой, как мята, зем-лей и чем-то необъяснимо родным, деревенским. Все мое существо охватила истома. Я повернул го-лову.

За перегородкой, на фоне тонкой кисеи, освещен-ная тусклым светом лампы, стояла Таня. Вся в белом, стройная, гибкая, она напоминала сейчас березку в прозрачной пелене тумана.

Я лежал, не шевелясь, не отрывая взора от этого видения. И чувствовал себя как в детстве, когда за-глядывал в недозволенное. Девушка, видно, поняла, что я за ней наблюдаю, шевельнулась.

— Спите, — произнесла она с материнской забо-той и прикрутила лампу. Мне стало стыдно. Стыдно от того, что так просто разгадала меня эта дитя-женщина. Ее голос чем-то напомнил голос жены.

Фиса... Где она, именно теперь, в этот момент? Я пересчитал дни разлуки с семьей — дни, потребо-вавшие такого напряжения духовных и физических сил. Их было не так уж много. Но казалось, с тех пор прошла вечность. Я вспоминал глаза жены в минуту отъезда, ее одинокую фигурку на краю перрона. Нет, как бы ни были круты события, велико расстоя-ние — тоску по любимой ничем не приглушишь.

С того дня, когда началась война, я посылая жене множество телеграмм и писем по разным адресам, но ни одного ответа не получил. Жила она, навер-ное, без денег, а я даже не знал, куда переслать ей денежный аттестат. «Завтра еще раз пошлю в Сверд-ловск телеграмму, — засыпая, решил я про себя. — Из тыла-то, может, лучше дойдет».

Утром, едва встав с постели после крепкого, пря-мо-таки богатырского сна, я увидел, что вся моя оде-жда и комбинезон выстираны и аккуратно отглаже-

ны. Даже сапоги, начищенные, стоят у порога. В хате нашлась и бритва. Подавая полотенце, хозяйка заметила:

— Хоть и дюже гарна твоя майка — отродясь такой не видывала, — но спорол бы ты эту бисову курицу.

Простились мы как родные.

Еще не взошло солнце, а в низинах клубился туман, когда я делал прощальный круг над селом, над хатой, где ночевал.

Аэродром безмолвствовал.

Я обошел несколько палаток, прежде чем разыскал старшего лейтенанта Соколова. Он обрадованно вскочил и без умолку расспрашивал о фронтовых новостях. Услышав о гибели Атрашкевича, Соколов побледнел, отчего обгоревшее лицо — память о монгольских боях — стало пятнистым, сразу как-то замкнулся, молча собрал свои пожитки и потом всю дорогу не проронил ни слова.

С первыми лучами солнца мы взяли курс на свой аэродром, а спустя два часа докладывали командиру полка: Соколов о своем прибытии, я — о выполнении задания.

Не успел я отойти от КП, как меня окликнули. У питьевого бачка стояли дородный Пушкарев и Петя Грачев.

Комиссар заметно похудел. От Грачева пахло больницей. Кисть его левой руки была забинтована, лицо побледнело, но большие светлые глаза по-прежнему жизнерадостно искрились.

Пушкарев несказанно обрадовал меня, передав весточку от жены. Оказывается, он сопровождал эшелон с семьями до самого Кировограда.

Фиса сообщала, что не знает, на что и решиться: то ли оставаться в Кировограде, то ли добираться

до Урала к родным; на дорогу нет ни денег, ни вещей: выехали с сынишкой в том, что успели надеть на себя.

Шагая на стоянку, мы разговорились о делах эскадрильи. Подбежал Германовшвили и уговорил нас пойти посмотреть две самодельные зенитные установки. Он смастерил их вместе с другими оружейниками. На обыкновенные козелки, которыми поддомкрачивают самолеты, ребята наварили стальные дуги, а на дуги закрепили по два «ШКАСа» и самолетный прицел. Внешне установка чем-то напоминала авиационную турель. Стрелять она могла в любом направлении.

Вазо тут же выпустил пару очередей по непригодному стабилизатору от «Чайки», находившемуся от нас примерно в пятистах шагах. Стабилизатор упал.

— Смотри, смотри, как я стрелял. Ни одной пули мимо. Вот так и фашисту будет. Жаль, к нам на аэродром еще ни разу не пришел.

— Но, но! — прикрикнул на него Грачев. — Типун тебе на язык! Накличешь...

Наш аэродром, затерявшийся среди обширных полей, вблизи глубокого оврага, в тени перелесков и посадок, немцам действительно обнаружить еще не удалось, хотя они упорно разыскивали его.

Пулеметные установки всем понравились. Германовшвили был счастлив. И мы тоже повеселели: наконец-то можно защищать аэродром в случае воздушного нападения.

Петя Грачев взглянул на свои огромные «кировские» часы. Других он не признавал и носил их по старинке: с цепочкой в брючном кармане.

— Четверть седьмого. Побегу. Скоро с бомберами вылетаем, на сопровождение.

— Рука тебе не помешает? — озабоченно спросил Пушкарев.

— Чепуха. — Петя небрежно махнул раненой рукой. — Драться можно и одной. Злости, как говорил Коля Яковлев, у нас через край. — Грачев потер лоб. — Да, вот что. Газеты мы получаем редко, писем совсем нет. Скучно людям без этого. Пошуровали бы, товарищ старший политрук, полевою почтой.

— Ну и парень! — глядя ему вслед, восхищенно заметил Пушкарев. — Бесстрашный и заботится обо всех. Ну а твои как дела?

— Второй день «безлошадный», товарищ комиссар. Боюсь, не «прихватили» бы опять на какое-нибудь наземное задание.

— К Хархалупу пройдемся?

Утро было на славу. Дышалось легко. Чтобы не болтаться без дела, я согласился.

Хархалуп сидел на траве в тоскливой задумчивости и попыхивал папиросой, наблюдая за работой медлительного с виду Городецкого.

Из оврага тянуло прохладой. Над лесом повисла нежная бело-синяя дымка. Казалось, взлети самолет, и дрожащий воздух сметет ее, как паутину.

Тревожное чувство, возникшее еще вчера, после гибели Атрашкевича, не давало Хархалупу покоя. Семен Иванович особенно тяжело воспринял это известие. В Бельцах они жили по соседству, и семьи их были очень дружны.

Заметив нас, он встал, улыбнулся, шагнул навстречу. Коверкотова гимнастерка, как и прежде, плотно облегла могучее тело. Лицо потемнело еще больше, осунулось, ямочка на подбородке запала.

— Превеликий поклон тебе, Семен, от семейства, — Пушкарев сильно встряхнул его руку, — все наказывали, чтоб врага крепче бил.

— Спасибо, старина, за добрую весточку, — Хархалуп обрадованно похлопал комиссара по полным бокам. — Как сыновья себя чувствуют? Володька как?

— Володька твой, бутуз, весь в тебя. Фуат молодецом, помогает в дороге во всем, с Валеркой возится. К тебе очень рвался, фашистов бить. Ну, а Ханифа об одном меня просила: говорит, горяч он у меня очень, упрям, говорит, передай, чтобы осторожен был, а за нас пусть не беспокоится.

— За добрые слова спасибо ей, — лицо Семена посветлело, — сильная она у меня. А фашистам мы спуску не даем, комиссар.

— Знаю, наслышался о вас. — Пушкарев оправил гимнастерку. — Даже не верится! А летчики как преобразились! Собранные, боевые и говорить-то стали иначе.

Я не сводил глаз с Хархалупа и, несмотря на внешнее его оживление, каким-то чутьем угадывал, что на душе у него неспокойно. Казалось, каждый его нерв, каждая клеточка его тела напряжены. Вот он передернул плечами, точно желая стряхнуть с них невидимую тяжесть.

— Эй, скоро ты, старина? — недовольно крикнул он Городецкому.

— Я тебе в который раз говорю, — техник на секунду высунулся из кабины, — к сроку самолет будет. Шел бы отсюда да не мешал, да меньше папирос смолил, — гляди...

Хархалуп не дослушал дружеских наставлений и неожиданно проговорил:

— Сегодня у меня вроде маленького юбилея — к пятидесятому вылету готовлюсь, а этот неповоротак-ковыряха, — он сердито посмотрел на Городецкого, — мне только нервы портит.

— ...Вот и говорю тебе, — не слушая, ворчал Городецкий, — от курева синяки уже под глазами.

— Отцепись, репей!

— Я вот и спрашиваю — какой репей к душе твоей прицепился? — вылезая из кабины, ворчал техник. — В бой лететь с ясной головой надо; на одну силу, паря, полагаться нельзя.

Хархалуп взял флягу, нацедил стакан и поднес ко рту. Пить ему не хотелось, он скривил лицо, будто глотал отраву. Наши взгляды встретились. И тут глаза его улыбнулись, словно говоря: «Ничего, все пройдет. Это для успокоения». Но я понял — ему трудно сейчас сосредоточиться на чем-нибудь одном. Хархалуп крикнул, вытер губы тыльной стороной ладони, взглянул на техника:

— Да, паря, — Хархалуп выговорил это слово, как Городецкий, — войну выиграет не тот, кто на одну силу надеется, а кто умом, духом побогаче. Бьют нас сегодня, а все равно сдюжим. Верно, Грицко? — и, не дав мне ничего сказать, как-то особенно тепло улыбнулся Пушкареву.

— Беспокоится, говоришь, обо мне Ханифа? Всегда такая была. Женщине, говорит, больше дано, больше на ее плечах лежит забот и ответственности.

— Замечательная она у тебя. Помнишь, избрали тебя членом городской избирательной комиссии?

— Еще бы! Первые выборы в Советы Молдавии! Она ведь тогда Володю ждала последний месяц. Выпроваживала на избирательный участок и наказывала: «Не забывай, Сема, для нас с тобой это праздник особый, двойной. Ты же на этой земле родился».

— А сколько нам помогала! С народом сколько бесед о конституции провела! По домам ходила. Молдаванки потом сами к ней на агитпункт прихо-

дили. Но и за тебя переживала, чтоб ты у нее был лучше всех! Чтоб еще больше гордились тобой земляки.

В кустах гулко треснул пулемет. Хархалуп вздрогнул от неожиданности, огляделся по сторонам, словно ждал чего-то еще, ждал, взвинченный до предела. Поспешно вытащил массивный портсигар, мысли его тотчас переключились на немцев:

— Не отнять у них смелости. — По щеке горошинкой скатилась капля пота. — Их дерзость близка к героизму. Но все это не то, что у нас. — Было ясно, что сказал он это больше для себя, чем для нас. — Отдать жизнь не по приказу, а по велению сердца, как это сделал Яковлев, — фашисты не способны.

— Хватит тебе курить, — ворчал Городецкий, — самолет я сделал, а времени еще вон сколько.

Хархалуп машинально глянул на часы, повертел в руках портсигар, громко прочитал надпись на крышке: «Нам разум дал стальные руки — крылья, а вместо сердца — пламенный мотор».

— Подарок моего командира, Юсупова. Простая штука — вещь, вот даже портсигар, а насколько долговечнее людей! Впрочем — это древнейшая истина.

Хархалуп задумался; вспомнилось, как много дала ему юсуповская семья: образование, любовь к книге, а позднее, когда Семен поклялся на могиле Шарифа Юсупова стать отцом его сыну Фуату, — и настоящее счастье: Ханифа стала женой, матерью Валерки, Вовки.

— Самолет будешь смотреть — проверь, как резинку на сектор газа тебе приделал, — напомнил Городецкий.

Хархалуп безразлично отмахнулся.

— Успеется еще.

— Зачем нужна резина? — поинтересовался я.

— Он заставил, — техник кивнул на Хархалупа. —

Пойдем, взглянешь.

Я заглянул в кабину.

— Семен Иванович говорит — если летчика ранят тяжело, то резинка не даст убраться сектору газа. Понял?

— Значит, мотор будет тянуть на полную мощность? Умно. Сегодня же Богаткина попрошу, пусть сделает.

— Не узнаю я сегодня Семена Ивановича. Подавленный, мрачный.

— Может, болен?

— Спрашивал. Говорит, здоров. За Атрашкевича переживает.

Подошли летчики. Хархалуп надел кожанку, затаился потуже:

— С запуском не тянуть. За воздухом смотреть в оба. На обратном пути прикрывать бомбардировщики до посадки. — Он посмотрел на веснушчатого востроносового летчика. — Ты, Карпович, летишь с нами впервые, смотри: зубами за меня держаться.

Все торопливо разошлись по самолетам. Хархалуп забрался в кабину, сердито отдуваясь, пристегнулся ремнями.

— Вот так, комиссар, в кабинах от зари до зари. — Он улыбнулся Городецкому. — На меня, старина, не сердись. Понимаешь, в душе что-то плавится, а что — не пойму. Ханифа меня, бывало, вразумляет: перед человеком извинишься — не провинишься.

С недобрыми предчувствиями провожали мы взглядами взлетевшие самолеты. Пушкарев хмурился; подавленный, присел на баллон Городецкий. Я побрел к своему самолету.

* * *

Неизвестно откуда на аэродром напал туман, окутал все вокруг непроницаемой пеленой. Он превратил солнце в тусклое желтое пятно, вобрал в себя все его лучи, приглушил голоса до шепота.

С боевого задания должны были вернуться две группы самолетов, почти половина полка! Тревога росла с каждой минутой. Летчики возвращаются с пустыми баками. Где и как они сядут?

Час прошел. Два... три... Известий все не было. Туман сгустился, из молочного стал серым, потом свинцовым. На командном пункте, на аэродроме — везде царило тревожное ожидание. Наконец первые сведения: летчики сели кто в Котовске, кто в степи. Но узнать обо всех пока не удавалось.

С первыми проблесками солнца командир полка вылетел к местам вынужденных посадок.

В полдень летчики начали слетаться. Возвращались и в одиночку, и парами. Из нашей эскадрильи не было лишь Комарова и группы Семена Ивановича. Борис сел в поле, сломал при посадке самолет — это нам было известно. О Хархалупе же особенно не беспокоились. Бомбардировщики сообщили, что он сопровождал их почти до посадки, и все были уверены: Семен Иванович где-то уютно «пристроился» со своими летчиками, ждет, когда кончится туман и доставят бензин.

К вечеру распогодилось. Волнение немного улеглось. Мы вылетели еще раз сопровождать бомбардировщики. Я на дубининской «Чайке» был ведомым у капитана Солнцева.

Яссы встретили нас сильным огнем крупнокалиберной зенитной артиллерии. Черно-белые барашки разрывов усеяли небо. Бомбардировщики сбро-

сили бомбы северо-западнее города и начали поворачивать домой. В этот момент под хвостом самолета Солнцева разорвался зенитный снаряд.

Взрыв был так силен, что мой самолет отбросило в сторону и перевернуло на спину. Когда я пришел в себя, ни Солнцева, ни Зибина рядом не было. Я быстро пристроился к звену Шульги и, обеспокоенный судьбой своих напарников, вернулся на аэродром. Там я и встретил обоих. Они решили, что несчастье произошло со мной. Оказывается, Солнцева тоже перевернуло; он угодил в облако, сорвался в штопор и крутил, по его словам, почти до самой земли.

Но самое интересное и непонятное заключалось в другом: и мой самолет, и самолет Зибина изрядно пострадали от осколков, а в «Чайку» Солнцева не попал ни один.

Вася Шульга объяснял это просто. Для большей наглядности он взял обыкновенный пулевой патрон, вертикально поставил его на ладони.

— Представьте себе, что снаряд в таком положении взрывается. Где у него основная масса осколков? — Он провел кончиком карандаша сверху вниз по «снаряду». — По всей длине корпуса.

Маленькие глазки Шульги лукаво поблескивали.

— Куда они разлетятся при взрыве? Конечно, во все стороны. А что полетит вверх? Вот — один этот малюсенький носик. — Васянька вытащил из гильзы пулю, для убедительности подбросил ее вверх.

— А ведь верно говорит, ребята, — согласился кто-то.

— Ерунду порет, — горячо возразил Тетерин, — по его теории получается, что полдюжины дырок в моем самолете после прошлого вылета — тоже от носика? Так, что ли?

— В тот вылет, Леня, у фашистов были особые снаряды: перед тем, как взорваться, они поворачивались к тебе боком.

— Совершенно верно, — засмеялся Васянька, — как объяснить иначе, почему тебе так здорово всыпали?

Услышав хохот, командир полка и Солнцев оставили израненных «Чаек» и подошли к нам. Иванов теперь регулярно осматривал каждый поврежденный самолет и по пробоинам вместе с летчиком разбирал допущенные им в бою промахи.

— Как, товарищи, не унываем? — нарочито беззаботно спросил он. Но я заметил, что прутик в его руке начал пощелкивать по голенищу.

— Не-ет!.. — отозвалось несколько голосов.

— Вместо шуточек лучше б тактикой занялись. Меньше бы в самолетах пробоин привозили, — назидательно заметил Солнцев.

— Вы, товарищ капитан, будто в воду смотрели, — засмеялся Крейнин. — До вашего прихода Шульга так это расписывал, что впору кое-кому поучиться.

Солнцев слегка смутился, но лицо его не выразило и тени недовольства.

Этот до войны неплохой летчик сейчас заметно терял у нас уважение. Боевых вылетов он старался избегать. А ведь в то время, когда никто из нас не имел боевой закалки и надлежащего опыта, от комэска зависело многое. Прояви он в бою минутную слабость, прими неверное решение, и под угрозой окажется многое: выполнение задания, люди. Такие, как Атрашкевич, Ивачев, Хархалуп, Шелякин, были для нас примером.

Иванов стряхнул минутную задумчивость.

— Хорошо, что не вешаете головы. На войне без этого нельзя. Так ведь?

Он словно искал ответа на какие-то свои мысли. Ему было нелегко, этому рослому, плечистому человеку. Заботы и неприятности на наших глазах старили, сутулили майора, а без них теперь и дня не проходило. Сейчас ему не давала покоя судьба пятых летчиков. Произошло что-то неладное, но нужно крепиться, не подавать виду, ждать.

Тетерин, как всегда, не упустил случая блеснуть перед командиром знанием фольклора.

— Мудрость народная говорит: при хорошем настроении жить хочется, а умирать не можется.

— Что ж, верно, пожалуй, — согласился Иванов, — но мудрость узнается в делах. Не тот мудр, кто красиво говорил, а тот, кто хорошие дела на земле оставил. — И неожиданно для всех круто перевел разговор на другое, что, по-видимому, и привело его к нам: — Послушаешь кое-кого и понимаешь: да ведь они гордятся пробоинами в своих самолетах, считают их чуть ли не доказательством храбрости.

Я покраснел, склонил голову. Неужели командир полка имеет в виду меня? Искося глянув на товарищей, я понял, что и они испытывают такое же чувство.

Иванов нахмурился. Прутик чаще застучал по голенищу.

— За последние два дня от зенитного огня и в воздушных боях повреждено семь машин. Я не говорю о мелких повреждениях. Сегодня в тумане поломали два самолета. О пяти ничего не известно. Если так воевать дальше... — командир обвел всех взглядом. — Живучи, очень живучи наши самолеты. Вчера на какой машине прилетел Фигичев: плоскости, фюзеляж — сплошное решето. За ночь заклеили дырочки и снова в бой. О чем это говорит? Невнимательны мы в воздухе, неосмотрительны. А ведь

наблюдательный летчик — уже наполовину хороший летчик.

— Товарищ майор, разрешите? — Паскеев решил высказаться. — Разве зенитка знает, кто из нас наблюдательный?

— Она нет, а ты должен знать, куда она будет стрелять. Только что вы сопровождали бомбардировщики. Зенитка стреляла по ним, а попало вам... Почему? Случайно? Нет. Бомбардировщики на развороте курс сменили, вы оказались на их месте. И то, что один снаряд чуть троих не сбил, тоже не случайно — плотным строем летели...

В тактике, казалось мне раньше, нет ничего такого, о чем стоило бы крепко думать. Достаточно взлететь, вовремя схватиться с противником — и все ясно: бей врага! Теперь я понимал: одного желания бить недостаточно. Нужна практика и практика. Вот ведь как получается: командир полка, сидя на земле, видит больше, чем мы в воздухе.

— И все же чаще всего мы несем потери по своей вине, — наставлял нас командир полка. — Кто не умеет видеть в воздухе, тот не истребитель. Враг не так страшен, если ты увидишь его первым или хотя бы заметишь своевременно. Тогда еще есть время принять разумное решение.

Майор рассказал нам, как однажды, увлекшись погоней, сам едва не поплатился жизнью. Скупые жесты, несколько точных деталей, — и я четко представил, как это было, почти физически ощутил необходимость осмотреться, повернуть голову навстречу опасности. Как велика дистанция между его опытом и нашими авиационными навыками!

Иванов был именно тем командиром, в советах которого мы постоянно нуждались.

— Летчик должен быть строгим судьей, прежде

всего, самому себе, — учил Иванов. — Иначе он не сможет научиться контролировать свои действия в бою, замечать и анализировать ошибки.

Только нападение, подчеркивал майор, дерзкое, стремительное, дает возможность навязывать фашистам свою волю.

— Не забывайте: у немцев воздушный бой ведут люди, а не автоматы. Для них война — личная победа, дух коллективизма им чужд. У нас — наоборот.

Этот разговор превратился в наглядный урок тактики. В конце командир полка кратко ознакомил нас с последними данными разведки.

— Временное снижение активности немецкой авиации — затишье перед бурей. Противник подтянул новые свежие дивизии, со дня на день он может перейти в наступление. И вас ждут горячие денечки.

Когда командир полка ушел, мы с Грачевым решили зайти в ремонтные мастерские. Молча шагая по тропинке, Петька то и дело кончиком сапога отбрасывал в сторону камешки и сучки. Верный признак, что он не в духе. Что его волновало? Молчал он и на обратном пути. Я знал — заставить Грачева разговариваться можно, только рассердив его, выведя из себя.

— Ты что это из лазарета сбежал раньше срока?

Вместо ответа последовал плевок сквозь зубы.

— Знаем, знаем. И рад бы полежать еще с неделку, да...

Петька молчал, только передернул недовольно плечами, словно хотел сказать: не болтай чепухи.

— Блондинка-сестричка Кольку Чернова предпочла? Что ж, парень видный. Старший лейтенант.

— Пшел к чертям! — Грачев зло пнул ногой кусок кирпича и тут же присел от боли. — Дурак...

— Она тебе так сказала? За что же? Ты ведь не урод.

— Перестань паясничать. Нужна мне она... Ты хоть подумал, о чем говорил командир полка?

— А что тут думать? Все ясно. Тебя касается и меня. Воевать надо учиться.

— Черта лысого тебе ясно, — перебил Грачев. — Ты скажи, не оттого ли немцы всыпают нам, что кое-кто хвосты им показывает?

Это, видимо, и волновало Петра, не давало ему покоя. И заговорил он об этом неспроста. Должно быть, за кем-то что-то заподозрил, но полной уверенности еще не было, и потому он молчал.

— Не знаю, в чей огород ты камни забрасываешь, — мне хотелось заставить его выложиться до конца, — но за себя могу тебе сказать: побаиваться немного перед вылетом, да и в воздухе — это есть, конечно, но трусить и чтоб хвосты... Между прочим, не со стороны ли мотора выбили тебе приборную доску и руку поцарапали?

Оставив без внимания мою шпильку в свой адрес, Петя остановился, заговорил примирительно:

— Не об этом я думаю...

И он рассказал мне об утреннем вылете.

«Чайки» штурмовали в лесу скопление вражеских войск. Как всегда, было много зениток, особенно яростно огрызались «эрликоны». Грачев и Комаров должны были подавить их. Последовала одна атака, другая. После третьей Бориса рядом почему-то не оказалось. Полный беспокойства за друга Грачев тревожно осматривал землю, но там горело лишь несколько автомашин и не было ничего, хоть отдаленно напоминавшего сбитый самолет.

«Куда он делся? Может, подбили?» — размышлял Петя весь обратный путь. А тут, как назло, аэродром обволокло туманом. Горючее на исходе. Вдруг Борис ранен?

Едва они успели сесть, как аэродром и тут наполовину закрыло туманом. В это время показался «МиГ» Комарова.

Вскоре выяснилось, что Борис плюхнулся в поле. Где он находился все это время, неизвестно. Заблудился? Но он знал этот район отлично. Своим всевидящим оком Петя еще раньше подметил: Борис побаивается зениток.

— Пойми ты, хоть он и друг, но такое пахнет знаешь чем, — горячился Грачев.

Я старался разубедить его, советовал не забивать себе голову пустыми подозрениями, пока не вернется Борис. Но проницательный Петя почувствовал мою осторожность, чертыхнулся в сердцах и уже почти спокойно сказал:

— Ничего. Мы еще поговорим на эту тему.

— Смотри, Петька, на КП уже машина подошла, наверное, наши на ужин собираются.

Грачев вытянул за цепочку «кировские», отрицательно мотнул головой.

— Рановато вроде. А ну, прибавим «газку», — предложил он.

Мы зашагали быстрее.

— Смотри, о нашем разговоре молчок, — предупредил Грачев.

— Как дела, ребята? — нетерпеливо крикнул я нашим издали.

— Еще трое нашлись: Викторов, Хмельницкий, Дмитриев, — сообщил Крейнин. — Викторов при посадке в поле скапотировал.

— Слышишь, — тихонько шепнул я Грачеву, — Викторов тоже подломал, а ты на Борьку подумал...

— А Хархалуп? — не удостоив меня ответом, спросил Петя.

— О нем, Меметове и Карповиче вестей пока нет.

— Сидят где-нибудь тоже, — убежденно заявил Тетерин, — не таков Семен Иванович, чтобы не выбраться из переплета.

На рассвете вернулся Комаров, измученный, голодный, за плечами — парашют, лицо поцарапано.

Дубинин разрешил ему отдохнуть денек, а я уговорил Грачева не расстраивать Бориса расспросами.

После завтрака меня вызвали на командный пункт. Там, как всегда, дым стоял коромыслом. Из штаба дивизии пришли первые сообщения о том, что немцы возобновили наступление.

Матвеев был занят, и я, доложив о прибытии, отошел в уголок, прислонился к стене. Ко мне подошел майор Тухватулин, его заместитель. В полк он прибыл незадолго перед войной, окончив военную академию. Оттого ли, что майор не вошел еще в свою роль, а может быть, от природы, был он какой-то нерешительный и особой самостоятельностью не отличался.

— Вы давно летали на «УТИ-4»? — спросил он озабоченно.

— Что вы! Я на нем вообще не летаю.

Тут меня подозвал Матвеев.

— Вот что, Гриша, — многих он звал просто по имени, — быстренько возьми «УТИ-4», слетаешь с Тухватулиным в Григориополь.

— Я?

— Не я же! — Начальник штаба усмехнулся.

— Товарищ майор... — я хотел было сказать, что на «УТИ-4» летал только пассажиром.

Но Матвеев перебил:

— Знаю, знаю. Вернешься — и снова на свою «Чайку». Не посылал бы, да Плаксин где-то в Казанештах застрял, а дело срочное. Тебе все ясно? — повернулся он к Тухватулину.

— Ясно, товарищ майор. Я бы хотел... — заикнулся Тухватулин, имея в виду то же, что и я.

— Коли ясно, немедленно вылетайте. В дивизии уточни хорошенько сигналы взаимодействия с бомберами. Понял? — И Матвеев выпроводил нас из землянки.

Не помню, шел я или бежал к самолету. Сердце отчаянно стучало в груди. Вот она, судьба военная!

Честное слово, Матвеев стал для меня каким-то небесным благожелателем. С его легкой руки я сел в «Чайку». Теперь он, сам того не ведая, «благословил» на самолет, от которого один шаг до «МиГа».

Я взволнованно забрался в кабину, запустил мотор. Через несколько минут мы уже были в Григориополе. Тухватулин где-то задержался. Время было обеденное. В надежде найти что-нибудь перекусить, я пришел на КП. В это время солдат с наблюдательной вышки крикнул:

— К аэродрому подлетает девятка «Су-2».

Стрельнула сигнальная ракета на взлет. Из землянки посмотреть сбор бомбардировщиков с истребителями сопровождения вышел генерал Осипенко.

Характерно неуклюжие по своей конфигурации одномоторные «Су-2» звонко рокотали под облаками. Неожиданно вокруг командного пункта защелкали пули. Все кинулись в укрытие, озираясь, откуда же свалилась такая оказия.

Гулкое небо вновь вспорол перестук крупнокалиберных пулеметов. И тут, еще не оправившись от испуга, я изумленно ахнул: по отставшему «Су-2» строил наш «МиГ». Это от его очереди повалились срубленные ветки акации возле меня. Очухался ретивый вояка лишь после опознавательных ракет с бомбардировщиков и сразу же скрылся.

Подбитый «Су-2» потянул на свой аэродром. Всех возмутил не сам факт произошедшей ошибки: война есть война. Но коли уж ты совершил промах, то не скрывайся трусливо, а проследи за судьбой этого самолета и даже окажи возможную помощь.

Генерал приказал немедленно отыскать виновника и отдать под суд. Но... на войне всякое бывает.

Оттуда нас послали к бомбардировщикам. Пока Тухватулин утрясал вопросы взаимодействия, я узнал подробности бомбежки этого аэродрома.

...В то утро в полку ждали прибытия новых бомбардировщиков «Пе-2»: в полку только начали их получать. Все было подготовлено к приему. Звено двухмоторных вражеских самолетов, очень похожих на «Пе-2», прилетело на аэродром с выпущенными шасси и имитировало заход на посадку.

На полосе выложили посадочные знаки. Люди предвкушали радостную встречу с новыми самолетами. Внезапно на головы посыпались бомбы... То были «Мессершмитты-110».

...Я молча разглядывал скелеты восьми сгоревших бомбардировщиков. Поразительно, как хорошо немцы были осведомлены о наших делах!

* * *

Мы с Тухватулиным вернулись на свой аэродром в сумерках. Я так привык за это время к новому самолету, что казалось, летаю на нем всю жизнь. Из кабины не хотелось вылезать, я хотел поделиться этим с техником, но Чебукин навзрыд проговорил:

— Погиб Хархалуп...

Подробностей он не знал. Привез эту скорбную весть Яша Меметов, который сообщил, что видел, как недалеко от Окницы упал самолет. Сам он теперь

был в госпитале. Пушкарев и еще несколько человек сразу же выехали к месту падения. Вернулись они на другой день уже с похорон Семена Ивановича.

Я разыскал Пушкарева возле капонира, где недавно стоял самолет Хархалупа. Комиссар и техник Городецкий сидели на ящике — молчаливые, неузнаваемые. У техника в руках была пилотка и початая пачка «Казбека» — все, что осталось от его командира.

— Как же это случилось?

Пушкарев грустно развел руками.

— Упал он почти у родного дома. Не там, где указал Меметов. Это около ста километров от Окницы, ниже по Днестру. Яша, видно, перепутал населенные пункты. А может, видел кого-то другого. Был бой...

И старший политрук со слов очевидцев-односельчан рассказал, как все произошло.

...В то теплое ясное утро, когда на сельской улице горланили петухи и в поле, просыпаясь, перешептывались колосья, небо огласило тяжелое надсадное гудение. С севера к селу приближалось девять «Ме-110». Не успели константиновцы подумать о грозящей им опасности, как над Каменкой врага перехватили три советских истребителя.

Это они, Хархалуп, Карпович и Меметов, отсекли путь девятке «Ме-110» к рыбацкому железнодорожному мосту. Трое против девяти. Свинцовые стрелы рассекли воздух. Задымилась первая вражеская машина. И тут же был подбит наш истребитель — вышел из боя и потянул на Рыбницу Яша Меметов. Два других еще отчаяннее набросились на фашистов. Они ловко ускользали из-под вражеских атак, стремительно нападали, изворачивались и снова шли в атаку. Но враг превосходил теперь уже вчетверо. Подбитым упал на Болганском поле еще один крас-

нозвездный. Второй только на секунду упустил из виду врагов — надо же взглянуть, что с товарищем, — и тут... Точная очередь фашиста хлестнула по фюзеляжу, крыльям...

Вся Константиновка наблюдала за неравной схваткой, рассказывал Пушкарев. Бригада табаководов вместе с бригадиром Александром Бородиновым сгучилась на околице.

— Вжарьте им, хлопцы, бисовым душам! — кричал размахивая лопатой, Алексей Безручко.

— Шо, не по нутру, гадюка? — грозил вслед дымящемуся фашисту Василий Асуляк.

Бабушка Мария и дед Иван, как звали в селе стариков Хархалупов, выбрались на огород и не сводили подслеповатых глаз с неба. Когда последний советский истребитель с ревом прочертил над самыми головами дымный огненный след и упал рядом с огородами, старик перекрестился, а бабушка Мария схватилась за сердце.

Первыми прибежали табаководы. Вокруг воронки были разбросаны обломки самолета, глубоко в землю врезался пропеллер и части мотора. Неподалеку, лицом вниз, бессильно раскинув руки, лежал летчик. Его бережно подняли, положили под голову кожанку, прикрыли парашютом. Сверху положили портсигар и часы. Они показывали утро восьмого дня войны. Лицо было обезображено до неузнаваемости.

Кто же он, этот старший лейтенант, отдавший за них жизнь? Документы целы. Красная книжечка партбилета еще хранила тепло его сердца. Бригадир раскрыл ее, замер.

— Читай.

— Билет номер четыреста шестьдесят шесть ты-

сяч восемьдесят пять, — произнес Александр Назарович.

— Билет номер... — повторили константиновцы.

— Фамилия? — тихо спросил кто-то.

— Фамилия... — бригадир глазами поискал кого-то в толпе и с трудом выдавил: — Хархалуп Семен Иванович...

Вздогнуло, пошатнулось бездонное небо.

— Сема!..

Мать без сознания упала на грудь сына.

В скорбном молчании стояли односельчане. Женщины плакали. Да и мужчины не скрывали своих слез. Каждый думал о жизни Семена — кипучей, промчавшейся ярким метеором на их глазах. По этой земле бегал Семен босоногим мальчишкой. Тут его впервые покорило небо, такое же прозрачное и теплое в тот день, как и сегодня. Все помнили, как он, летчик, приезжал в родную деревню в отпуск: брал в руки косу и свободно, широко шагал по полю — не каждый, кто сеял и косил всю жизнь, мог поспеть за ним. Не забыли они и то, как в синие, ласковые вечера рисовал им Семен будущее Константиновки.

— Когда мы приехали туда, — рассказывал Пушкарев, — Константиновка собралась на похороны. Приехали из Подоймы пограничники. Прогремел троекратный салют. Гроб опустили.

Оглушительно, как молот, стучала в висках тишина. В лучах заходящего солнца плавилась облака, папиросный дым тонкими струйками вился над головами.

— А что с Карповичем? — спросил я. Это он был второй летчик, упавший неподалеку.

Пушкарев встал.

— Он пока в больнице.

— Эх, Семен, Семен, — вздохнул Ивачев, — другие назвали бы это судьбой, а ты — своим долгом и честью. Помните, как он на парткомиссии выступал — меня отстаивал... Вернули мне партийный билет.

Старший лейтенант подошел к технику. Вид Городецкого привел меня в смятение. Он медленно качал головой. Устремленный куда-то взгляд выражал только беспредельную горечь. Мне показалось, что он близок к умопомешательству.

— Не падай духом, Николай Павлович, — попытался утешить его Ивачев. — Это теперь для нас главное. Фашистов надо бить. И мы будем их бить — за погибших ребят, за Атрашкевича, за Хархалупа — в три, в пять раз крепче будем бить. Увидишь. Только не падать духом.

Подъехала машина. Пушкарев взял Городецкого под руку, усадил в кабину. Все поехали ужинать.

Из столовой я вышел последним. Никуда не хотелось тащиться. На плечи навалилась свинцовая тяжесть. Внутри будто что-то надломилось, все вдруг отяжелело. В голову гудело набатом: «Не забыл ли ты, Семен Иванович, о каком-нибудь мелком козыре в роковом бою? Хотя нас об этом ты беспрестанно наставлял».

Тревожным сном забылись летчики. Рядом со мной беспokoйно ворочался Комаров: С присвистом похрапывал Селиверстов, на басах вторил ему Фигичев. За полночь усталость взяла свое. Я погрузился в тяжелое забытье.

Замер ненадолго аэродром. Но только внешне. С дальней опушки леса слышался перестук молотков, повизгивала дрель, раздавались приглушенные

голоса. Техники, не смыкая глаз, трудились в ремонтных мастерских. К утру надо было успеть залатать поврежденные истребители...

* * *

Вставать не хотелось. Но в крошечной тьме раздавался неумолимый голос Медведева: «Кто не хочет тащиться на аэродром пешком, поднимайся». И сразу же начинали скрипеть кровати; ворча и пожевывая, мы нетвердыми шагами направлялись к выходу.

В эти дни лихорадило даже барометр. Стрелка безостановочно прыгала по шкале, некоторое время показывала «переменно», а к ночи, как бы прогнозируя положение на фронте, уверенно сползала на «бурю».

Днем провели полковой митинг. Личный состав ознакомили с обращением партии и правительства к советскому народу. По радио выступил Председатель Государственного комитета обороны Сталин. Он говорил о смертельной угрозе, нависшей над Родиной. Призывал каждого человека, где бы он ни был, защищать свою отчизну: с оружием в руках, с отбойным молотком, у мартеновской печи и за штурвалом комбайна. У врага временное преимущество в технике. Его неслыханное вероломство стоило нам больших потерь.

Этот к нам обращался Верховный главнокомандующий: не знать страха в борьбе, не давать пощады врагу, отстаивать каждую пядь родной земли, проявлять смелость, находчивость, разумную инициативу. До последней капли крови, на земле, в воздухе и на море сражаться за родные города и села...

И мы верили, что силы наши неисчислимы, что враг будет разбит!

Выступил Костя Ивачев. Его слова стали как бы эпиграфом митинга:

— Наша любовь к Родине должна измеряться теперь количеством уничтоженных гитлеровцев. Нашу ненависть, ненависть каждого советского человека мы, летчики, понесем на крыльях своих истребителей...

К импровизированной трибуне подходили командиры и солдаты, работники штаба и базы обслуживания, летчики и оружейники. Все они, коммунисты и беспартийные, заверяли партию, народ в своей непримиримости, самоотверженности в борьбе с фашизмом.

В тот день наши летчики сбили шесть фашистских самолетов.

* * *

Прошла еще одна ночь войны, другая, третья... Не проходила только усталость, да писанина, как начальник штаба называл бесконечные отчеты, запросы, распоряжения. Одни из них радовали. Приятно, например, подписать донесение, в котором сообщалось, что летчиками полка за прошедший день было сбито шесть вражеских машин.

Матвеев еще раз просмотрел список отличившихся, улыбнулся: «...Лейтенант Селиверстов К.Е. сбил два «ПЗЛ-24»...». Молодец, Кузя, хоть и непутевый, а дерется отменно».

Оперсводка из вышестоящего штаба согнала с лица майора улыбку: «...В течение 3 июля силами двадцати с лишним дивизий и бригад румынско-немецкие войска захватили плацдармы на левом бере-

гу реки Прут, восточнее Ботошани и Ясс...» Начальник штаба нанес на карту новую линию фронта и задумался: два, похожих на тупорылый сапог, выступа отпечатались на нашей земле. Один из них своим носом был направлен на Бельцы.

«Да, работы сегодня нашим будет невпроворот». — Он подумал и глянул на часы. Надо будить летчиков, а боевая задача из дивизии еще не получена.

Матвеев искоса поглядывал на приоткрытый полог — за ним шифровальщик колдовал над телеграммой из штаба дивизии. Телеграмма тревожила Матвеева — все же противник начал новое наступление.

Коротка летняя ночь. Не успеют на горизонте разыгаться беспокойные отблески багрового заката, как засеребрится под луной земля, а там, глядишь, и восток запламенеет.

— Сулима, скоро расшифруешь?

— Не все еще передали сверху, товарищ майор. — Начальник штаба снова сосредоточился над бумагами.

— Павленко, кто составлял данные о потерях?

К столу подбежал маленький круглолицый воентехник.

— Почему младшие лейтенанты Рябов и Довбня в графе погибших?

— Они не вернулись с задания и сведений о них...

— Так и укажи, — резко перебил Матвеев, — не вернулись с боевого задания.

— Готово, товарищ майор, — тонким срывающимся голосом крикнул из-за полога шифровальщик. — Немецкие танки прорвались на Бельцы. Читайте.

Замерла над клавишами рука машинистки, смолкла чечетка телеграфиста, даже радиоприемник, словно пораженный известием, перестал издавать писк.

Заметив растерянность на лицах, начальник штаба быстро овладел собой.

— Медведев, ты почему здесь? Живо за летчиками! А вы что тут торчите? — прикрикнул он на капитана-связиста и адъютантов. — Марш за работу!

Нетвердо стукнула машинка, перекликнулся с ней телеграф. Деловая суета снова охватила командный пункт. Матвеев потер лоб, припоминая, что же еще нужно сделать до приезда командира и летчиков. Веки налились тяжестью. Сказывалось недосыпание. Майор вышел на свежий воздух.

Было очень рано, но рассвет уже решительно расталкивал звезды, высветлял темноту. Вокруг тишина, но только внешне. С дальней опушки леса доносилось пофыркивание машин, подвозивших горючее, боеприпасы. То в одной, то в другой стороне слышались шорохи самолетных работ. Техники, не смыкая глаз, устраняли неисправности, латали повреждения, а оружейники соскребали пороховую накипь, набивали боекомплекты. Матвеев расстегнул ворот гимнастерки и долго шумно плескался под ручной мойником. Когда подъехала командирская «эмка» и грузовик с летчиками, уже был внешне свеж и подтянут. Подготовлена к боевому дню была и вся штабная документация.

— Новости с передовой есть, Александр Никандрович? — поздоровавшись, озабоченно спросил Иванов.

— Тревожные, Виктор Петрович. Немцы в нескольких местах прорвали нашу оборону; крупные танковые силы продвигаются в глубь Бессарабии. Пойдемте, посмотрим по карте.

— Линия фронта, Виктор Петрович, на сегодня выглядит так, — начальник штаба указал карандашом на два красных выступа, направленных острия-

ми к востоку от Ботошани на северо-восток, по направлению к Бельцам. — Фашистская авиация на этих направлениях вела интенсивную разведку, мелкими группами «Юнкерсов» и истребителей наносила удары по обороняющимся войскам и подходящим резервам.

— Да, положеньице тревожное, — задумчиво произнес командир полка. — По-видимому, у немцев самые решительные намерения.

— Сегодня они будут осторожнее. Вчера наши ребята дали им жару. — Матвеев начал загибать пальцы на руке. — Светличный сбил одну «каракатицу»; Кузя непутевый, — глаза майора подобрели, — двух завалил. Вот ведь, чертяка, здорово дерется. Кто же еще сбил разведчика?

— Федя Шелякин.

— Верно. Шелякин стукнул «мессера», Мочалов — «Юнкерса». У него это первая победа — надо поздравить парня.

Матвеев подал очередной документ.

— Боевая задача на сегодня. Посмотрите: тут и штурмовки, и прикрытие войск, и сопровождение бомбардировщиков, и воздушная разведка. Даже резерв выделить приказали. Словно мы не полк, а дивизия целая.

— Черт знает что, — поморщился Иванов. — Опять полк по частям разрывают. О чем они только думают?

— Я говорил по телефону с начальником штаба дивизии, просил часть задач снять и дать только одну-две — мы бы и выполнили их лучше. Знают ведь — сил у нас в обрез, — Матвеев махнул рукой, — ни в какую! Разругались только.

— Да, очень тяжело. — Иванов вздохнул.

— В том-то и дело. А в случае чего... — Матвеев

красноречиво провел рукой по горлу. — Понимаешь? Мы же в ответе.

— Что предлагаешь?

— Я вот прикинул... — начштаба протянул командиру график. — Посмотрите. А вообще, переговорите с генералом...

— Не поможет, Александр Никандрович. — Иванов встал, несколько раз хлопнул ремешком планшета по голенищу, закурил. — Как с погодой?

— Неважную обещают, Виктор Петрович. — Матвеев подал прогноз. — Сейчас вызову синоптика.

Шумно вошли командиры эскадрилий, их заместители, инженер.

— Подходите, товарищи, поближе, — пригласил всех командир. — А то у нас ведь иногда до летчиков не только обстановку на земле, но и задание на вылет вовремя не доводят. О техническом составе и говорить нечего.

Иванов обратил внимание и на другие недостатки и предупредил:

— Немецкая авиация особой активности в эти дни не проявляла. Может, из-за погоды, но, скорее всего, по другим причинам. Они что-то замышляют. Надо быть готовыми ко всяким неожиданностям.

Иванов задумчиво глянул на летчиков, со стороны казалось, что он смотрит куда-то поверх их голов.

— Бои предстоят тяжелые. Готовьтесь сами, готовьте к ним и людей.

* * *

В этот раз синоптики не обманули. С утра стороной прошумела гроза. За ней низкие, слоеные тучи рассыпались теплым мелким дождем. С небольшо-

ми перерывами моросило и весь следующий день. Аэродром изрядно подмок.

Как только выдавались редкие проблески, мы на-верстывали упущенное: прикрывали обороняющиеся войска, штурмовали переправы, уничтожали вражескую технику, громили обозы.

В один из таких проблесков наша группа взяла курс на запад. Впереди шло звено Кондратюка, за ним я со своим звеном истребителей.

Немного выше и в стороне нас прикрывало звено Лени Крейнина. Одним из его ведомых был мой школьный товарищ Борис Комаров.

За Днестром погода ухудшилась. Мелким бисером дождь затуманивал козырек кабины, облачность прижимала к земле. Холмистая бессарабская земля, виноградники, утопающие в садах хутора, стремительно проносились под крыльями. Чем ближе к Румынии, тем выше и лесистей становились подпиравшие облака возвышенности, глубже и круче извивались лощины.

У Кондратешти мы чуть было не обстреляли своих. Разношерстная колонна отступающих взбиралась по раскисшей дороге на вершину холма. Люди двигались беспорядочно, многие разбрелись по обочинам, некоторые подталкивали повозки. Никаких опознавательных знаков для авиации — да им в те дни было, наверное, не до этого.

В стороне кружил под облаками «ПЗЛ-24».

Все это я рассмотрел, пролетая вдоль колонны на малой высоте. В этот момент Кондратюк начал заводить своих летчиков на штурмовку. Я выскочил наперерез ему, отчаянно замахал крыльями, отвлек.

И сразу за высотой, там, где лощина круто поворачивала на северо-запад, мы увидели настоящего противника.

Вся лощина кишела мотоциклистами, танками, автомашинами. Нескончаемая колонна солдат тянулась насколько хватало глаз.

«Да, соотношеньице не в пользу отступающих, — подумал я. — Должно быть, «каракатица» наводила их на нашу пехоту. Но где же она?»

Наши «ишачки», однако, уже совершили суд правый: на самой вершине холма, среди спелых хлебов, чадили догорающие останки разведчика.

Вокруг нас внезапно забелели разрывы, точно коробочки хлопка раскрылись. Огненные звездочки, как при автогенной сварке, сыпались и сыпались в нашу сторону.

К гитлеровцам можно было подступиться, только подавив огонь зениток. Кондратюк уже прижался к земле и устремился на голову колонны, отвлекая на себя часть огня. Если смотреть со стороны, это красиво. Три серебристые «Чайки» с распластанными крыльями, точно по снегу, стремительно, наперегонки, неслись с вершины горы вниз по желто-зеленым склонам, оставляя за собой облачка снежной пыли — зенитные разрывы.

Мое звено, чуть не по вершинам деревьев, с огромной скоростью «катилось» к центру колонны, правее Кондратюка. Горные потоки стремительно встряхивали самолет, мешали целиться. Зенитки, направленные прямо на нас, ежесекундно извергали смерть. Только бы выдержать, не свернуть от этого роя звездочек, летящих в лицо.

Когда человек идет в атаку под ураганным огнем, время не поддается счету. Его бывает бесконечно много и безумно мало. Мало, вероятно, потому, что любой из тысячи нацеленных в меня снарядов мог стать единственным. А много — оттого, что пока преодолешь опасное пространство и не схватишь-

ся врукопашную, может не хватить сил. Надо было собрать всю волю, чтобы не грохнуться наземь, не задохнуться в беге к этому рубежу, с которого можно нокаутировать врага. Сворачивать в сторону нельзя! Я видел уже батарею в прицеле. В то время, как мозг холодно твердил: «держишься твердо, за тобой идут другие», руки автоматически делали свое, а глаза фиксировали их привычные движения на сетке прицела. Вот теперь перекрестие должно подскочить выше... Так! А сейчас с плоскостей сорвутся ракеты. Есть! Почему они так свистят? Теперь вывод, самолет круто задерется вверх... Хорошо. Наконец-то...

Я перевел дыхание и оглянулся на ведомых: Иван Зибин как привязанный, Сдобников выскочил вперед. Покачал ему крыльями: «перейди вправо». Внизу расплылось черное облако. Огромное скопище машин, танков, людей замешкалось в нерешительности, дорога стала вдруг тесной, и эта масса из плоти и металла разлетелась в разные стороны, круша все, что попадалось на пути.

Кондратюк с хлопцами прибавили жару. Теперь несколько факелов запылало и в голове колонны. Зенитки еще огрызались, но теперь уже Крейнин продолжал их обрабатывать.

Во второй атаке я обнаружил исчезновение реактивных снарядов. Глянул на указатель сброса и не поверил своим глазам: указатель показывал сброс всей серии — восьми снарядов, что категорически запрещалось инструкцией. Быстро перевел взгляд на крылья: обшивка вздулась!

«Что ж, последние, никем не рекомендованные испытания стрельб закончены, — подумал я. — Как же меня угораздило? А жаль, целей много».

После четвертой атаки замолчали и пулеметы.

В это время Кондратюк замахал крыльями: конец штурмовки, сбор группы.

Я напоследок глянул в ложину. Черный дым заполнил ее до краев. Что-то рвалось, что-то горело. Ребята поработали неплохо. Эта страшная колонна на какое-то время задержана. Изнемогающие войска могут немного передохнуть, собраться с силами. Взглянул на своих товарищей, и в груди екнуло: не доставало самолетов Гичевского и Комарова. На немой вопрос Зибинову: «Не сбиты ли?» Иван знаками показал: «Не знаю».

...Гичевский и Комаров уже ждали нас на стоянке. Паше перебили управление мотором и воздушную систему. Он едва дотянул до аэродрома и с трудом выпустил шасси. Борис же, как он сам объяснил нам, прикрывал Гичевского. Это звучало правдоподобно, но в памяти всплыл разговор с Грачевым, и у меня чуть было не зародилось сомнение. Я тут же отбросил его, узнав, что это Комаров завалил «карака-тицу».

Пятого июля румыны форсировали Прут северовосточнее Хуши и начали наступление на Кишинев. Но мы все еще верили, что и в этот раз остановим врага. С каждым днем бои становились напряженнее. Стало уже привычным вылетать на задание по семь раз в день.

Однажды, во время короткой передышки между вылетами, ко мне подбежал Шульга.

— Слышал новость? Валька Фигичев только что сел, завалил сразу двух «мессеров»!

О Валентине Фигичеве в эти дни в полку говорили много. Все восхищались его храбростью. За каких-нибудь два-три дня он и его закадычный дружок

Леня Дьяченко сбили несколько самолетов. Теперь на счету Фигичева было уже пять стервятников.

— Вот это да! — восхищался Грачев. — Ну и Валька! Молодчина!

— Еще не все, — подмигнул интригуяще Шульга. — Услышишь, не так занукаешь.

— Быстрее же, не тяни...

— Сегодня утром над Бендерским мостом был страшнейший бой. Фрицы еле ноги унесли. А Морозов таранил «мессера» в лобовой. Оба самолета в щепки. Не верите?

— Что с Морозовым? — спросил я.

— В том-то и штука: оба живы. Спаслись на парашютах. Спускались рядышком, почти вместе, и такую дуэль на пистолетах затеяли, умора.

— Брось погибать! — одернул его Грачев.

— Ты слушай, не перебивай. На пистолетах у них ничего не вышло — ни тот, ни другой стрелять, видно, не умели. Тогда они решили на кулачный бой перейти. Немец был здоровенный. Не подоспей наши вовремя, еще неизвестно, чем могло это для Морозова кончиться.

К вечеру мы узнали подробности боя над Бендерами. Схватка длилась почти полчаса. Против восемнадцати «Юнкерсов» и двадцати девяти «Мессершмиттов» поднялось всего одиннадцать истребителей. Остальные самолеты орловского полка к тому времени только что вернулись из боя, и их не успели заправить бензином.

Фашистов не спасли ни облачность, за которой они прятались, ни почти пятикратное численное превосходство, ни даже «удачное» время налета.

Ведомые майором Орловым, летчики бесстрашно ворвались в строй гитлеровцев. Им удалось сбить

три «Юнкерса» и восемь «Мессершмиттов». На Бендерский железнодорожный мост, соединяющий берега многоводного Днестра, не упала ни одна бомба. А стратегическое значение его было всем хорошо известно. Вывести мост из строя значило лишить наши войска военных грузов, в случае отступления же — оставить имущество врагу.

Дорого обошелся этот мост фашистам и на следующий день. На этот раз они бросили туда двенадцать «Юнкерсов» и восемнадцать «Мессершмиттов-109». Эту армаду атаквало... восемь самолетов из полка Орлова.

Приходилось только удивляться осведомленности фашистов: налет и на этот раз был совершен в тот момент, когда большая часть истребителей только что прилетела с задания и не успела еще заправиться горючим. Но фашисты не учли одного — наш полк.

Дело было под вечер. Кое-кто из летчиков уже помышлял об ужине; Алексей Овсянкин¹ готовился отметить свою первую победу над «Хеншелем-126», и Кузьма Селиверстов набивался к нему в компанию, как вдруг командный пункт полка озарился фейерверком зеленых ракет. Немедленный взлет!

Угнаться на «Чайке» за «МиГаами» и даже за «И-16» невозможно. На Тирасполь я прилетел к шапочному разбору. Небо было чистым и пустым. На земле догорали два «Юнкерса» и четыре «Мессершмитта». Белая длинная стрела показывала северо-западное направление, — туда переместился бой. Я взял курс по стреле, пролетел Оргеев.

¹ Овсянкин Алексей Иванович, летчик, мл. л-т, 1919 г.р. 21.07.41 г. не вернулся с б/з из района Бельцы.

Ни один самолет не попался мне по дороге. Только в районе Сынжереи я встретил Ивачева и Селиверстова. Они уже возвращались, оставив на земле три догорающих «Мессершмитта». Один «худой» пришелся на долю Кузи, и мы видели, как сбитый им летчик все еще спускается на парашюте.

В этот день немцы недосчитались еще девяти самолетов. Перед отъездом на ужин майор Матвеев зачитал нам телеграмму командующего ВВС 9-й армии: всему личному составу полка объявлялась благодарность.

— Хороший конец всякому делу венец, товарищи! — напутствовал Иванов.

Небольшое помещение столовой раньше не вмещало всех сразу, мы ужинали обычно в две очереди. Но сейчас за столами было пусто.

Сегодня, впервые за дни войны, все были в приподнятом настроении. Казалось, веселее звучал баян; за столами слышались песни.

Кузя Селиверстов затянул высоким хриловатым голосом:

Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы...

Размахивая руками, ему пришел на помощь Барышников:

Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!

Но сильный голос Ивачева заглушил обоих. Обняв за плечи Селиверстова, Костя запел:

Были два друга в нашем полку,
Пой песню, пой!
Если один из друзей грустил,
Смеялся и пел другой...

Рядом Дьяченко и Фигичев разноголосо напевали раздольную «Распрягайте, хлопцы, коней».

Баянист наигрывал попурри, никому не отдавая предпочтения, пока Леша Сдобников за нашим столом не запел свою любимую:

В далекий край товарищ улетает.
Родные ветры вслед за ним летят...

Петя Грачев присоединился к нему, мелодию подхватил баян.

Пройдет товарищ все фронты и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны.

Не пел только Борис Комаров, хотя песни он любил. Голос у Комарова был не сильный, но красивый, душевный.

Когда песне стало тесно в помещении и она прорвалась через наглухо замаскированные окна, наш бывший запевала встал из-за стола и направился к выходу.

Я вышел вслед за ним в безлунную тихую ночь. На свежем воздухе голова слегка кружилась.

Мы закурили и некоторое время шли молча. Из прилегающего лесочка тянуло прохладой, пахло хвоей.

— Ночь-то как хороша...

— Темноватая только, — согласился Борис, — а то бы как у нас на Урале.

Упоминание о родных краях грустью разлилось по жилам, сердце защемило: «...придется ли повидать их?».

— Просто не верится, что где-то под боком война, — задумчиво произнес Комаров.

— Смотри, Борис, какая красота...

— Жизнь! Что она значит на войне? Прихлопнули, как муху, и нет ее. А ради чего?

— Чудак, во имя справедливости. Мы ведь фашистов бьем.

Я хотел было разразиться целой тирадой, но он перебил:

— Выходит, чтобы жить, надо убивать? Так, что ли? Но это же звериный закон!

Комаров бросил окурок и старательно затоптал его.

— Слушай, Борька, не пори чепуху. Как ты считаешь, ради чего погиб Коля Яковлев и другие наши ребята? Они защищали Родину, спасали людей. Такая смерть оправданна и благородна. Другое дело — кто послал тех, что принесли на нашу землю смерть и разрушения. Мы и это с тобой прекрасно знаем — фашизм. Вот оно, звериное нутро, откуда исходят все беды. Так что уподобляться мухе не стоит.

Дорога круто свернула в лесную посадку. Темнота сгустилась. Выбрав на ощупь сухое место, мы расположились на траве. Борис сидел сгорбившись, уткнувшись подбородком в колени. Неожиданно мне пришла в голову мысль поговорить с Комаровым о его последнем вылете, но, едва собравшись, я тут же передумал и ляпнул:

— А интересно было бы посмотреть на живого немца. На врага, понимаешь? На кого он похож? Как выглядит?

— Я видел. И очень близко.

— Разве? Когда же?

— В первый раз, когда сбил «каракатицу». И до сих пор не могу забыть об этом, — грустно заметил он.

— А-а, — разочарованно протянул я, — так это же самолет, — таких немцев я каждый день вижу.

Но Комаров уже не слушал меня.

— В этом самолете был живой человек, и я видел его, как тебя сейчас. Когда я прицелился в него, он посмотрел в мою сторону. Я увидел его глаза; они умоляли меня: «Не убивай». У меня даже рука дрогнула, но я совладал с собой и пулеметной очередью скользнул по крыльям и прошел кабину...

Я внимательно следил за ходом его мыслей, еще не понимая, зачем он все это рассказывает.

— Кто этот летчик? Немец, румын? Неважно. Наверное, у него, как и у меня, есть мать, может быть, семья. Пока летел до дому, я все пытался понять — что же произошло? Убийство?

— Не ты его, так он тебя, — возразил я. — А сколько вреда он нанес бы нашим пехотинцам!

— Второй раз — позавчера; мы налетели на них внезапно и начали расстреливать, как стадо баранов.

— Петька мне расписывал. Здорово вы их погоняли. И про зенитки тоже.

— Не знаю, что он тебе расписывал. Последнее время Грачев дуется что-то, злющий ходит, как черт. — Борис говорил глухо. — С чего — не пойму. Но я тогда не стрелял.

Борис всегда был очень искренним. Я чувствовал, что ему хочется излить душу, выговориться.

— Зенитки мешали? — спросил я.

— Нет, я их даже не видел. Зажег одну машину, а по живым людям...

Он долго молчал, потом потянулся за другой папиросой.

— Может, кто-то не выработал во мне нужных черт характера, чтобы с волком я поступал по-волчьи. Я знал одно: живу в лучшем из миров. Впитывал

в себя все, что красит жизнь. Привык верить слову. Трудно мне по живым людям стрелять. А тут еще мотор забарахлил, — словно оправдываясь, закончил он.

Такое признание меня озадачило.

Неужели только из-за этого Борис уходил с поля боя, пользуясь любым предлогом? С одной стороны, я сочувствовал ему: расстрелять повозку или машину психологически гораздо легче, чем убить живого противника. Как-никак люди... Но только необходимость заставила нас смертью попирать смерть.

Не к каждому сразу приходила ненависть к фашизму, а вместе с ней — смелость, мужество, стремление к победе — все то, что вытесняет страх перед врагом, а порой и совсем заглушает его.

У таких, как Грачев, Селиверстов, Фигичев, это само собой подразумевалось: «Враг! Уничтожай — и никаких гвоздей!» У других к такому настроению примешивался боевой азарт.

Конечно, мы не могли еще тогда знать, что значит фашизм, какое горе он несет в наш дом.

«Но уйти с поля боя под первым благовидным предлогом, бросить товарищей только потому, что испытываешь отвращение к смерти, да к тому же еще и жалость к врагу!.. Борис смалодушничал, — думал я, — это почти ясно. Малодушие, как тряси́на: не возьмешь себя в руки — увязнешь. Малодушие и страх — одного поля ягоды. С ними бороться трудно».

Но в этот момент я не знал, как вести себя. Сказать Борису прямо — обидится, замкнется еще больше. Безучастным оставаться тоже нельзя.

— Жалко, значит?

Он промолчал.

— А я уверен: фашисты о таких вещах не раз-

мышляют. Сам прекрасно знаешь, как нашим от них достается.

— Знаю. Но я знаю и другое: день Победы отпразднуют без меня.

— Брось ты, Борька. Разве можно теперь об этом думать?!

— А сам ты не думал об этом?

— Что меня могут сбить? Нет, пожалуй, не думал. Может, оттого, что меня еще не били по-настоящему. И почему, собственно, меня должны сбить? Я видел себя в бою только нападающим и смерть относил к случайностям.

В лесу послышались неторопливые шаги, и чей-то очень знакомый голос произнес:

— Завтра на этом же месте, хорошо?

Донесся поцелуй и приглушенный женский смех:

— Не завтра, а сегодня. Будь осторожен.

Мы встали.

— Слышал?

Борис кивнул.

— Жизнь, Боря, продолжается. Даже здесь, когда она каждый день может оборваться. А что касается дня Победы — пусть не мы, другие доживут. И нас, может, вспомнят.

* * *

...Дни стали походить один на другой. Лето, как и война, набирало силу. Жара стояла всюду. Зной шел от земли, с неба. В самолете невозможно было усидеть из-за невыносимой духоты. Вынашивалась большая гроза.

Я выбрался из кабины, стащил с головы мокрый подшлемник, бросил его на прокаленную плоскость.

Подошел Сдобников и тут же набросился на Зибина. Выгоревшие соломенные волосы влажными прядями спутались у него на лбу, и весь он напоминал драчливого бойцового петуха.

— Брось кипятиться, — урезонивал его Иван. — Сам виноват, не болтайся в строю.

Немногословный и смелый Зибин нравился мне все больше. Раньше знал я его только в лицо. Был он неприметен, всегда исполнительен, теперь же, столкнувшись с ним поближе, я убедился, что он наделен какой-то особой внутренней силой, свойственной скромным и сильным людям.

Препирались оба из-за недавнего вылета. Во время атаки Сдобников едва не столкнулся с Зибиным. Был ли он виноват? Отчасти да, потому что не отличался умением держаться в строю. Дело было в другом — к тому времени сама практика боев показала, что звено из трех самолетов сковывает маневр и осмотрительность, основательно затрудняет атаки.

Но строптивый Леша не унимался. Занозистый, а в общем-то добродушный малый, сейчас он не на шутку разгорячился.

— Зачем спорить! Сделаем так: полетишь за командиром, я — за тобой, — предложил Зибин. — Посмотришь, как надо держаться в бою. — И тут же обратился ко мне: — Согласен, командир?

«Командир»! Искренность и теплота, с какими было произнесено это слово, тронули меня.

Пытаясь скрыть охватившее меня чувство, я взял кружку с водой и, захлебываясь, мотнул в знак согласия головой.

— Заповедь третья... — слышался за спиной голос Тетерина, — чревоугодие жизнь сокращает.

— А отлынивать от боевых полетов — какой за-

поведью предусмотрено? — в упор спросил его Сдобников.

Тетерин порозовел. На лице его появилась растерянная улыбка, которая тотчас же перешла в хмурую гримасу. Подобного оборота он не ожидал.

— Прошу поосторожнее! Я теперь за командира. — И с присущей ему напускной серьезностью распорядился: — Как только самолеты будут готовы, немедленно вылетайте прикрывать конницу.

— Ну и ну, — Зибин покачал головой, глядя вслед новоявленному командиру. — Зачем воевать, когда в начальстве ходить можно.

Мимо вырулили на взлет Кондратюк и Гичевский.

— Куда это они?

— В Криуляны на переправку.

— Парой? Вот так надежное прикрытие с воздуха!

— И мы не эскадрильей полетим, — заметил Зибин.

Вскоре взлетели и мы. Курс на запад. Сизое марево пропитало воздух. Только по пожарищам можно было определить линию фронта. На юге в дымке горизонта угадывался Кишинев.

Где-то внизу должны быть конники.

Мы не успели сделать над ними даже круга; прямо над нашими головами проплыло двенадцать «мессеров».

«Мимо», — подумал я и сразу же увидел бомбардировщиков. Они летели на той же высоте, что и мы, явно держа курс на Кишинев. Конечно, это для них «Мессершмитты» расчищали путь. Как быть? Вступить в бой с врагом — оставить конников без прикрытия. Пропустить — не поздоровится Кишинеvu.

Но раздумывать уже нет времени. Враг совсем близко. Контуры головастых «Ю-88» стали хорошо

различимы. Я разглядел шестерку, потом звено бомбардировщиков и пару истребителей.

Если не считать боя под Котовском, мне не приходилось драться с «Юнкерсами». Как атаковать? С хвоста боязно. Я уже обжигался на метком огне вражеских стрелков. Вспомнился совет командира полка: «Ошеломляйте врага внезапностью... Фашисты — не автоматы».

Решено. Ударим с ходу. Оглядываюсь: товарищи рядом, каждый на своем месте.

Атака под большими углами обычно мало эффективна; зато есть преимущество: фашисты нас не видят, да и ракеты под крыльями действуют ободряюще.

Поднимаю вверх руку, сжимаю в кулак: знак, что стрелять будем залпом, четырьмя снарядами. Большим количеством нельзя: при пуске ракет обшивка на крыльях вздувается. На моих еще маячат две свежие полуметровые заплатки — память о штурмовке. Лбом почти касаюсь прицела. Зубы плотно стиснуты. Нервная дрожь не унимается.

Головные «Юнкерсы» наползают, как танки, тяжелые, переваливающиеся. Уже блестят диски пропеллеров. Так и хочется нажать кнопку, но взгляд на прицел сдерживает: до фашистов больше тысячи метров. Тем неожиданнее вспыхивает вдруг перед «Юнкерсами» целая серия разрывов: одна, другая... Это Сдобников не выдержал и впустую выпустил «эрэсы».

«Спокойно, спокойно», Первый фашист вырастет в прицеле. Он занял уже половину сетки, уперся в ее внутреннее кольцо.

«Пора!» Слабый шум под крыльями. Четыре огненных клубка брызжут осколками.

Выхожу из атаки разворотом вверх. О, радость! Боевой порядок «Юнкерсов» нарушен! И впрямь, оказывается, можно кое-чего добиться, только взять

себя в руки. Еще одна атака сверху — и фашисты в панике разворачиваются.

Дело сделано, врага заставили свернуть с боевого курса, не пустили на Кишинев. Но хочется увидеть, как горят вражеские машины.

Я набрасываюсь на ближайшего фашиста. Летчик мечется, уваливает от атаки. Вражеские стрелки с «Юнкерса» непрерывно поливают огнем. Я не спешу атаковать, маневрирую, жду удобного момента.

Кто-то из друзей устремляется в погоню за следующим бомбардировщиком.

Задний стрелок «моего» «Юнкерса» неожиданно умолкает. Уловка? Подхожу ближе, атакую. Стрелок молчит. Значит, убит. Расстреливаю фашиста длинными очередями. Трассы впиваются в тело бомбардировщика, но он продолжает лететь. Бью еще, еще... Ура! Мотор врага дымит, на крыле показывается пламя. Оно разрастается. В одно мгновение пламенем охвачен весь самолет.

Где же товарищи? Осматриваюсь. Два фашиста удирают, они уже еле видны — не догнать. Ниже, над лесом, «Чайка» ведет бой с «Мессершмиттом». Третьей не видно. Спешу на выручку. Враг замечает опасность и со снижением уходит из боя. Сдобников пристраивается ко мне.

Мы идем на поиски Зибина. Долго искать не приходится: сразу видим горящий «мессер» и серебристую «Чайку». Но ликованье преждевременно. Неведомо откуда на нас падает шестерка вражеских истребителей. Их, вероятно, вызвали на помощь «Юнкерсы».

Бензин в баках на исходе. Паниковать — смерть. У паникеров никогда нет выхода. Атаки «мессеров» все настойчивее, нахальнее. Количественный перевес на их стороне. Мы огрызаемся, защищая друг

друга. Сдобникову удается подбить вражеский истребитель. Дымя, тот удирает на запад. Но от этого не легче. У меня замолкают пулеметы. Пытаюсь их перезарядить. Бесполезно. Догадываюсь — у Зибина такая же история. Фашисты чувствуют это, становятся еще нахальнее...

Трудно сказать, что передумал каждый из нас, пока не подоспели Соколов и Шелякин со своими летчиками.

В этом бою Федор Шелякин одержал свою четвертую победу.

Как приятно после пережитого приземлиться на своем аэродроме, снова видеть радостные лица боевых помощников на земле, чувствовать их внимание! Путькалюк и Германовшвили уже спешат навстречу. Один тащит ведро с водой, другой — полотенце. На ящике заботливо прикрыты газетой кружка холодного компота и булочка. Германовшвили орудует пулеметами, кричит, довольный:

— Командир, весь ящик пустой!

Компот и булочка действуют как живительный бальзам. Думать ни о чем не хочется. Механик ковыряется в моторе; кажется, знаю его давно, а вот всякий раз открываю в нем какую-то новую черточку. Подвижный, неунывающий Путькалюк в то же время тих и малоприметен; посмотрит на вас серыми глазами в мелкой сетке морщинок — само сердце в гости просится.

— Вай, вай! Смотри, какой дыра!

Ваня вскакивает на стремянку и кричит оттуда:

— На лобовых дрались?

— И да, и нет.

— Повезло вам. Пуля весь капот разворотила, а карбюратор цел, а то бы...

Знаками Иван изображает пожар на самолете.

— Зато «Юнкерсу» покрепче досталось, летать больше не будет.

— Значит, это третий! — кричит Германовичи. На лице его радость и обида. — Почему командир молчал? Разве мой пулемет плохо стрелял?

Я чувствую себя неловко. Они правы. Не праздное любопытство владеет ими: это такие же бойцы, и все наши победы — их победы.

Мы отходим от самолета. Путькалюк кивает на летное поле: там, не сводя глаз с горизонта, стоят Коротков и Штакун. Наконец они понуро направляются к пустым стоянкам.

— А где же Кондратюк с Гичевским?

Склоненные головы говорят обо всем красноречивее объяснений.

Позднее стало известно, что Кондратюк и Гичевский над переправой вели бой с двенадцатью «Мессершмиттами», которых повстречали перед боем с «Юнкерсами». Две «Чайки» против двенадцати! Переправа-то уцелела, а вот они... Кондратюк погиб, Гичевский спасся на парашюте.

* * *

Тяжкие утраты, горькие вести с полей сражений, невероятная духота — все точно сговорилось против нас.

От Тимы Ротанова я узнал, что фашистские танковые колонны на севере рвутся к Первомайску и к нам.

— Не может этого быть!

— Сам обнаружил. Вот заправлюсь — снова на разведку.

— Это верно, — подтвердил Кравченко. — Вторая

эскадрилья вылетает сопровождать «Су-2» в район Рудницы — Гайворон.

Кравченко, наш писарь, постоянно находился в курсе всех дел. При хорошей памяти он был настоящим ходячим справочником. Спросить его, например, сколько самолетов сбил Дьяченко, он и не задумается:

— Четыре, из них два «Ю-88», один «Ме-109» и один «ПЗЛ-24».

В тот день со смешанным чувством я расстался со своей «Чайкой».

Говорят, «чертова дюжина» — хвостовой номер моей «Чайки» — число несчастливое. Я не суеверен, но в приметы, как и некоторые наши ребята, верил. Перед вылетом бриться? Боже упаси! Навстречу женщина попалась? Быть неприятностям. И все же «тринадцатая» послужила мне неплохо. Около десятка воздушных боев, три сбитых самолета и более тридцати вылетов на «Чайке» на штурмовку — в те дни это кое-что значило.

Осторожный и нерешительный Дубинин наконец-то внял моей просьбе:

— «Девятку» видишь? — Он указал на темневший в кустах «И-шестнадцатый». — Бери. Полетай по кругу и в зоне попилотируй.

И вот я в отремонтированном Городецким истребителе. Николай Павлович, чтобы после гибели Хархалупа заглушить как-то горе, уговорил инженера полка послать его в ПАРМ, да там и остался с тех пор навсегда. И летчики знали, коли самолет прошел через руки старого техника, можно воевать на нем как на новом. Мотор работает на славу. Машина легка и послушна в управлении.

— Отлично получается, командир. Отлично! — осматривая после каждой посадки кабину, пригова-

ривал Богаткин. — Теперь на заправку, а потом и в зону.

— Может, еще?

— Нет, нет. Поторапливаться надо — грозой пахивает.

Гроза подкатила незаметно. Небо засветилось розовым призрачным светом. Стало душно. Все вокруг замерло, оцепенело. Сквозь запруду духоты пробился ветер и волнами заходил по пшенице. Из-за леска низко неслись рваные клочья облаков. Взвихрились листопадом тополя. Грянул гром, точно раскололось пополам большое дерево, и земля захлебнулась ливнем...

Этим летом грозы гуляли над степями особенно часто. Но такой старожилы не помнили. Стихла она лишь к полуночи. А потом наступило третье воскресенье войны. Утро выдалось солнечное, безмятежное. После вчерашней грозы аэродром и поля вокруг искрились под первыми лучами солнца. Казалось, ничего страшного не происходит на земле. И люди внешне как будто не изменились. Но внимательный глаз подметил бы на всех лицах общее выражение тревожной озабоченности.

До сих пор наш самый южный участок фронта был недоступен врагу; все попытки фашистов продвинуться в глубь Бессарабии оканчивались неудачей. Но минувшей ночью они ворвались в Бельцы, а на севере, форсировав Днестр, захватили Могилев-Подольский.

Из скурых сообщений Информбюро мы имели общее представление о тяжелых оборонительных боях на ленинградском и смоленском направлениях, о танковых сражениях под Житомиром и у Проскурова. Но ведь все это происходило у «других»; мы были уверены, что явление это временное; просто

врага заманивают вглубь, и скоро Красная Армия перейдет, а, может быть, уже перешла в наступление.

И вдруг эта весть: враг перешагнул порог дома, где мы жили, мечтали, трудились. Тучами черного воронья фашистская нечисть двинулась к Кишиневу, поползла по приднестровским полям. Запылали охваченные огнем села. Гибли товарищи, друзья. Не стало Ивана Макарова, Федора Шелякина. Не вернулся с разведки наш командир старший лейтенант Дубинин, а после обеда — и Тима Ротанов.

Боль постоянных утрат, сомнения, противоречивые приказы — невозможно было свыкнуться с беспощадной правдой войны. Мы готовились бить врага малой кровью и на его земле. А теперь приходилось убеждаться, что девиз, дававший нам силы, лопался как мыльный пузырь.

Южному фронту угрожало окружение.

Пятьдесят пятый истребительный полк, небольшой винтик в огромной военной машине, делал на своем участке все, что мог: громил переправы и аэродромы, вел тяжелые воздушные бои, штурмовыми ударами по врагу помогал наземным войскам. Теперь работы летчикам прибавилось: приходилось летать на запад, бить врага с севера.

Техники еле успевали осматривать пышущие жаром моторы, подавать боеприпасы к раскаленным пулеметам. Гимнастерки летчиков пропитались солью. Время ползло мучительно долго.

В один из таких дней, когда солнце устало клонилось к горизонту, Соколов и Назаров обнаружили на захваченном у нас базовом аэродроме в Бельцах около восьми десятков гитлеровских самолетов.

— Расположились как у себя дома, — негодовали ребята. — Кучно стоят. Штурмануть бы их!

На нашем аэродроме враг. Мы отступаем. Конеч-

но, это не просто отступление перед сильным, опытным в разбое противником. Разве мы слабые? Здесь что-то другое. Но что? Теперь, о чем бы ни заходил разговор, все сводилось к «почему». Голова раскалывалась от мыслей.

Всему этому надо было дать отстояться. И проще воспринимать все, как оно есть, без анализа.

— В конце концов, не наше дело копаться в подсчетах начальства, — заключил за ужином Константин Ивачев. — А вот ударить по гадам всем полком — это дело!

— Полком, говоришь... — ухмыльнулся Солнцев. — А с кем сам полетишь?

Ивачева больно кольнул этот грубоватый вопрос. Вчера Кузя Селиверстов, закадычный друг и напарник Константина, покалечился сам, вдребезги разбил свой «МиГ».

Произошло все на моих глазах. Ивачев со своим звеном взлетал из дальнего угла аэродрома, от кустарников. На разбеге уклонился чуть-чуть вправо на Селиверстова. Кузьма последовал за ним, но с управлением не справился. Его «МиГ» с бомбами (хорошо, что от удара они не взорвались), развернулся почти на 90 градусов, и врезался в солнцевскую «Чайку», а затем в автостартер. Капитан Солнцев и стоявший рядом приборист Коган получили легкие ушибы спины.

— С кем я полечу? — Ивачев в упор спросил капитана. — Почему бы и тебе не слетать?

— Спроси об этом своего дружка. — Солнцев сердито встал, ощупывая поясницу, поморщился. — Хоть бы осложнений не было.

Не желая оставаться в долгу за укор, старший лейтенант насмешливо посоветовал:

— Ну что ж, подлечись, подлечись, капитан. А я за это время с твоим Лукашевичем повоюю.

— Перестаньте спорить, — вмешался командир полка, — самолетов, если нужно, наберем. Только б разрешили.

И разрешили! На другой день шестерка смельчаков во главе с Соколовым¹ взяла курс на Бельцы. Летели на большой высоте, в умытом, с редкими облаками небе. Выбрали вечернее время — удар будет внезапнее.

Фашисты не ждали налета. Они слишком верили в свою неуязвимость и продолжали подсаживать на забитый самолетами аэродром все новые и новые группы.

И надо же такому случиться: только Соколов со своими летчиками приготовились к удару, как с другой стороны, на полутора тысячах метров, из Румынии прилетело на ночевку шестнадцать «Мессершмиттов».

Умение молниеносно принять единственно верное решение в сложной обстановке всегда отличало Анатолия Соколова. С высоты, сквозь строй вражеских истребителей, наши устремились в атаку. Не лететь же с бомбами обратно!

Соколов и Назаров спикировали первыми, Фигичев и Дьяченко — за ними. Грозный гул моторов смешался с треском пулеметных очередей и грохотом бомб. Последними проскочили мимо «мессеров» Ивачев и Лукашевич. Они хорошо видели, как бомбы, сброшенные товарищами с трехсотметро-

¹ Соколов Анатолий Селиверстович, кэ, ст. л-т, 1914 г.р. 21.07.41 г. не вернулся с б/з из района Бельцы на «МиГ-3». К моменту гибели личных побед не имел.

вой высоты, лопались среди «Юнкерсов» и «Мессершмиттов». Стоянка окуталась дымом.

Ивачев не зря приобрел в полку славу мастера уничтожающих атак. Он уверенно направил самолет в самую гущу вражеских «Юнкерсов», где копошились черные фигурки. Николай Лукашевич ни на метр не отставал от него. В тот момент, когда бомбы двумя каплями отделились от ведущего, Николай нажал кнопку сброса и почувствовал, как его «МиГ», освободившись от стокилограммового груза, слегка вздрогнул.

На земле, вместе с обломками «Юнкерсов», вздыбилось четыре огненных взрыва. Их горячее дыхание упругой волной прокатилось по всей округе. «Мессершмитты» метались над аэродромом, не понимая, откуда все это свалилось и почему на земле такая страшная кутерьма.

Когда собралась вся группа, недосчитались лейтенанта Назарова.

Один из «мессеров», должно быть, подбил его истребитель. А может, его зацепили осколки собственных бомб? Уж очень низко над землей летчики выходили из пикирования!

Соколов оглянулся на затянутый дымом аэродром и далеко над холмами заметил одиночный истребитель. «Ранен», — тревожно подумал Соколов и хотел было повернуть к нему на помощь. Но не успел: самолет Назарова резко клюнул, высоко взметнулось пламя...

Дорого обошлась гитлеровцам гибель комсомольца Степана Назарова: четыре обугленных «Юнкерса» и пять покореженных «мессеров» остались на вражеском аэродроме.

— ...И все-таки ударить надо всем полком, — уве-

ряли Ивачев и Соколов, когда назавтра им было приказано произвести налет.

— Думаете, шестерка зенитки подавит? Она от вражеских истребителей не защитится.

Командир понимающе кивал головой, но подделать ничего не мог. Его можно было понять: самолетов маловато, а боевых задач — как на полнокровный полк.

— Надо свести все «МиГи» в одну эскадрилью, — настаивал Ивачев.

Соколов поддержал его. Майор Матвеев предложил:

— «Ишачков» и «Чаяк» осталось немного. Может, и их объединить под командованием Пал Палыча?

— Утро вечера мудренее, — подталкивая командиров к выходу, пробасил Виктор Петрович. — До завтра, товарищи. Мы с Никандрычем об этом подумаем.

— Пешком пройдемся или их подождем? — кивнул на дверь Ивачев. — Смотри, ночь какая!

Ночь и в самом деле была великолепна. Небо и земля к чему-то прислушивались, величественные и недоступные. На необозримом пространстве сияли колдовские глаза звезд.

Соколов, занятый собою, шагал молча. Он думал о гибели своего заместителя. Вспомнил, как Степан беспомощно тянул к своим. Значит, был ранен? Но кем? Зенитки ведь молчали.

— Как думаешь, Костя, есть у фрицев на аэродроме зенитки?

— Когда там этого добра не хватало... Главное — застать их снова врасплох.

Анатолий тяжело вздохнул.

— Как, по-твоему, почему, когда Назарова подбили, он полетел не с нами, а на Ямполь?

— Самый короткий путь к своим, — подумав, ответил Ивачев.

— И я так думаю. Завтра об этом надо всем сказать. Мало ли что.

Глубокий овраг дышал прохладой. За оврагом чернело школьное здание. Вокруг было пусто. Пусто было и на душе.

У входа окликнул часовой и, узнав своих, отдал честь.

* * *

Все уже спали. Безмятежно похрапывал у стены Солнцев. Поверх одеяла, даже не сняв с себя одежду, сопел Барышников. Под Пушкаревым жалобно скрипели пружины.

Соколов тихо разделся, прилег. Но сон не шел. Анатолий мысленно перебирал в памяти всех, кого можно взять на задание, и с сожалением убеждался, что лететь-то по сути не с кем. Женя Семенов погиб. Степан Комлев ранен в голову. Покрышкин, сбитый в районе Оргеева на разведке, вернулся с распухшей ногой, и доктор настоял на недельном отпуске.

От невеселых мыслей захотелось курить. Он потянулся за папиросой, но, взглянув на спящих, передумал. Вдоль стены, как немой укор живым, стояли пустые кровати — Хархалупа, Атрашкевича, Назарова. Анатолию стало не по себе.

Он долго всматривался в пугливо вздрагивающую на небе звездочку. Ждал чего-то, ждал трепетно и настойчиво. И вдруг звездочка сдвинулась с места, начала приближаться к окну, ее тусклый огонек становился все ярче... Пламя взрыва взметнулось над холмом.

Соколов вздрогнул, вытер взмокший лоб и выру-

гался. Гибель Степана все еще тревожила душу, наполняя ее острой тоской.

— Что чертыхаешься? Не спится? — приподнялся с койки Ивачев. — Мне тоже. Знаешь, Селиверстыч, ударить бы по ним перед обедом. Фашисты пожрать любят, все к этому времени слетятся. А? Представляешь, какая свалка начнется?

— Дело говоришь, — согласился Соколов. — И меньше всего будут ждать нас.

Соколов вытащил карманные часы, прислушался... Часы стояли.

«Неужели отходили свое? — подумал Соколов, крутя головку часов и не слыша вопроса.

— Час-то который?

— Не знаю, наверное, на аэродром скоро. Попробуем вздремнуть хоть немного.

Усталость одолела друзей.

Когда раздалась команда «подъем», Соколов еще плутал в тревожных сновидениях. ...Раскаленное желтое небо языками пламени выплеснулось в кабину, нещадно жгло руки, лизало лицо. Внизу бурела бесконечная монгольская степь, и он висел над нею на продырявленном парашюте. Пулеметная дробь, злорадный оскал желтозубого самурая, пролетевшего мимо...

...Проснулся Соколов от того, что Ивачев сильно тряс его за плечо, приговаривая:

— Да вставай же, Анатолий! Красотища-то какая!

На аэродроме к нему подошел младший лейтенант Овсянкин.

— Ну, как дела, адъютант? — поинтересовался Соколов.

— Самолет мой отремонтировали. Облетать бы?

— Очень кстати. Если все в норме, приходи на КП. Со мной полетишь.

Алексей радостно заторопился к самолету.

Соколов долго смотрел вслед истребителю. Он как бы прикидывал: справится ли сероглазый хлопотливый парень с предстоящим полетом? И опять, как тогда ночью, кольнуло что-то недоброе:

«Вчера Назаров, сегодня этот ладно скроенный летчик. Какой стороной обернется к нему судьба?»

Соколов не верил в предчувствия. Но ему не раз доводилось видеть людей накануне их гибели. Он знал — никому не хочется верить в то, что его ждет. Но резкий жест, случайно оброненное слово, тоскливый взгляд — тот, что он успел заметить у Назарова тогда перед полетом, — все это воспринималось словно обнаженными нервами, предвещало надвигающуюся беду.

«Хуже другое; — размышлял этот кремень командир, — человек расслабляется, дает волю предчувствиям, легко становится жертвой случая».

— Эй, или оглох? Второй раз окликаю.

Соколов вздрогнул. Пальцы, ставшие вдруг непослушными, сломали о коробок несколько спичек подряд.

«Что это с ним?» — удивился Ивачев, заметив вздущиеся желваки, потные виски, взъерошенные волосы.

— Ты, Толя, случаем, не заболел?

Соколов выплюнул так и не прикуренную папиросу.

— Сколько насобирал летчиков?

— Четверку.

— Маловато. Понимаешь, завтра ведь месяц как война. Ух, и устроить бы им свалку еще раз!

Вылет наметили на тринадцать часов. Летчики заняли готовность, ждали сигнала. Побежал к самолету Алексей Овсянкин. Подперев рукой голову, дремал Фигичев. За ним виднелся самолет Дьяченко.

Ракета хлопнула внезапно. Зашумели запускаемые моторы; восемь истребителей скрылись в полуденной дымке, провожаемые беспокойными взглядами техников.

После взлета стартех эскадрильи Копылов дал указание всем техникам подготовиться к приему самолетов после посадки, а Гришу Чувашкина — техника с самолета Соколова послал к инженеру полка.

— Кто же командира встретит? — Младший военный техник вопросительно глянул на Копылова.

— Твой командир — мой командир. — Старший техник разговаривал звонко и нараспев. — Ясно?

Инженера Чувашкин разыскал в ремонтных мастерских. Урванцев послал его за запчастями на склад, а когда Гриша возвращался обратно, самолеты уже вернулись с боевого задания.

Чувашкину стало вдруг не по себе: «Садится шестой. Где же еще пара?» Зародившаяся тревога погнала его на аэродром. Он торопил шофера. Проезжая мимо второй эскадрильи, Гриша видел, как из самолетов выпрыгнули Ивачев и Лукашевич, к ним спешили Викторов и Столяров.

Чувашкин понял: случилось непоправимое.

«Неужели?.. — Подумать о Фигичеве и Дьяченко он не успел, дыхание перехватило: — Моя стоянка пуста!»

— Ума не приложу, товарищ майор, — докладывал командиру полка Ивачев. Сбить не могли — это точно.

— Мы бы увидели, — уверял Викторов.

— Расскажите-ка обо всем по порядку, — потребовал Иванов.

— Соколов с четверкой летел справа, чуть выше. За Днестром дымка сгустилась. Оргеев был как в ки-

сее. Потом Соколов снизился, пронесся над чьим-то упавшим в болото «МиГом».

— Это около Грозешти — покрышкинский, — пояснил Леонид Дьяченко.

Ивачев рассказал, как они наткнулись по дороге на фашистов, обошли их стороной, выскочили на аэродром и с четырехсот метров сбросили бомбы по куче «Юнкерсов». Пары Соколова и Фигичева бомбили стоянку «мессеров». Взорвали бензозаправщик.

— Зрелище сверху потрясающее, — не удержался высокий пышноволосый Николай Столяров. Эта картина во всех подробностях все еще стояла у него перед глазами: горят «мессеры», взрываются бомбе-ры, огромные клубы дыма и пламени беснуются на аэродроме. Едкий запах гари бьет в нос, а «МиГи» снова и снова идут в атаку.

— Летчики в азарт вошли, — продолжал Ивачев, — пикировали буквально до земли, расстреливали самолеты в упор. Я подал сигнал сбора. Отошли от аэродрома уже шестеркой.

— Ну а зенитки? — Виктор Петрович внимательно смотрел на летчиков. — Не могли они сбить их?

— Начали стрелять после первой атаки, — сказал Валентин Фигичев, — мы вдвоем их и придушили.

— Но сбить Соколова, — Дьяченко покачал головой. — Все равно, что бы там ни было — отомщу я им, гадам, за командира.

— Может, действительно, подбили, — предположил Николай Лукашевич¹, — а мы не заметили...

— Сидят они где-то, — оживился Фигичев, — вот увидите, дадут о себе знать.

¹ Лукашевич Николай Яковлевич, комзвена, ст. лейтенант, 1914 г.р. 07.05.42 г. погиб при облете самолета «МиГ-3» на ст. Морозовская. Лично сбил 2 самолета противника.

— Я бы предпочел видеть Соколова с нами, — окинув всех тяжелым взглядом, заметил Иванов. Летчики угрюмо смолкли. — Потерять за один вылет сразу двоих летчиков!

— Все виноваты! — с горечью бросил командир. — Плохо взаимодействуем. Страшный для нас урок. Слишком дорогая плата: Потерять таких людей...

Иванов не мог предположить, что к вечеру еще двое из стоящих перед ним, не вернутся из полета.

И только через три дня об этих героях будет записано как дополнение к «не вернулись»:

«21 июля в 18.00. Лейтенант Викторов В.М. и младший лейтенант Столяров Н.М., прикрывая Рыбницкий ж.-д. мост, вели бой с «Юнкерсами» и «Мессершмиттами». В неравной схватке погибли, но врага не пропустили...»

«Погибли... не пропустили...». А ведь они любили песню, небо, жизнь. Где найти более сильное, более точное определение их подвигу, выше которого нет и не будет? Им бы жить. Жить!..

А вот следующие строки боевого донесения за то же 21 июля, которые долгие годы были недостижимыми:

«...В 13.00 восемь «МиГ-3» с высоты 400 метров бомбами и пулеметным огнем уничтожили 13 самолетов... Не вернулись с боевого задания командир эскадрильи старший лейтенант Соколов А.С. и младший лейтенант Овсянкин А.И. ...»

«Не вернулись с боевого задания». Сколько безутешного горя, страданий причиняла людям эта штабная формулировка. И заставляла бесконечно тлеть слабую искорку надежд. Нет, не может затеряться человек. Даже на войне. Рано или поздно находятся свидетели, очевидцы, документы — они рас-

сказывают о подвиге героев или разоблачают подлость...

В неизвестной судьбе Соколова и Овсянкина все могло быть по-другому. Если бы те, которым, как никому другому, положено быть чуткими, не отписались, а задумались над услышанным.

После войны, перелистывая пожелтевшие страницы политдонесений, меня заинтересовали показания фашистского летчика, сбитого... Едва я разобрал название: «Фокке-Вульф» «Курьер», как сразу же ощутил дыхание своей юности необстрелянной. И тот вечер...

С полукилометровой высоты, прикрывая аэродром на «Чайке», я спокойно бдил за выласканным синью небом. Предзакатная степь, покрытая темными клиньями оврагов, меньше всего волновала меня. Но она-то и заставила вздрогнуть.

Вначале я увидел серию ракет с аэродрома. И в том направлении, где пропадал их след, над лесистым склоном балки показалась четырехмоторная громадина. Она летела крадучись, низко-низко. Я спикировал, дал короткую очередь по ней. И оттуда, где обрывались мои трассы, на меня, как из пожарного шланга, хлынул ливень ответного огня. С трудом выскользнув из-под вражеской очереди, я стал подбираться к бомбардировщику с хвоста. Пульнул по нему несколько раз. А затем...

Сперва заклинило пулеметы. Пока я возился с их перезарядкой и вспомнил про «эрэсы» под крыльями, меня самым бесцеремонным образом оттеснили от бомбардировщика взлетевшие на помощь Фигичев и Лукашевич. От обиды, почти бесприцельно я выпустил по громадине все РСы, чем основательно перепугал своих: один из снарядов взорвался пе-

ред «МиГом» Лукашевича, подлетевшим к хвосту «Курьера», и сорвал Николаю атаку.

Враг долго и ожесточенно отстреливался. Он даже подбил Николая Лукашевича, который вынужденно сел в Дубоссарах. Но Валентин Фигичев доконал-таки этого «Фокке-Вульфа» «Курьера». Летчика пленили, им оказался полковник. Он-то и показал на допросе о подвиге-молве, которая даже в стане врагов разнеслась моментально. Фашистский оберст слезливо сожалел лишь об одном — что ему не хватило мужества поступить точно так, как сделали те два русских летчика, предпочтя смерть плену.

В том же деле №1, в одном из донесений, меня поразил рассказ очевидца: «...Они умерли обнявшись, и разделить их не смогла даже смерть...» Запись была сделана со слов красноармейца 436 БАО, обеспечивавшего наш полк. Этот человек по фамилии Грозный Е.П. запомнил даже номер упавшего истребителя — «б».

«Кто же они, те люди, о мужестве которых еще в те дни надо было слагать песни! А если это?!»

И снова на столе груда папок — дивизионных, полковых, батальонных. Листаю подшивки дельные и случайные. И вдруг... Оказывается, для желающего найти истину, что для судебного следователя, — мелочей не существует. Раскрываются факты, замолчанные и наветные, узнаются дела подлинные и то, что никогда бы не подумалось — приписки самолетов, которые никогда не сбивались! На одном отчетном документе обнаруживаю случайно приколотый наряд на получение воздушного винта из техсклада БАО. И размашистую подпись стартеха Копылова с резолюцией: «Чувашкину на «шестерку». К утру, чтобы заменить». И дата, проставленная на наряде, вдруг ожила жаром схватки, когда трассы скрещивались с

трассами и была познана радость первой победы над «крепким орешком» — двухмоторным «Ю-88». А затем был бой с «мессерами», тяжелый, полуобреченный, на предпоследних каплях горючего и с пустыми патронными ящиками.

Это они — Соколов и Шелякин: «11 июля в 15.35 два звена «МиГ-3» штурмовали фашистскую мотоколонну в районе Бельцы—Фалешти... — Возвращаясь домой так записано в оперсводке штаба 20-й сад — заметили неравный бой звена «Чаяк» с шестью «Ме-109» и...» спасли нас.

После посадки, когда мы подошли к соколовской «шестерке» посмотреть на разбитый «эрликновским» снарядом винт, старший лейтенант шутливо спросил:

— Струхнули небось? Бывает. — И серьезно добавил: — В бою иногда случается голову наклонить, надо только не клонить ее перед смертью.

Старший лейтенант Соколов головы своей перед фашистами не склонил. Об этом я узнал из уст того самого очевидца, с которым встретился после долгих поисков в канун двадцатилетия разгрома гитлеровской Германии.

Дед Грозный, как уважительно называют теперь Евтихия Тимофеевича односельчане, поведал мне правдивую, ставшую в тех краях легендой, историю последних минут жизни Соколова и Овсянкина.

...В тот день пожилой солдат нашего БАО устало шагал по опустевшей улице живописного приднестровского села Каменка. На душе было тревожно. Скота для питания личного состава, за которым его послали, он еще не закупил. Он тревожно вслушивался в глухую трескотню пулеметов со стороны Ямполья. Нещадно палило солнце. Напротив сельсовета

сиротливо торчала никому не нужная трибуна. Откуда-то из огородов выскочил запыленный мальчуган.

— Ой, диду, в Ямполе немцы!

— Тсс! — строго пригрозил Евтихий. — Якой я тебе диду! Солдат я, понял?

Мальчонка скорчил презрительную гримасу:

— Фью, солдат с палкой. Таких не бывает. А может, ты, это... — глаза его сузились, — дезертир?

Солдата чуть удар не хватил со злости, но обидчика уже след простыл.

Выбравшись на пыльный большак, Евтихий примкнул к колонке беженцев. Люди, серые от горя и пыли, со страхом посматривали назад, где коптили небо черные языки пожарищ; оттуда явственно доносились пальба.

На повозке, набитой скарбом, сидела обессиленная женщина. Ее черноволосая дочка, в красном галстукке и с сумкой на коленях, пугливо озираясь, понукала тяжело переступавшую гнедуху. Женщина, придерживая узелки, с тоской и страданием смотрела на посеvy и беспрестанно твердила:

— Сколько добра пропадает, сколько трудов...

Как выяснилось из разговора, муж и два ее сына были на фронте.

— Наша фамилия Даниленко. Может, встретите где моего Василя? Кланяйтесь ему, — попросила женщина со слабой надеждой.

— Может, и встречу, — машинально ответил Евтихий, прислушиваясь к реву и стрельбе самолетов.

Над крутым и заросшим берегом Днестра появилось несколько истребителей. Один летел как-то вяло, неуклюже разворачивался то в одну, то в другую сторону. Второй защищал его, отбиваясь от двоих фашистов. Скоро один фашист загорелся и на глазах у всех факелом рухнул у села. В этот момент из-

раненный, без колес, истребитель скользнул над головами и вспахал глубокую борозду на сжатом поле. Красный нос, такая же полоска на хвосте... Свой, с нашего аэродрома! Солдат кинулся к месту падения. Туда уже мчалась санитарная повозка, случайно примкнувшая к беженцам.

Бежать было нелегко. Когда до самолета осталось не больше пятисот метров, появились немцы...

...Расправившись с «мессерами», Алексей Овсянкин сделал круг над раненым командиром. На помощь к нему спешили свои. Алексей хотел улететь домой, но тут из лесу показались немцы. Несколькими атаками он загнал фашистов обратно, круто снизился и сел неподалеку, чтобы взять командира на свой самолет.

Гитлеровцы вновь выскочили из лесу, зелеными пауками стали карабкаться на пригорок. Когда Алексей подрулил к упавшему «МиГу», они были еще метрах в трехстах. Соколов поджег свой самолет и с трудом заковылял ему навстречу. Овсянкин выскочил из кабины, подхватил командира и, что было сил, заспешил обратно.

Фашисты что-то орали, но не стреляли, рассчитывали захватить летчиков живыми.

Спасение было рядом: блестя на солнце, в двадцати-тридцати шагах ровно и призывно рокотал мотор. Одно усилие — и они в воздухе.

И вдруг над головой просвистело, грохнуло. Земля всколыхнулась. «МиГ» окутался дымом, осел. Овсянкин, теряя равновесие, схватился за грудь, что-то теплое, клейкое потекло по пальцам.

В первый момент беспомощность и страх сковали Соколова. Тупая давящая боль стиснула голову. Но тут он увидел искаженное болью лицо Алексея и,

не отдавая себе отчета, что было сил пополз к разбитому снарядом самолету.

Немцы теперь не спешили и не скрывались; они приближались широкой цепью, во весь рост.

«Спокойно, Соколов, спокойно», — шептал он, расстреливая фашистов из пистолета.

Он заложил последнюю обойму из пистолета Овсянкина, целился тщательно, считая каждый выстрел.

Фашисты залегли и ползли, как черепахи, охватывая разбитый самолет полукругом. Позади цепи, на жнивье, осталось с десятков распростертых трупов. Снова выстрел, и гитлеровец с засученными рукавами, взвизгнув, пополз назад.

— Еще один, — процедил сквозь зубы Анатолий.

— Командир, а командир, — еле слышно позвал Овсянкин. — Я умираю. Приподними меня — простимся.

Соколов нагнулся. Летчик осторожно обхватил его за шею.

— Еще повыше... Выше...

Сознание медленно покидало Алексея. В предсмертной тоске лицо осветила улыбка: жена и дочь пришли к нему, были с ним...

Алексей вновь обратил глаза к Соколову; крепко закусенные губы его чуть шевельнулись:

— Доченьке моей... не стыдно за отца... — и смолк. Что-то мальчишеское, нежное проступило на лице.

Соколов с ношей на руках выпрямился во весь рост. Где-то в крошечной клетке мозга, которая начала жить раньше первого его вдоха и умрет в нем последней, уже решено: «Свое мы исполнили. Не будет тебя, Алексей, и...»

Анатолий обвел взглядом прохладные рощицы

Приднестровья, полные запахов, влажные луга: далеко за синью горизонта остался его родной дом.

Рваная тень от облака забралась на косогор, обдала прохладой. В вышине знакомый гул самолетов.

И вдруг стало легко, хорошо, как после крепкого бодрящего сна. В пистолете два патрона. Один для себя, а второй... Да хотя бы тому, белозубому, без пилотки, что ближе других.

Цепочка гитлеровцев с автоматами наизготове сжималась. Анатолий поцеловал холодный, быстро бледнеющий лоб друга.

Страшная мертвая тишина. И в ней, как две хлопущки, щелкнули выстрелы. Но человек в кожанке продолжал стоять, крепко прижимая к груди товарища.

В ужасе оцепенела вражеская цепь. А он, мертвый, с мертвым на руках стоял перед врагом... Потом, как в земном поклоне, медленно присел на одно колено, другое, и теплая земля приняла обоих...

Дед Грозный уверяет: когда поля покрываются тучными нивами и утренняя заря встает над влажными рощами и прохладными лугами, на холме том, среди красоты земной, распускаются два алых бутона...

* * *

Ночная тень легко опустилась на землю. В чистом умытом небе заблестели между облаками первые звезды.

Заночевали мы под самолетом. Рев прогреваемых моторов разбудил нас. Солнце только всходило. На горизонте занялась розовая заря; от нависшей над ней черной тучи заря казалась еще алее. Аэродромная трава была усеяна искрящимися дождевыми бусинками.

Из штаба дивизии приехал офицер по разведке. Прикрепив к кузову машины большую испещренную карту, он бойко сыпал названиями немецких дивизий и армий, которые угрожающими стрелами с севера на юг нависли на нашем направлении.

Сухощавый, в аккуратной, перетянутой ремнями гимнастерке, с отточенным карандашом в руке, старший лейтенант являл собой образчик заправского штабиста. Из всего, что он нам втолковывал, я запомнил и понял немного: правому крылу войск нашего Южного фронта приказано остановить первую танковую группу фашистов на рубеже Шпола, Балта, Рыбница, а левому крылу и центру — удерживать оборону на Днестре.

Раскрыть нам полностью все «стратегические» хитрости фашистов штабист не успел. Нагрязнул генерал со свитой.

— Встать! Смирно!

Команда потонула в пулеметной трескотне. Кое-кто из его спутников присел, а сухолицый аскет с одним ромбом в петлицах от неожиданности плюхнулся за «эмку».

Оружейник, не подозревавший о приезде начальства, очередь за очередью сыпал то из одного, то из другого пулемета — готовил истребитель к бою.

— Прекратить! — хлестнул голос генерала.

Кто-то бросился исполнять приказание, но виновник конфуза, довольный работой оружия, уже кричал соседу по стоянке:

— Мишка-а, айда завтракать, а то скоро вылет. Потом и не перекусишь.

Я перевел взгляд на генерала. Впервые после «знакомства» в Бельцах я видел его так близко. Он не изменился: то же холеное полное лицо с мясистым носом, высокомерный, презрительный взгляд, тот же

синий комбинезон и та же мера воспитания: трудяга-оружейник получил десять суток ареста за «бесцельную» и несвоевременную стрельбу.

Я подавленно наблюдал за происходящим.

Генерал повернулся к старшему лейтенанту:

— А ты чем тут занимаешься?

Старший лейтенант побледнел:

— Наземную обстановку летчикам объясняю.

— Это летчикам ни к чему. Они не стратеги, — недовольно заметил генерал и повернулся к нам:

— Верно я говорю?

Молчание летчиков не смутило его.

— Ты их научи, как фашистов уничтожать.

— Есть научить! — козырнул штабист.

— Нам бы линию фронта показали на карте, — буркнул кто-то из ребят.

Несколько минут мы шли к своим самолетам молча. Высокая нескошенная трава хлестала по голенищам, до самых колен обильно смачивала ноги.

— Какого черта нас сюда посадили! — сердито ворчал Сдобников. — Того и гляди, угодишь на губу бесславно.

— И эгоист же ты, Лешка, — рассмеялся Зибин. — Даже тут тебе славы захотелось.

— Я воевать и жить хочу, а не прозябать.

— Брось брюзжать, как старая баба. Не все ли равно, откуда воевать — со своего аэродрома или здесь.

* * *

После завтрака, в ожидании вылета, я прилег на землю, положив парашют под голову. Неуютность мира расплавилась под теплыми лучами солнца. Думалось лениво, нехотя и почему-то об Осипенко. Откуда у него высокомерие, пренебрежение к нам, под-

чиненным? Ведь сам он был когда-то таким же, как мы. Не от княжеских кровей, из простых — деревенских. Мне от таких вершителей судеб хотелось не многого — чтобы считались со мной, обращались как с человеком. А это мог делать только богатый сердцем и разумом. Тогда малое и большое, великое и незаметное, если оно шло на пользу людям, имело бы одну цену.

Солнце поднималось все выше. От пряного запаха трав, тепла, тишины веки медленно закрывались.

В небе рассыпалась многоцветная ракета — сигнал вылета на штурмовку. И затем началось. Техник, что утром был наказан генералом, оказался прав: вылет следовал за вылетом, и трудягам-техникам действительно было некогда перекусить.

Немцы развернутыми колоннами ползли и ползли с севера в направлении Первомайск—Николаев и Балта—Одесса, стараясь обойти весь Южный фронт с тыла.

С каждым днем, часом накал боев нарастал. Бесновались машины, бесновалось и все живое. Снаряды скрещивались со снарядами, гранаты с гранатами. Жар сражений полыхал в глазах людей, рвал землю и раздирал воем небо.

И все же, несмотря на тяжелые для нашей армии условия, немецко-фашистское командование вынуждено было в это время признать: «Противник снова нашел средство для вывода своих войск из-под угрозы наметившегося окружения...»

«Операция группы армий «Юг», — отмечал начальник генерального штаба сухопутных войск Гальдер, — все больше теряет свою форму».

Искусный маневр, быстрые фланговые марши, непоколебимое упорство наших бойцов сорвали замысел гитлеровского командования.

Части 9-й армии, прикрывавшие правый фланг Южного фронта, в ходе кровопролитных боев на какое-то время преградили путь фашистской танковой группировке, которая рвалась от Кодымы к узловой станции Слободка, на Котовск, Одессу, в тыл наших войск, с боями отходивших из Бессарабии за Днестр.

Немалую помощь оказали им авиация и летчики нашего полка.

* * *

Двадцать пятое июля. Пять раз вылетали мы в течение дня на штурмовку войск и один раз на перехват авиации противника. Под вечер, усталые и пропотевшие, мы в седьмой раз поднялись с Котовского аэродрома и взяли курс на Слободзею.

Плотным строем, крыло к крылу, по-гусиному, косяком, «стригут» над полями одиннадцать «Чаяк». Мы на «И-шестнадцатых» — ста метрами выше. Косые лучи солнца красноватыми отблесками играют на умытой листве деревьев, рябят в редких лужицах дорог, зайчиками прыгают по крыльям.

Слободка скрыта от нас лощиной и лесом. От нее разбегаются три железнодорожные колеи: две петляют меж холмами на восток и юго-запад, третья прямой стрелой прорубилась через лесок на север. Там на чистом фоне горизонта черными смерчами уперлись в небо пожарища.

На вражескую колонну натываемся неожиданно: грузовики, большие и малые, какие-то повозки по обочинам дороги, вдоль опушки; танки ползут через поля на Слободзею, оставляя грязные полосы.

Левым разворотом ведущее звено пикирует на темные коробки танков. Вытянувшись в цепочку, за

ним устремляются остальные. Наша тройка «ишачков» — в дозоре; мы пристально всматриваемся в небо, выискивая вражеские истребители. Опасности пока нет. А внизу, под нами, «Чайки» полосуют воздух реактивными снарядами. Сильная штука эти «эрэсы»: разносят вдребезги все, что попадает на пути. Несколько танков уже окуталось дымом. Другие застывают неподвижно. На тех, что свернули в лощинку к лесу, обрушивается звено Пал Палыча, и сразу же одна коробка волчком взрывается поле, вторая раскалывается от собственных снарядов.

Израсходовав «эрэсы», белокрылые машины набрасываются на колонну. Высота небольшая, и можно хорошо различить орудия, крытые машины, бензозаправщики. Очереди одна за другой впиваются в ее голову, в хвост. Летчики не обращают внимания на свирепый огонь зенитчиков. Даже когда одна из «Чаек», сбита, врезается в лес, а другая, окутанная огнем и дымом, уходит из боя, никто не думает об опасности. Это какие-то особые минуты, когда ожесточаешься в пылу боя и хочется бить, бить без конца.

Гибель нашего истребителя приводит меня в иступление. Я перевожу взгляд с земли на небо, затянутое редкими облаками. Опасное оно теперь, хоть и не видно противника.

Машинально проверяю положение гашеток, заглядываю в прицел. Все в порядке. Качнув крыльями товарищам, пикирую на машину, с которой ожесточеннее других огрызаются спаренные «эрликоны». Нажимаю на гашетки и всем телом ощущаю тяжелый перестук крыльевых пушек. Снаряды кучно вонзаются в машину; вместе с расчетом они в щепки разносят кузов, кромсают кабину, мотор.

За первой атакой следует вторая, третья. Теперь штурмовкой заняты все — и штурмовики, и мы, со-

провожающие истребители. Дорога и прилегающие поля вулканизируют грохотом взрывов, огнем, дымом и ревом моторов.

Я все время помню о воздухе, где каждую минуту могут появиться вражеские истребители, и не забываю о своих напарниках. Они растянулись в пеленге. Так легче вести индивидуальное прицеливание. Лучшая осмотрительность и свобода маневра предупреждают внезапную вражескую атаку. Этот строй выработан горьким опытом многодневных сражений.

Еще одна атака. В прицеле возникает крытая брезентом с бульдожьей мордой машина. Отличнейшая цель!

И тут — пусть мне скажут, что предчувствие — чепуха! — я быстро оборачиваюсь назад. Это уже привычка, и сердце сжимается: из-за золотисто-белых облаков на нас пикируют истребители...

Пока я определял, что это за истребители, прошло одно мгновение, но на пикировании его было достаточно, чтобы «засмотреться». Вражеский грузовик в прицеле вырос за это время в огромное чудовище. А за ним, выше траектории полета моего истребителя, ошестинился верхушками лес — могучий, прекрасный... В кабине «И-16» стало тесно. Мириады клеточек в мозгу возмутились, потребовали: «Прекрати атаку! Выводи! Промедление — смерть!» А руки — дьявольщина! — до чего непонятны человеческие поступки! — жмут на гашетку. И кроме того, невозможно не посмотреть, куда попадут снаряды. Не могу отказаться от этого. И только потом я рву на себя ручку управления. Самолет в судороге трепещет от совершенного над ним насилия. А может, от страшной близости земли, на которую он все еще оседает по инерции.

Под тяжестью перегрузки и, что скрывать, от страха глаза закрываются, тело приготавливается к неотвратимому удару.

Трудно сказать, что спасло самолет от столкновения с землей. Скорее всего, взрывная волна от грохнувших в машине снарядов взметнула машину над лесом.

Летчики уже заметили пикирующие истребители, стали в оборонительный круг, прекратили штурмовку. Но тревога оказалась напрасной: это на смену «Чайкам» прилетела девятка наших «МиГов» во главе с майором Ивановым и обрушила свои бомбы на вражескую колонну, точнее — на ее остатки.

После выхода из злосчастной атаки я не обнаружил Сдобникова — он следовал за Зибиным. Не было Алексея и среди «Чаяк». Сделав круг над местом боя, я с удовлетворением увидел: там, где совсем недавно двигался враг, теперь бушевали взрывы, ввысь вздымались столбы дыма, месили и рвали землю набитые снарядами грузовики. А «МиГи» с бреющего полета разили и разили врага.

Домой возвращались в лучах заката. Я вылез из кабины и почувствовал страшную усталость: казалось, сил не хватит даже на то, чтобы снять парашют и положить его на крыло. Бросив в ответ на немой вопрос техника: «Все нормально», — я с тяжелым чувством зашагал к самолету Ивана Зибина.

Место, где стоял «ишачок» Сдобникова, опустело, и весь аэродром тоже показался мне пустым.

Вспомнился разговор перед вылетом, когда мы под крылом раскуривали последнюю папиросу, его непривычно мечтательное лицо: «Пережить бы всю эту заваруху — женюсь... Эх, и дивчина меня ждет!»

— Оно и естественно, — поддержал тогда Алек-

сея Зибин, — без жены даже и на войне вроде как круглый сирота — и сверху, и снизу.

Мы подружились с Лешей еще в Кировограде. Потом эта дружба, прокаленная боями и временем, была настолько естественной, необходимой, что не замечалась. Только сейчас я понял, как близок мне этот веселый, взбалмошный, вихрастый парень.

На мой вопрос Зибин грустно развел руками:

— Наверное, взрывом его... — и, поняв мое недоумение, добавил: — Во время атаки он обогнал меня, был почти рядом с тобой. А потом, когда грузовик взлетел на воздух, я вас потерял...

Я доложил незнакомому капитану о результатах вылета и заметил, что КП опустел.

— Перебазируемся на другой аэродром, — пояснил капитан, убирая со стола последнюю карту. — А вы кройте к себе.

— Наконец-то! — обрадовался Иван. — Полетим, пока не стемнело. — И сразу же сник: — Леша... Как он рвался домой...

— Да, — спохватился капитан, — один «МиГ» в Котовске за трубу зацепился. За ним пара «худых» гналась. Фамилия летчика Шиян¹. Не ваш случайно?

Гриша Шиян, жизнерадостный здоровяк украинец... Так вот где пришлось тебе сложить свою голову...

* * *

Сборы к перелету были недолгими, и вот мы над Маяком. При виде разбросанных по аэродрому ящиков, сгоревшей «Чайки» стало не по себе. И все-

¹ Шиян Григорий Тимофеевич, летчик, мл. л-т, 1919 г.р. 25.07.41 г. во время в/б в районе Котовск на «И-153» задел за заводскую трубу. На счету имел 1 сбитый самолет противника.

таки надо было садиться — узнать, куда перелетел полк.

Пока мы осторожно подруливали к тому месту, где находился командный пункт, навстречу из лесочка запылила полуторка.

От Лоеенко, разбитного техника второй эскадрильи, оставленного тут «на всякий случай», я узнал, что наши уже второй день сидят на новом аэродроме.

— А «Чайку» «мессеры» сожгли, когда аэродром штурмовали, — кричал он мне в ухо.

Через несколько минут мы взяли курс на новый аэродром. Я с грустью взглянул на прилепившееся к оврагу летное поле, на небольшой поселок, где мы жили, и гнетущее ощущение чего-то непоправимого наполнило меня. В горле запершило.

В Осиповке сели почти в темноте. Никто нас не встретил, не показал, куда ставить машины. С чувством возникшей невесть отчего тревоги мы вылезли из кабин. В наступившей тишине отчетливо раздавалось уханье пушек, от которого дрожал воздух. Тревога все разрасталась.

— Куда стопы двинем? — спросил Иван, раскуривая громадную сигарку.

— Подождем. Как будто едет кто.

Из автостартера выскочил незнакомый летчик, высокий широкоплечий хлопец.

— Дежурный по аэродрому старший сержант Никитин, — отрапортовал он четко. — Вы откуда?

— Ответь-ка лучше нам, ты-то откуда? — спросил я его.

— Из Качи. Двадцать второго прибыли.

— Из Качи? — поразился Иван. — Всем училищем? Воевать?

— Зачем же училищем, — усмехнулся сержант, — нас в полку только семнадцать летчиков.

— В каком полку? — недоверчиво спросил Зибин, решив, что мы сели на чужой аэродром.

— В пятьдесят пятом истребительном. А вы из какого?

— Какого ж ты черта стоишь! Вези быстро перекусить да в общежитие!

Новичок сразу же подкупил нас деловитой уверенностью, простотой и собранностью. Наши симпатии к молодому летчику выросли еще больше, когда мы увидели, как он деловито подгонял с ужином повара.

В движениях рослого, крепкого парня сквозила курсантская выправка, спокойный голос в приземистой столовой звучал внушительно. При свете керосиновой лампы светло-русые волосы красиво оттеняли обаятельное мужественное лицо с высоким лбом.

Нам выдали по граненому стакану водки, накормили сытным ужином. Разливающаяся по всему телу теплота, тихая спокойная изба с уютными запахами кислого хлеба и сухих деревянных нар — все это показалось мне пределом мечтаний.

Я сбросил амуницию, стянул гимнастерку, сапоги и завалился на шуршащий соломой матрац, покрытый чистой простыней, ощутив каждым мускулом радость покоя.

Засыпая, я слышал, как Иван наказывал Даниилу — нашему новому знакомому — разыскать чемоданы, и провалился в небытие.

С рассветом мы были на ногах. Сизые дымчатые облака ползли на восток. С листьев дерева, на котором укрепили умывальник, срывались крупные, обжигающие тело ледяные капли. Молодые летчики,

одеваясь, поторапливали друг друга, с любопытством поглядывали на нас. Произносились непривычные фамилии: Деньгуб¹, Труд, Сташевский².

Около самолетов нас поджидали Богаткин, Германовичи и... Леша Сдобников! Оказалось, взрыв изрешетил его самолет, и он сразу подался к себе домой. И пережитого вчера уже не осталось в помине.

После завтрака все встало на свои места. Неожитый аэродром принял обычный вид. Истребители «И-16», объединенные в одну эскадрилью под началом Пал Палыча, рассредоточились неподалеку от «Чаек». На другой стороне, ближе к леску, вырисовывались остроносые «МиГи», — ими командовал теперь Константин Ивачев.

Костя с первого дня стал для нас образцом бесстрашия, примером воздушного бойца и командира. И теперь мы были рады, что этот безупречный коммунист наконец-то получил признание.

В этот день жизнь шла своим чередом, полная трудностей, неожиданностей и новых ощущений. В ожидании вылетов, под ветвистым кленом, летчики перебрасывались шутками, подначивали друг друга. Леня Крейнин, как всегда, «держал банчок». Его продолговатое смуглое лицо отливало синевой чисто выбритой бороды. Стоило Леониду вскинуть густые брови и что-нибудь произнести, как на лицах расплывались улыбки.

Вспомнили о вчерашней штурмовке под Слобод-

¹ Деньгуб Иван Семенович, летчик, сержант, 1920 г. р. 14.10.41 г. не вернулся с боевого задания из р-на Троицкое — Николаевка Запорожской обл. Воздушных побед не имел.

² Сташевский Леонид Митрофанович, летчик, сержант, 1921 г.р. 22.11.41 г. не вернулся с боевого задания из района Павленков — Родионов — Несватайское. Воздушных побед не имел.

зеей, в результате которой около десятка семитонных грузовиков со снарядами взлетело на воздух. Позднее от пленных стало известно, что целая дивизия гитлеровцев из-за отсутствия снарядов не могла наступать и бездействовала в течение трех суток.

Рядом, за столиком, сколоченным из горбылей, Степан Комлев, смуглолицый с угольно-черными глазами, обычно спокойный и уравновешенный, сейчас настойчиво и горячо упрасивал Фигичева:

— Не посылайте, Валька, меня с ним в разведку. — Уголь-глаза умоляли: — Понимаешь, боюсь с ним лететь. Да и разведка — не моя стихия. Хочу драться, как все.

Фигичев, теперь уже боевой заместитель Ивачева, был угрюм и задумчив. Свою красу — бакенбарды — он запустил, и они срослись с черной щетиной на щеках, хищный горбатый нос заострился. Валентин, казалось, не слышал Степана. Незвестность о судьбе закадычного приятеля и боевого товарища, Лени Дьяченко, мучила его.

Вчера Фигичев и Дьяченко дрались с «Хейнкелями» и парой «мессеров». Бой сложился неудачно. Лению подбили. Фигичев проследил, как друг садился около Карабаровки, и тут на них вторично напали вражеские истребители...

Послышался приглушенный гул моторов. Все обернулись в ту сторону, откуда докатился глухой перестук пушек: над синеватой дымкой по «МиГу», как по летящей мишени, строчил «Мессершмитт».

Фигичев, решив, что это Дьяченко, вскочил и, застегивая шлем, кинулся к самолету.

Но было уже поздно: «мессер» плавно развернулся и скрылся из виду. А «МиГ»...

Летчики, особенно молодые, приуныли. Двое из

них подошли к Грачеву — высокий с казачьим чубом Степанов и застенчивый, светлоглазый Супрун¹.

— Неужели всегда так? — спросил Супрун.

— Всегда, — сердито ответил Петя. — Для всех, кто удирает или дерется на малой высоте. У земли, как говорил Тима Ротанов, «МиГ» — утюг.

Из лесочка, где зарылся КП, позвал Тетерин:

— Крейнина и Шульгу к Пал Палычу.

Васянька лениво перекинул планшет через плечо.

— Что день грядущий нам готовит? Пойдем, Леня. — Крейнин легко вскочил, отряхнулся и, кивнув на Тетерина, нарочито громко заметил:

— Люблю толковые распоряжения нашего замкомэска. Орел! — И подмигнул: — Жаль только, не степной.

— Эти шуточки брось!

— Не обижайся, — дружелюбно похлопал его по плечу Крейнин. — Правду говорю, «боевая» у тебя фамилия, крылатая, тебе под стать.

Богаткин подошел ко мне, взял под руку:

— Пойдем, командир, переоденешься — вещички твои разыскал. — Его прокопченное степным ветром лицо выражало заботу. — Ботинки по этой грязи сбрось. Сапоги тебе подбил. Подметки — сносу не будет.

— До Берлина можно дотопать, — восхищенно постучал пальцем по толстой коже Борис Комаров, когда я начал переобуваться.

Вчера он, как никогда, отличился при штурмовке вражеской колонны. Поборов, наконец, свою боязнь зениток, не обращая внимания на прямое попада-

¹ Супрун Степан Яковлевич, летчик, л-т, 1921 г.р. 08.08.42 г. погиб в катастрофе на «МиГ-3» на аэродроме Тулатово Бесланского р-на Орджоникидзевского края. Воздушных побед не имел.

ние снаряда в самолет, Борис разнес на куски две пушки и взорвал семитонный грузовик. Петя Грачев, очевидец его смелых, мастерских атак, нахвалиться не мог и радовался успеху друга, пожалуй, больше, чем тот сам.

— Вот те крест, — уверял он, — Комаров громил врага не хуже, чем сам командир полка.

Я смотрел то на одного, то на другого и не мог понять, что случилось с товарищами за короткий срок моего отсутствия? Внешне они как будто те же. Борис, правда, похудел, отчего стал еще длиннее, но зато во всем его облике, в разговоре, в спокойном, твердом взгляде карих глаз чувствовалось внутреннее спокойствие и уверенность.

А к Пете Грачеву, казалось, горечь раздумий и скорбь не имеют доступа. Он прочно и крепко стоял на этой земле, врос в нее, как дуб корнями. Таких не согнуть, разве только сломать. Но и в нем появилось что-то такое, чего раньше не было.

И вдруг я живо, почти осязаемо почувствовал, насколько они стали мне ближе, роднее; не будь их рядом, кажется, солнце перестало бы светить.

Нет, все-таки быть с ними, познать хоть каплю их тепла, заботы — великое счастье!

Германовшили искренне восхищался храбростью Бориса:

— Я фашистский живой гадина не боюсь, попадись — руками душил бы, но пушка — страшный.

— Оказаться выше труса, который в нас всегда живет в такие минуты, Вазо, — заметил Грачев, — значит быть настоящим солдатом.

Это было сказано незнакомым мне до сих пор, уверенным, твердым голосом. Только теперь я понял, как возмужали ребята за это время.

Тень от самолета все укорачивалась. Воздух над

аэродромом переливался после ночного дождя; в вышине он сгущался, плотнел и незаметно рождал над головой причудливые пушистые облачка.

Герmanoшвили особенно тщательно подогнал на мне парашют, аккуратно положил его в кабину и принялся старательно прочищать мой пистолет.

Перед боем не грех поваляться на траве. Я потеснил Вазо плечом, бросил под голову чехол и растянулся в тени самолета.

Вазо уморил меня рассказами о своей женитьбе, о теще, которая так крепко засела у него в печенке, что он не мог удержаться и не съязвить по ее адресу.

Я смеялся от души.

— Не к добру вы разошлись, — улыбнувшись, заметил Богаткин.

— Смех — всегда добро, — возразил я.

— Где оно, это добро? Слышали, как пушки ночью палили? Сказывают, немец-то повсюду к Днестру вышел.

— Тут он и захлебнется. На наш фронт, говорят, Буденный приехал командовать. Он им даст жару!

Присвистывая и колошматя грязными пятками лошадь, вдоль аэродрома протрусил верхом растрепанный мальчонка. Глядя на него, я невольно улыбнулся. Босоное детство, ясная, сладкая, как мед, и горькая, как полынь, далекая пора.

Вспомнились холщовые штаны, закатанные до колен, такая же рубашонка нараспашку, нечесанные вихры, а в руках краюха пшеничного хлеба, от одного запаха которого текут слюнки.

Соленым отцовским потом, горькими детскими слезами добывался кусок хлеба. Чтобы вырастить его, мы с отцом корпели на пашне от зари до зари. Ночевали тут же, в поле, — жалели время. Однажды — я уже не помню, которую ночь мы проводили

в поле, — холодное весеннее небо снова заполнили звезды. Отец накопил травы, бросил ее на телегу, прикрыл сверху сермягой и уложил меня спать, а сам пошел стреножить лошадей.

Сладкая дрема сразу навалилась на меня. Но и она еще долго жила звуками дневной работы. Мне чудилось, что отец снова пашет. Я слышал, как он негромко покрикивает на кобылу, как ржет резвый жеребенок Костя — то совсем рядом, то где-то далеко, как бы на том конце пашни.

«Почему он пашет, гнедуха-то, поди, устала?»

— Вставай, Грицко. Вот соня! Солнышко встало, а ты все спишь. — Отец легонько тряс меня за плечи.

Я открыл глаза. Из-за черной пашни выглядывал краешек солнца. В березовом колке вовсю заливались птахи. Лошадь, ласково пофыркивая на Костю, уже стояла в бороне. Все поле было вспаханно.

— Долго мы что-то с тобой ковыряемся, — запиная квасом посоленный ломоть, недовольно ворчал отец. — До обеда надо бы десятину заборонить да засеять.

Я забрался на крутобокую гнедуху, тронул поводья. Звякнули железные кольца на вальках; две бороны, сцепленные между собой, подскакивая с пласта на пласт, начали взрыхлять пашню.

Земля была твердая, комковатая. Приходилось делать несколько гонов взад-вперед, чтобы хорошо разборонить навороченные лемехом пласты.

Отец долго стоял на меже — наблюдал, ровно ли идут бороны.

— Ты только не все время сиди на гнедухе. Думаешь, легко возить-то тебя? И в поводу ее поводи.

«Больно мне нужно. И не сяду на твою кобылу», — подумалось сердито, но я промолчал и соскочил с теплой спины лошади. Обутки на ногах давно раз-

бились, приходилось работать босиком. Ноги покрылись цыпками и нарывами. То и дело я ударялся своими болячками о твердые комья земли и корчился от боли.

Неожиданно окрестность огласилась гулом. Глухой и слабый вначале, он быстро ширился, нарастал, сотрясая воздух. Гнедуха застреляла ушами, тревожно фыркнула и с опаской повернула голову.

Со стороны Елани показался самолет. Первый настоящий самолет, какой я когда-либо видел. И сразу же воображение унесло меня в подоблачную высь, навсегда оставив мечту быть лихим конником. Самолет этот я хорошо помню до сих пор: небольшой, полуторакрылый, с торчащей из кабины головой летчика. Пролетел он тогда, как мне показалось, со страшной скоростью. От гула мотора дрожала земля. Лошадь в испуге шарахнулась и понесла. Я отделался легкими царапинами и порванной штаниной...

* * *

...Тяжелые артиллерийские раскаты вернули меня к действительности. Как и вчера, толчки шли один за другим откуда-то из глубины, их как по проводам чутко передавала земля. Но сегодня в этих раскатах слышалось что-то особенно тревожное. А может, мне только показалось? Но нет — вот и люди на аэродроме опасливо оглядываются при каждом взрыве.

Мимо пробежал коренастый солдат в расстегнутой гимнастерке, писарь штаба полка.

— Эй, Грунин! — окликнул его Германошвили. — Зачем так быстро скакал?

— Барышева, политрука нашего, не видел?

— Куда он тебе нужен?



Летчик 55-го истребительного авиационного полка
Александр Федорович Голубев. 1941 г.



Летчик Александр Дмитриевич Гросул. 1941 г.



Заместитель командира 55-го истребительного авиационного полка
майор Григорий Васильевич Жизневский. Конец 1940 г.



Заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Иван Михайлович Зибин *(на фотографии – в звании сержанта)*.



Командир звена старший лейтенант
Николай Яковлевич Лукашевич. 1941 г.



Комиссар 55-го истребительного, впоследствии 16-го гвардейского
истребительного Сandomирского ордена
Александра Невского авиационного полка
Михаил Акимович Погребной.



Командный и начальствующий состав 16-го гвардейского истребительного авиационного полка. Слева направо: подполковник В.П.Иванов, начальник штаба полка Медведев, штурман полка Н.В.Исаев, комиссар М.А.Погребной. 1942 г.



Комиссар 55-го истребительного авиационного полка М.А.Погребной (в центре) с летчиками. Справа от Погребного – будущий командир 16-го гвардейского истребительного авиационного полка Аркадий Васильевич Федоров, крайний справа во втором ряду – командир звена старший лейтенант Николай Лукашевич. Весна 1942 г.



Сталинские соколы. *В центре* – летчик
Степан Спиридонович Назаров.



Летчик Александр Иванович Покрышкин,
будущий командир полка. Весна 1942 г.



Дважды Герой Советского Союза капитан Г.А. Речкалов,
летчик полка.



Истребитель И-153 «Чайка» Г.А. Речкалова (рисунок М. Быкова).



Летчики 55-го истребительного авиационного полка на отдыхе.
Крайний справа вверху – Г.А. Речкалов. Кировоград, 1939 г.



Заместитель командира авиационной эскадрильи старший лейтенант Семен Иванович Хархалуп. Июнь 1941 г.



Младший лейтенант Матвей Иванович Хмельницкий. 1941 г.



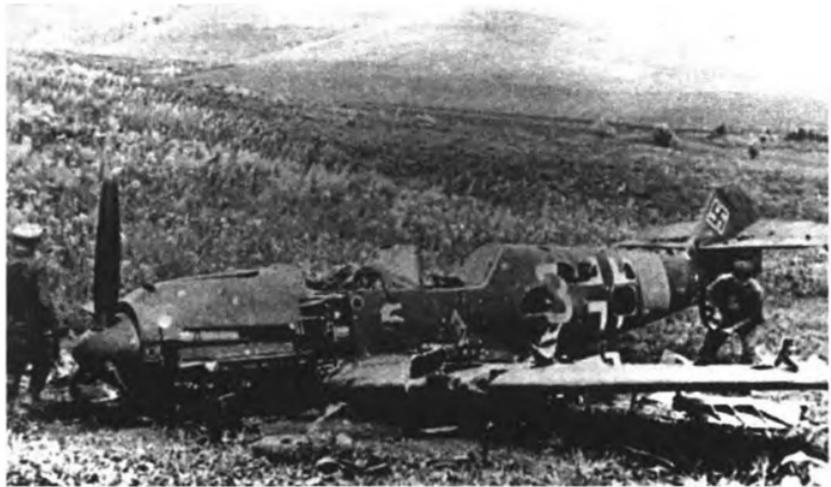
Краткий обеденный перерыв между боями. Июнь 1941 г.



Летчики полка получают боевую задачу. Июнь 1941 г.



Горит сбитый немецкий бомбардировщик. 27 июня 1941 г.



Разбитый немецкий истребитель «Мессершмитт» – результат боевой деятельности летчиков полка. Июнь 1941 г.



Дважды Герой Советского Союза Г.А. Речкалов
с женой А.Я. Речкаловой.



Дважды Герой Советского Союза
полковник Г.А. Речкалов. 1958 г.

— Дьяченко вчера погиб. Во Фрунзовке хоронить будут.

Дьяченко погиб... У меня перехватило горло, и несколько минут я стоял, судорожно хватая воздух.

Подошел Леня Крейнин. Плечи его понуро обмякли, лоб весь в капельках пота, пожелтел, потускневшие глаза тяжело смотрели из-под нависших бровей. Причину гибели Дьяченко он тоже не знал. Он принес не менее тяжелую весть:

— Наши войска оставили Бессарабию и повсюду отступили за Днестр. Минувшей ночью фашисты навели переправу у Дубоссар. Теперь их танки ползут на нас. Вечером, возможно, перебазируемся на другой аэродром. — Крейнин вытер ладонью взмокший лоб. — Кто полетит со мной прикрывать Пал Палыча? Девяткой «Чаек» они летят на штурмовку вражеских переправ.

Согласие изъявили все. Леня взял в напарники Ваню Зибина и меня. Обговорив порядок полета, мы разошлись по самолетам.

Тревога, закравшаяся в душу, не исчезала. Посудачив о дневных заботах, Богаткин, тяжело дыша, подтянулся к кабине. Бровей его почти не было видно, они стали такими же серыми, как и лицо. Механик молча осмотрел приборы, проверил зачем-то показания бензиномера, заботливо поправил на мне привязные ремни. Последнее время он был особенно утрюм и неразговорчив.

— Ты что же это, старина? Или нездоровится?

— Не обо мне судить-рядить, — Богаткин грустно посмотрел на меня. — Мы на земле остаемся, не летим в пекло к «мессерам» и зениткам.

— С чего ты взял? А потом, — это уже дело привычное. Да и не верю я, чтобы немец покрепче нас был.

Я заметил, что Богаткину не нравится мое напу-

ское бодрячество. Мне и самому это не очень нравилось, но чем-то надо было ослабить взвинченные нервы, стряхнуть тяжесть с души, и я, наперекор себе, сказал ему:

— А вообще, где гроза, там и вёдро.

Богаткин промолчал. Исподлобья, по-отцовски пристально, посмотрел на меня и прыгнул на землю.

Я видел, как он вытащил из кармана часы — предвоенный подарок, и на лице его промелькнула улыбка. Вспомнил, должно быть, такие далекие, мирные дни, тихую окраинную улочку в Бельцах, беседку на берегу Реута, где часто сиживал с непоседой дочуркой.

На юге сильно загромыхало; как потом стало известно, бомбили Фрунзовку. Богаткин недовольно посмотрел на часы, несколько раз сильно встряхнул, их.

— Капризничают? — спросил я.

— Засорились, что ли. Ползут, как сегодняшней день, одна мука. Сколько на твоих самолетных?

— Без четверти час.

Герmanoшвили закричал издали:

— Запуск! «Чайка» начала запуск!

Полетели в стороны маскировочные ветки. Захлопали, загудели моторы. Наше звено взлетело последним, подстроилось к группе Пал Палыча. Высота триста метров. Ниже шли клином «Чайки»: Крюков, звено Шульги, Тетерин с ведомыми. Его самолет летел почему-то с неубранными шасси. На полпути он развернулся назад, за ним напарник. Второй ведомый, решив не возвращаться, подстроился к Шульге.

Ближе к линии фронта чаще стали попадаться толпы беженцев. Справа по курсу большой подковой блеснул Днестр. К югу от него, вдоль берега, потяну-

лись Дубоссары. С воздуха хорошо была видна избыточная молдавская земля по ту сторону Днестра.

От горизонта до горизонта бежали по ее холмам виноградники, цветущие долины, золотом хлебов переливались поля. И над всем этим богатством сверкало ослепительное солнце. «Эх, если б...»

Остовы сгоревших танков, свежие вражеские окопы южнее Дубоссар заставили взглянуть на земную красоту другими глазами. Тревожнее забилося сердце.

Напротив Криулени и чуть дальше по течению две черных полосы понтонов перечеркнули холодный блеск реки. Прибрежные заросли и лощинки заполнили вражеские войска. Подходили новые колонны, скапливаясь у переправ. На нашей стороне стояла непонятная тишина. Неужели отходят?

В воздухе блеснул огонь, и «Чайки» мгновенно обволокла дымная завеса. Крюков, избегая зенитных разрывов, круто снизился. Мы с Крейниным пошли за «Чайками», и дымные хлопья проплыли над нашими головами. Ливень пуль и снарядов накрыл врага, спешившего выбраться с понтонов. Плотный огонь «Чаек» прошивал переправу по всей длине. Подбитые машины образовали затор. Одна, охваченная пламенем, давя солдат, кувыркнулась в реку. Мутная вода закипела барахтающимися фигурками.

Огонь зениток становился особенно зловещим. Перед вылетом мы не подумали, что на этот объект следовало бы кого-нибудь выделить. Опасались больше всего вражеских истребителей. Но их пока не было. Крейнин решил исправить ошибку: направил свой истребитель на ближайшую установку. Я последовал его примеру и нацелился на кустарник у самой переправы, откуда стреляла другая «эрликоновская» пара. Поливая ее огнем, мы снизились поч-

ти до самой земли. Установки замолчали. Мимо, едва не столкнувшись с нами, промчалось над понтонами звено Васяньки Шульги. От его удара еще одна машина на переправе окуталась дымом. Чтобы не врезаться в ведомых Шульги, я метнулся вверх и очутился над вторым понтонным мостом. Тут было еще большее столпотворение машин и людей. Я прицелился в самую гущу. В прицеле оказался огромный тупорылый грузовик, точь-в-точь как вчерашний, под Слободзеей. Ровно и дробно заговорили крыльевые пушки; грузовик вспыхнул, а трассы моих снарядов уже впивались в следующую машину. Я вышел из атаки и начал пристраиваться к Лене Крейнину. Но тут появились «мессеры». Я заметил только пару, на какую-то долю секунды замешкался, выискивая в небе других, и в этот момент в кабине что-то треснуло. Грязный дымок мелькнул перед глазами, мотор тянул ровно во всю мощь тысячи лошадиных сил.

Я увидел, как Леня Крейнин повернул голову в мою сторону, хотел обратить его внимание на вражеские истребители и вдруг заметил, что мои очки забрызгиваются чем-то темным. Неужели пробит маслобак? Я глянул в кабину и не поверил... Половинка перебитой правой педали валялась на полу в маслянисто-бурой луже. Нос сапога, наполовину развороченный, представлял собой месиво из кусков кожи и крови.

Я попытался пошевелить ногой — она не подчинялась. Только теперь смысл происшедшего дошел до моего сознания, потряс холодным ознобом.

Но почему я не чувствую боли?

Здоровой ногой мне с трудом удалось развернуть самолет к своим. Товарищи были всецело поглощен-

ны переправой, и не потому, что это важнее. Скорее всего, они не знали, что я ранен.

Волнения не было. Вялое необъяснимое равнодушие разлилось по всему телу. Но вот тревожно кольнуло сердце: в поле зрения опять появилась пара вражеских истребителей. Фашисты высматривали, кого бы ударить сверху. Они то и дело снижались широкими кругами, но в кучу лезть не спешили.

Мне страшно не хотелось попадаться им на глаза. Впереди показалась широкая и глубокая, метров до пятидесяти, балка. В вешнее половодье по дну ее мчатся потоки мутных вод, теперь она представляла собой зеленое русло с едва заметным ручейком.

Я знал — балка тянется мимо Осиповки, и даже дальше, нырнул в нее, но было уже поздно: враги заметили мой «ишачок».

Я словно впервые по-настоящему понял, что такое враг. Боль и реальная близость смерти разогнали вялую сонливость, вдохнули новые силы. Беспомощности как не бывало.

«Мессеры» догнали меня не сразу. Они долго приспособлялись, чтобы удобнее клюнуть сверху.

Мой истребитель мчался по дну балки на максимальной скорости. С непостижимой для меня молниеносной реакцией выписывал он все изгибы, проделывал поистине акробатические трюки, проскакивая под перекинутыми через овраг проводами.

Долго ли, коротко ли длились те десять-пятнадцать минут, пока «мессеры» клевали меня сверху, — не помню. Отстали они только у Реймаровки.

И снова сонливость. И снова я весь обмяк от слабости — ни движения, ни мысли. В ушах звенело нудное «дзинь... дзинь...». Теперь уже всеми действиями руководил не разум, а привычный, сотни раз повторенный в обычных полетах автоматизм.

Шасси выпустились, казалось, без моего участия; аэродром с редкими самолетами набежал на меня сам, только машина неизвестно отчего покатила по неровному полю боком, неуклюже развернулась. Словно сквозь пелену увидел, что к самолету бежит Афанасий Владимирович... Он уже в кабине.

— Санитарку...

— Санитарку-у-у, — разнесся по аэродрому его голос и замер... и сам он начал расплываться, расплываться... Зеленые, красные, синие круги бешено закрутились перед глазами, смешались...

Земля завертелась, стала уходить из-под ног, и меня понесло в глубокую бездонную яму...

КОГДА СЕРДЦЕМ В ВОЗДУХЕ

Стояла тишина. Это было первое, что я воспринял. Перешептывание сестер, перезвон пузырьков и блестящих инструментов, шорох тополей за окном — ничто не могло нарушить ощущения тишины. Может быть оттого, что в операционной палате все было белым: белые халаты, белые стены, белый тазик с белым паром. И сама тишина тоже казалась белой.

Тело еще продолжало болеть, но боль уже в новом качестве: не скрежещущая, острая, а тихая, щемящая.

— Спокойно, спокойно лежи... Все будет хорошо, — успокаивал врач, обрабатывая рану. Я с полнейшим безразличием наблюдал, как он вытаскивает из ступни кусочки костей и металлические осколки, стрижет ножницами рваные лоскутки кожи, запихивает в рану марлевые тампоны, а затем, полив все йодом, перебинтовывает ногу.

И опять сон, на этот раз мертвецкий, как после тяжелой физической работы. Я проспал весь остаток дня и всю следующую ночь. Проснулся, когда сквозь ветвистые тополя синел кусочек неба, шумно заливались скворцы. Недавние хозяева этого здания — школьники — хорошо позаботились о птицах, снабдив почти каждый тополь скворечником.

Ощущение полного бессилия пришло не сразу. Первое неосторожное движение болью пронзило тело. Я чуть приподнял голову — и тут же сдвинулся, пополз куда-то потолок; стол у классной доски, за которым дремала сестра, накрёнился.

Ни клюквенный кисель, которым я опивался, ни уколы, от которых меня мутило, ни ободряющие увещевания милейшего доктора Иваницкого не прибавляли сил.

Моя кровать стояла у окна. Рядом лежал техник, страдавший фурункулезом. Он-то и увидел «лаптежников» первым. «Юнкерсы-87», прозванные так за торчащие в обтекателях колеса, надвинулись на село гусиным, в полнеба, строем и один за другим ринулись вниз.

Резкие взрывы сотрясли воздух. Звонко посыпались на землю стекла. Техник очумело выскочил из палаты. За ним следом кинулась сестра, но упругая волна близкого взрыва опрокинула ее навзничь. Меня сбросило с кровати.

Минута, другая... Уханье и надсадный свист заглушили все. Я прижался к простенку. Сатанинские силы, вызванные взрывами, сотрясали здание. Широкие потолочные доски перекосились. В образовавшиеся щели посыпалась чердачная земля. От бомб последнего звена «лаптежников» выползла из гнезда, и, словно в ознобе, задрожала над головой поперечная балка. У меня же не было сил даже отодвинуться, отползти от провисшей балки.

Но подземные толчки вскоре прекратились. Два солдата-санитара перетащили меня в другой класс.

Под вечер в лазарет зашли командир полка, начальник штаба и старший политрук Захаров, временно замещавший снятого теперь с должности Чу-

пакова. В палате они оставались недолго, но их приход очень взволновал меня. Дорого было внимание.

Иванов пожелал мне поскорее выздороветь и вернуться в полк, а Матвеев полушутливо-полусерьезно заметил:

— Фашистов можно бить и без пальцев на ноге. Запомни: полк — твой дом родной. Связи с ним не теряй. Ясно?

— Ясно, товарищ майор, — бодро заверил я.

Едва Иванов и Матвеев скрылись за дверью, в комнату гурьбой ввалились товарищи. Они натащили мне курева и всяческой снеди.

— Зачем, ребята?..

— На дорогу! — выгружая из карманов сахар, засмеялся Грачев.

— Я не собираюсь от вас уезжать.

— Зато мы сегодня перебазируемся, — сообщил Комаров. — Тебя же в Николаев эвакуируют.

Чтобы сгладить впечатление от принесенного известия, они стали наперебой выкладывать последние новости. Германовский из своего пулемета сбил «Мессершмитта» с пиковым тузом на фюзеляже, и фашист грохнулся прямо на аэродроме.

Леня Крейнин и Васенька Шульга рассказали о нашей штурмовке переправ. В тот вылет, когда меня ранило, порядочно перепало и самому Леониду: техники насчитали в его самолете с десятков пробоин.

— Все-таки не удалось задержать фашистов, — с горечью заметил Крейнин. — Ползут, гады. Чего доброго, завтра сюда нагрянут.

— Не доползут. Наши их, может, еще назад сбросят, — неуверенно возразил Сдобников. — Задержали же под Балтой и Рыбницей. Вот дали им «прикурить»!

Больше всего меня обрадовало то, что в полк воз-

вратился Паша Гичевский. Накинув халат на одно плечо, в палату озабоченно вошел доктор.

— В дорогу пора собираться. Прощайтесь, машина ждет.

Все засуетились. Сборы были недолгими. С вымученными улыбками Грачев, Сдобников и Зибин подхватили носилки и перенесли меня в «санитарку». В последний момент прибежали Богаткин и Германовшили. Один сунул мне чемоданчик с пожитками, другой — пистолет.

— Как же тебе, Вазо, удалось сбить пикового туза?

— Он в меня стрелял, я молчал. Он молчал, я снизу в гада стрелял. Но паразит убил мой друг Грунин. Тот письмо мама писал, — жгучие карие глаза Германовшили загорелись гневом, жилы на кулаках вздулись. — Мои пули разят прямо в сердце. Вазо пехота уйдет, и буду стрелять, стрелять, стрелять Гитлер...

Иваницкий захлопнул, наконец, дверцу кузова, машина тронулась.

В узеньком окне мелькнула дымящаяся окраина, вывороченные бомбами фруктовые деревья, а мои мысли были там, с товарищами, столпившимися у крыльца школы; я видел их тревожные и суровые глаза, слышал последние прощальные напутствия.

Придется ли встретиться снова?

Щемящее чувство одиночества охватило душу. В голову лезли то добрые, то унылые мысли. Мне было жалко себя.

Многое не сбылось из того, о чем мечталось: кажется, только разбежался изо всех сил с честолюбивым стремлением показать себя на поле брани — бац; плюхнулся на госпитальную койку. И все же где-то в глубине души таилось утешающее сознание того, что до сих пор судьбе было угодно щадить меня. Но как она обернется ко мне завтра? Взять хотя бы

ранение... Мне грезилась тишина госпитальных палат. Я не представлял себе, что можно так устать. Тяжестью налилась голова, лениво стучало сердце, обесилело тело.

Не забыть отвратительного ощущения собственной немощи.

Вместе со мной эвакуировалась Маша, медсестра этой же санчасти, высокая блондинка, страдавшая сильными приступами малярии. Круглолицый военфельдшер — наш старший — и его помощница медсестра Шура сопровождали нас.

Перед Фрунзовкой — крупным районным селом — кто-то из встречных посоветовал военфельдшеру обойти его стороной. Ходили слухи о прорвавшихся якобы в этом направлении фашистских танках.

Машина свернула на раскисшую от дождей проселочную дорогу. То и дело ее заносило в сторону. Густые сумерки и непролазная грязь вскоре сделали свое дело: «санитарка» безнадежно застряла в кювете.

— Приехали! — Водитель выругался и выключил мотор. — Без посторонней помощи не выбраться.

— А если там немцы? — Военфельдшер указал на близкие багровые всполохи. Голос его дрожал.

— Уходить нужно, — бойко посоветовала помощница. — Раненого на носилках понесем, а машину — сжечь.

— Я те сожгу, — пригрозил шупленький шофер.

— Со мной-то как? — взмолилась моя соседка, растянувшаяся на верхних носилках. — Головушка кружится, и двигаться не вмоготу.

— Ты, девка, не путалась бы в машине: моя мать с малярией всех нас, все хозяйство на ноги подняла, а у тебя «головушка кружится», — остролицая физио-

номия водителя вытянулась в смешную гримасу. Скажи уж, улизнуть подальше захотелось, да еще с комфортом.

— Не огрызайся, Даниленко, — робко одернул шофера наш начальник, — что же нам теперь делать?

После некоторых пересудов все согласились с моим предложением переждать ночь, но настояли на своем: метров на пятьдесят оттащили меня от машины в кукурузу.

Первая ночь вдали от своих. Непривычно и странно. Нервы были напряжены.

Под утро мы услышали подозрительный шум, какую-то возню. Как бы в ответ на это неподалеку настороженно тьякнул шакал. Беззвучно чиркнула в темноте ракета.

— Фашисты! — хрипло прошептала Шура. — Уходить надо.

— Ишь, что болтнула! — с сомнением возразил Даниленко. — Откуда им взяться?

Я тревожно прислушивался к их шепоту. Рана тихо ныла. Вдруг меня охватило волнение: в забинтованной ноге я ощутил легкий зуд; мне даже показалось, зашевелились пальцы, которых на самом деле не было. И чем ощутимее был зуд, тем явственнее они шевелились. Мне захотелось приподняться и пощупать их. Это так захватило меня, что я не сразу заметил, как носилки бесшумно волокут через кукурузу.

— Куда перебазировемся? В машину?

— Тихо, тихо, — зашущукали одновременно военфельдшер и сестра. — Немцы пробираются к дороге.

Кровь ударила в виски. Инстинктивно сунул руку под голову и, поблагодарив в душе Германовшвили,

нащупал холодный металл пистолета. Я напряженно прислушивался к хрусту кукурузных стеблей.

Топот временами замирал, а порой настолько приближался, что мне казалось, будто я слышу что-то натруженное сопение и приглушенный говор. Неожиданно громко заговорила артиллерия. Шум ломаемых позади стеблей усилился. И тут, как назло, кукурузное поле кончилось. Где скрыться? Мы совершенно безрассудно двинулись вдоль кукурузных зарослей.

— Ложись, ложись! — зашептал Даниленко.

Треск переламываемых стеблей усилился, темная стена заколыхалась, и прямо на нас выскочили... лошадь с жеребенком.

— Чтоб тебя... — громко выругался шофер и погладил по шее тревожно похрапывающее животное. — Ну, да ничего, может, еще пригодишься.

Шакалий вой и две пары голодных глаз, блеснувших в темноте, сразу же объяснили причину появления наших «диверсантов».

— А где же Маша? Ма-ша! — негромко позвала медсестра.

Минут через тридцать грязные, взволнованно-шумливые, мы забрались в «санитарку».

— Я ее, длинноногую, еле уговорил вернуться. Ускакала черт знает куда, едва нашел! — горячился шофер.

За шутками и взаимными подковырками мы не заметили, как наступил рассвет. Утро выдалось туманное. Грязные облака, точно застиранные лохмотья, висели над землей. Липкая стынь лезла за ворот. На дороге показалось несколько машин. Нам помогли выбраться.

— По этим дороженькам, так их разэтак, только

на такой кобыле и ездить, — зло ворчал измученный водитель.

— Плохой возница всегда на Фому валит, — расчесывая волосы, не удержалась бойкая Шура.

— Помалкивай лучше, рыжая, — осек ее Даниленко. — У меня разговор короткий: «Баба с возу — кобыле легче».

И снова дорога в выбоинах и лужах.

В небольшом пристанционном хуторке Затишье мы остановились на короткий отдых. Полустанок был забит людьми, платформы трещали под тяжестью какого-то оборудования, закованных ящиков.

Распогодилось. С деревьев то и дело срывались искристые капли. Пахло густой прелью. День обещал быть жарким и душным.

Все чаще стали попадаться военные; мимо нас понуро плелись роты, взводы, отдельные группы солдат. На все это недоуменно взирали женщины, старики и дети.

Старый, как сама земля, колхозник подошел к нам.

— Немцы-то далеко? — Глаза его потемнели от горя. В них невозможно было смотреть. Мы молчали. Вдруг Даниленко указал на небо:

— Вот они, подлюги! Уходить надо, дедусь.

— Горюшко-то, какое, уходить. — Дед повернулся к нам согбенной тяжелой трудом и годами спиной. — Несподручно это нам, русским, уходить, — с болью выговорил он.

Звено «лаптежников» с широкого круга стало заходить на станцию. Народ кинулся куда глаза глядят. Хорошо, что мы сразу протолкались через переезд и быстро укрылись на окраине. Тем не менее в полусотне метров от нас грохнула бомба. Дым и кислый запах взрывчатки защекотали ноздри. Свер-

ху градом посыпались комья. «Черт знает что! — подумал я. — Так можно и без головы остаться».

Отбомбившись, фашисты принялись с остервенелым воем носиться над хутором на бреющем полете, безнаказанно поливая его из пушек и пулеметов. Хоть один бы «ишачок»!

Ишь, беснуются, сволочи!.. — выругался шофер.

— А наши и носа не кажут... — зло проговорил другой красноармеец. — До войны в небе кренделя выкручивали, а как понадобилось — будто корова языком слизнула.

— Ты потише... насчет коровы, — оборвал Даниленко. — Не знаешь — помалкивай.

Я был благодарен шоферу за эти слова.

«Нелегко, наверное, сейчас нашим ребятам. Всюду не поспеешь».

Смерть скосила-таки старика. Впрочем, он от нее и не прятался, а немым укором стоял около груды развалин. Это было все, что осталось от хаты: под развалинами, заживо погребенные, лежали его старуха и невестка с трехлетней внучкой. Тут, около одинокой вишенки, настигла и деда вражеская пуля.

Говорят, плохое скоро забывается, исчезает из памяти. Но то, что я видел тогда своими глазами, забудется ли оно?

«Юнкерсы» скрылись, и деревня ожила. Из погребов, канав, садов выскакивали чумазые, перепачканные, перепуганные люди. Толкаясь, кидались к машинам, повозкам. Все лезли напролом, стремясь поскорее выбраться из хутора.

На скрипучем мосту через крутой овражек образовалась пробка.

— Эй, куда тебя черт несет?

— Какого дьявола возишься, проезжай с раненым!

— В сторону ее! В сторону, растяпа!

Треск, ругань, скрип. Впереди чья-то машина провалилась колесами через настил и преградила дорогу. Дружными усилиями ее спихнули в овраг. И опять пробка: теперь беда стряслась с пароконной повозкой. Ее отправили вслед за машиной. Крик, чей-то плач, предсмертный визг лошади, пронзительный, режущий, как нож. Живой поток людей и машин крушил, сметал все на своем пути.

Мы, наконец, вырвались из пробки. Из кузова я наблюдал за людским скопищем, как вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд. Светло-русская девушка спрыгнула с грузовика.

— Не узнаете?

В памяти встали воскресное утро, первое утро войны, две подводы на пыльном большаке и глаза девушки-кучера с кружкой янтарного кваса в руках.

— Катя!

— Я все время помнила, думала о вас. И знаете: верила, что встречу.

— Смотрите-ка! Никак, тут любовь? — слышалось с машины.

Я смутился, легонько отстранил Катю. Несказанная радость от этой встречи сменилась дурацким чувством неловкости оттого, что девушка чуть не плачет у меня на груди.

— Простите... — Катя заметила мое состояние и присела у носилок. — Я ведь теперь совершенно одна. А вы, вы... — в больших с поволокой глазах стояла скорбная синь, — как друг, как брат мне...

Дорога бежала через холмы, лощины, редкие рожицы, мимо незнакомых деревушек с поседевшими от пыли кленами и грустными ивами у заград. И везде, на каждом шагу — приметы войны! Вот сбившийся в кучку скот, возле него понурые женщины. Это уже — беженцы. Навьючив на себя последние по-

житки, плетутся с посохами старики, рядом с ними — только что ставшие на ноги дети. Между деревьев вьется дымок походного очага. А закроешь глаза — и кажется, все как раньше: пламенеют на грядках георгины, румянятся в садах яблоки, подсолнухи спорят с солнцем своей яркостью. И только тревожно смотрели вслед люди.

Три длинных душных дня тащились мы до Николаева. Боль в ноге все возрастала. Сквозь полузакрытые веки я постоянно видел рядом с собой красивый, мягко округленный подбородок, нежные губы, чистый лоб. Катя неотлучно была возле меня, чем могла, облегчала мои страдания. Когда мне становилось полегче, она рассказывала о себе...

Пришли фашисты. Под гусеницами танков хрустнули девичьи мечты и надежды. Девочки из десятого «Б» не успели даже собрать пожитки. Офицер щелкал стеклом, как наездник кнутом, и недовольно покрикивал: «Живей, живей, кобыли...» Позади осталось распятое, окровавленное село, а впереди ждала неволя. Спаслась Катя случайно, во время налета нашей авиации. Сама она уверяла, что видела и мой самолет, — именно однокрылый, а не тот, на котором я махал им крыльями в первый день войны. Кто знает?

В Николаев приехали под вечер. Густые тени деревьев покрыли узкие улочки. Военный госпиталь размещался где-то на окраине города, откуда хорошо было видно море, причальные краны.

Санитары положили меня на носилки и внесли в кирпичное белое здание.

Пока меня оформляли, перетаскивали с места на место, прибежала Катя и радостно сообщила: ее приняли в госпиталь. Пригодилась медицинская подготовка, приобретенная на курсах медсестер.

Насладиться долгожданной тишиной госпитальных палат мне не довелось. Ночью бомбили расположенные неподалеку верфи и порт, а под утро взволнованная Катя сообщила еще менее утешительную новость: на Николаев двинутся немецкие танки, весь госпиталь срочно эвакуируют.

Через несколько часов длинный, с огромными красными крестами состав мерно постукивал колесами на стыках. Наш вагон был занят в основном тяжелоранеными. Слышались стоны, больные беспрерывно просили пить; одним надо было сделать уколы от боли, другим что-то принести, третьих перевернуть. В редкие минуты отдыха Катя присаживалась рядом, сообщала, у кого какое ранение, заботливо справлялась о моем самочувствии. Боль каленным железом жгла ногу, но я бодрился.

Как-то во время обеда она вбежала в купе с белым, как извесь, лицом, уткнулась в мою руку и беспомощно, совсем по-детски, разрыдалась.

— Он умер.

Это была первая увиденная ею так близко смерть. Сострадание сдавило мне горло.

— Устала?

Катя отрицательно качнула головой. Потом тревожно провела рукой по моему лбу. Рука была холодная, как лед.

— У тебя жар. Я бегу за врачом.

Мне был понятен ее испуг. Молоденький лейтенант, которого она оплакивала, тоже был ранен в ногу, у него тоже был жар, и умер он от заражения крови.

Катя знала, что после ранения прошло уже семь дней и мне до сих пор не сделали ни одной перевязки. Рана гноилась, вся нога была воспалена.

Катина стремительность и расширенный взгляд

сказали мне многое. Однако мне не пришлось предаться нахлынувшим мыслям.

Мой сосед-артиллерист, не отводивший глаз от окна, недовольно проворчал:

— На фронте своего самолета неделями не увидишь, а тут нашли время — резвятся над нами, бездельники...

«Мессершмитты-110» я увидел в самый последний момент. Первый уже пикировал на эшелон, другой собирался это сделать, и я даже не успел объяснить соседу, что это за «свои» и как они будут «резвиться».

Взрыв или резкое торможение поезда швырнули меня на пол, точно мешок. В первый момент все стало нереальным; оглушающий грохот пушек, душевраздирающие вопли, развороченный в щепки потолок и придушившие меня сверху человеческие тела.

Не помню, как я выбрался из груды тел, выскочил в тамбур и прыгнул на землю, стараясь всю тяжесть тела перенести на здоровую ногу. Но разве устоишь на одной ноге, приземляясь с двухметровой высоты! Целый фейерверк искр, радужных и черно-белых кругов замелькал перед глазами.

Не помню, долго ли, напрягая все силы, я скакал на одной ноге. Кто-то обогнал меня, сзади с воем лопались бомбы, что-то метнулось под ноги, и... я провалился в звенящую пучину безмолвия.

Запахи прелого, прохладного чернозема и еще чего-то горького, удушливого разливались вокруг. Щека лежала на чем-то твердом, комковатом.

Я приоткрыл веки. Потoki света заливали землю. Нестерпимо ярко блеснул диск солнца. Надо мной поникла тяжелыми колосьями высоченная пшеница.

Почему я здесь? Попытался приподняться. Не получилось. И сесть тоже не удалось. В раскаленном не-

бе замысловато, восьмерками кружил коршун. «Стервятники», — обожгло сознание.

Я повернул голову: последние носилки с ранеными скрылись в вагоне.

— Э-эй!

Меня не слышали.

— Э-эй! Э-э-эй!

Странно. Я и сам не слышал своего голоса.

«У-у-у», — коротко разорвал безмолвие паровоз, и тут же послышался лязг буферов. Скрылся последний вагон...

Стояла иссушающая жара. Горло пересохло. Губы склеились. Я так ослаб, что не мог приподнять голову, даже двинуть рукой.

Вчера я мечтал о тишине госпитальных палат, об отдыхе. Сегодня в этом не было смысла, потому что я не чувствовал никакой усталости. Никакого отчаяния, огорчений — не было ничего, кроме беспредельной сухости горла и сердца. Я не страдал... Родники и небо больше не волновали меня.

Коршун скользил все ниже, ниже... Плохой признак, от кого-то я слышал, что стервятники набрасываются только на трупы. Против всякого ожидания, мной овладело спокойствие. Все на свете имеет конец. В этом — закон жизни. Я почувствовал это сейчас особенно четко.

А ведь когда меня найдут, подумают, вероятно: вот мучился человек долго, страдал...

С того момента, как я открыл эту истину, часы перестали отстукивать время. Но что это?

Мираж? Сон? По волнистому полю, как некое чудо, плывет девушка в белом. Нет-нет, глаза не обманывают: за первой проплывает вторая, третья... Боже правый, уж не меня ли ищут!

«Я здесь! Обернитесь!» — хочу крикнуть я, но горло не разжимается. Они удаляются.

Потом в памяти пробел. Но я помню еще одно, последнее ощущение: вздрагивает от бомб воздух, взახлеб, словно зенитки, тьякают шакалы и безжалостно рвут колючими зубами бинты, ногу... Ясно вижу голодные огоньки звериных глаз. В их холодном свете мне чудится бледное, трогательное лицо Кати. По щекам ее бегут крупные слезы. Она настойчиво уговаривает кого-то. Потом убегает. Я долго жду ее возвращения. Ее нет. И вдруг чувствую, как к моим щекам припадают неумелым детским поцелуем.

* * *

...— Катя, — тихо позвал я и выжидающе осмотрелся.

Обширная палата со сводчатым потолком тонула в полумраке. Электрическое освещение заменяли свечки вдоль стен, тусклые огоньки вырывали из мрака ряды кроватей.

Сосед, судя по тельняшке, моряк, заросший, с забинтованной головой, повернулся ко мне и чуть приметно улыбнулся. У его изголовья стояли костыли. Я заметил, что под его простыней вырисовывается очертание только одной ноги, и содрогнулся.

— У вас все будет хорошо, — откинувшись на подушку, успокоенно произнес сосед и тяжело вздохнул. — Очень хорошо. Когда она сидела здесь, я вам завидовал. И завидую. Теперь мне это позволено.

Он раздраженно ударил рукой по простыне, где должна была находиться нога, и грубо выругался. Потом закрыл глаза и отвернулся.

Слабость давала себя знать: плотно смежив ве-

ки — так было легче ждать возвращения Кати, — я начал думать о лежащем рядом человеке. И хотя чужое горе, казалось, в эту минуту должно быть далеко от меня, щемящая жалость вдруг переполнила душу. Но чем утешить его?

— На тумбочке вам письмо оставлено, — не поворачивая головы, угрюмо проговорил моряк.

«Какое письмо? От кого?» Я поспешно надорвал конверт, развернул вчетверо сложенный листок. Прочитал, по несколько раз возвращаясь к отдельным строчкам. Катя писала, как, не обнаружив меня в эшелоне среди живых и раненых, затормозила поезд, настояла повернуть назад на поиски.

«...Я увидела, как вы лежите, голова закинута, мне стало страшно, думала, что вы умерли, — писала она. — Я стала кричать. Вы открыли глаза и снова закрыли. Я заплакала. Приехали в Запорожье, упростила отвезти вас в госпиталь, там сделали перевязку. Хотела сама здесь остаться, умоляла, но... До встречи. Верю, надеюсь... Чуть не забыла: когда будете писать на полевую почту — фамилия моя Торопова Е.И.»

— Давно она уехала?

— Как стемнело. Далеко теперь... — моряк тепло улыбнулся. — Замечательная она у тебя.

Утром нас неожиданно стали грузить в эшелон. Говорили, будто к Запорожью прорвались немцы. Куда повезут, никто не знал. Мне это было безразлично. Я думал о той, которой обязан жизнью.

Семнадцатилетняя девчушка! Отказаться от всего, добровольно облачиться в солдатскую гимнастерку — как это трудно и сурово!

«И вот наши дорожки разбежались. Сойдутся ли они опять?» — мучительно размышлял я под монотонный, утомительный стук колес.

На третий день пути разнеслась весть: нас везут в Москву.

Москва! К ней было приковано внимание всей планеты. К ней тянулась негаснущая солдатская надежда.

Въехали в столицу в погожую августовскую ночь, под вой сирен и грохот зенитных пушек. Разместились под старинными сводами лефортовского госпиталя.

Наконец-то долгожданный покой. В теплые дни мы учитывались газетами под сенью старых кленов, не пропускали ни одного концерта, ни одного кинофильма.

По вечерам слушали радио и привычно ждали сигнала воздушной тревоги. Редкую ночь нас не спускали в подвалы бомбоубежища. Недели через полторы эта процедура мне надоела, я приспособился оставаться в палате. Нужно было только сползти под кровать — сестра обшаривала их в темноте во время тревоги, и потом почти целую ночь блаженствуй на мягкой постели. Но как-то, в самый разгар тревоги, когда я мирно похрапывал под свежей простыней, сестра меня разоблачила. Пришлось ковылять вниз.

На затемненной лестнице костыль соскользнул, и я пересчитал все ступени. Из убежища попал сразу в операционную.

Сентябрь. Одна тревожнее другой приходили вести с фронтов. Фашистские войска заняли почти всю Украину, Смоленск, блокировали Ленинград, нацелились на Москву. Нас эвакуировали в Казань. Дом был совсем рядом: от Казани до Свердловска рукой подать. Но как туда попасть?

...Платформа выгрузки раненых на Казанском вокзале оцеплена охраной. Проскользнуть, кажется,

невозможно. Но недаром говорят: доброе сердце всегда найдется. И вот я рядом с водителем в кабине грузовика. На моих плечах — его куртка, на голове — замусоленная фуражка. Часовой у ворот поглощен завтраком, на меня и не смотрит:

— Проваливай.

— Благодарствуем! — кричит в ответ смуглолицый шофер, и машина срывается с места.

...Через пару суток шофер и его жена усадили меня в вагон скорого поезда Москва—Хабаровск.

...Ночь. Перрон и огромное здание Свердловского вокзала залиты светом. В огнях привокзальная площадь, улицы. Костыли гулко отстукивают по мостовой. В голове роятся невеселые мысли. Найду ли своих? Как меня примут в госпитале — без истории болезни; с единственным документом — комсомольским билетом? Что ожидает меня?

Неожиданно рядом тормозит машина. Раздается приятное сердцу оканье:

— Садись, братишка, подброшу.

Я с радостью забираюсь в просторную кабину «ЗиС-101».

— Куда подбросить-то?

— Даже и не знаю, — я чистосердечно рассказываю свою историю.

— Оно, брат, дело-то какое, — земляк хмуро чешет затылок, — ежели по службе, то... — шофер мнет. Я отрываю взгляд от знакомых улиц, жду, что он скажет. — ...А ежели по-человечному, то хоть денек, но побывать дома надо...

...Машина сворачивает в проулок и за главпочтамтом останавливается.

— Посиди-ка немного, с начальством переговорю.

Я с надеждой смотрю вслед шоферу, небольшо-

му, худощавому и подвижному человеку, так неожиданно и вовремя принявшему во мне участие.

...Нередко можно услышать: «По природе своей суров уральский человек». Но суровость эта только внешняя. Стоит с ним соприкоснуться поближе — и сразу чувствуешь, каким богатством наделена его душа. Радостью не разбрасывается, в суровые будни не гнется, в нужде и беде черствым, ледяным не останется.

Иван Иванович — так он назвал себя — вернулся довольный, протянул мне газетный сверток:

— Возьми-ка вот, перекусишь, пока заправлюсь. Потом подадимся.

Уже совсем рассвело. Ласковое солнце позолотило Уктусские горы, когда мы обогнули торфяник и покатали по ухоженному Арамилскому тракту.

За Арамилем желтеющие поля начали перемежаться с березовыми рощами, под лучами солнца деревья, казалось, сами светились огнем. По глинистой, твердой, как камень, дороге «ЗиС» тяжело забрался в гору, покрытую сосняком, и тут...

Я попросил шофера остановиться.

Бобровка лежала в лучах утреннего солнца сизовато-расплывчатая, притихшая. Сколько раз за эти месяцы я рвался сердцем домой! Еще несколько сот метров, и за оврагом улица расступилась. С жадностью всматривался я в пробегавшие мимо избы. Они как будто те же, что я знал, и в то же время другие. Добротный, с палисадником дом токаря мельзавода Александра Чернавского; рядом похилившаяся избушка Сереги Вакурина, дружка Сашки Шмелева, тоже летчика. А далее возвышалась обшарпанная громадина-церковь без купола. Где-то поблизости жил Петька Карамышев — песенник и вожак деревенской комсомолки.

Небольшой поворот, скрипнул под колесами мостик, и на лужайке возле ручейка радостным отблеском двух подслеповатых перекошенных окошек улыбнулась мне родная до слез кособокая халупка.

— Вот и приехали, — улыбнулся Иван Иванович и помог мне выбраться из кабины.

Я оперся на костыли. Ворот гимнастерки внезапно стал тесным.

На беззлбное ворчание собаки сатиновая занавеска в окне шевельнулась. Бабушка долго всматривалась подслеповатыми глазами в незнамо откуда свалившуюся легковушку, она даже раскрыла скрипучую створку окна, потом увидела нас и часто-часто заморгала.

— Бабушка!.. — с трудом ухватил я воздух.

— Ой, господи, и че я, старая дура, уставилась! — закрестилась она и исчезла. Во дворе слышались причитания, звякнула щеколда. Маленькая, сухая, чуть сутулая, она выскочила на улицу, прижала руки к груди.

— Ой, люди добрые, да че же это?.. — Мгновение она озиралась по сторонам, словно ища поддержки. — Грибушко! Дитятко наш дорогой, жив!..

— Успокойся, бабушка, успокойся, дорогая, — смущенно упрашивал я, заметив сбежавшихся соседок. — А где же...

— Ой, боже ты мой, святая заступница, и че я нюни-то распустила, — она засеменила обратно, на бегу вытирая фартуком щеки. — Валерушка, глянь-ко, папа-то твой...

— Ну вот и нашлись твои! — радуясь не меньше меня, прослезился шофер, глядя на робко приближавшегося к нам сынишку...

Я взволнованно всматривался в подходивших со

всех сторон женщин, рассеянно отвечал на вопросы, ждал, когда покажется...

— Фиса с утра по ягоды уехала, — опередила меня бойкая соседка, которую все звали Маша Горочница. — Мальчонке своему я уж о тебе наказала: он к мужикам на покос едет и передаст ей. А вон и Андрей с Татьяной бегут...

Отец шел размашистым, широким шагом. В спешке он надел пиджак прямо на седую от муки рубашку, а мать как была в рабочей спецовке, так и бежала от самой пекарни с мокрыми от слез щеками.

— Мама!

— Голубочек ты мой...

Отец с беспокойной тревогой всматривался в меня слезящимися глазами, зачем-то разгладил пальцами давно не стриженные усы и только после этого, чуть заикаясь, произнес:

— 3-3-здравствуй, сынок...

— Ох, и что ж это я стою! — спохватилась мама. — Небось оголодал с дороги...

Солнце уже давно перевалило за полдень, и тень от тополя широкими ветвями перекинулась через ручеек, когда поулеглись первые волнения от встречи с родными. Сердечно проводили шофера Ивана Ивановича. Говор под окном не умолкал. Приходили с полей, с дальних улиц — взглянуть на раненого летчика. Забегали и те, кого мобилизация еще не коснулась. Мать снова и снова подсаживалась ко мне. Чувствовалось, что ей хотелось голубить свое «дитяtko», беспрестанно дотрагиваться до его рук, до большой ноженки, высказать все слова, запекшиеся на сердце.

У приходивших женщин на устах было одно: «Моего не встречал ли?» Степенных мужиков интересовало: «Как там, на фронте, тяжело?»

Так повторялось и на второй день моего пребывания, и на третий, и на пятый день... И это было самое тяжелое. Я и сам мучительно искал ответа на рожившиеся в голове вопросы. Лгать я не мог. Самолетов и танков у нас мало, на фронтах опять большая неустойка, особенно на юге.

В одном только у меня не было сомнений: до Москвы немцев не допустим.

Незаметно промелькнули две недели. Нога побаливала; надо было подумать о лечении. Как мы и договорились с Иваном Ивановичем, я вызвал его из Свердловска телеграммой.

В последнее сентябрьское воскресенье мы, по обычаю, присели перед дорогой: я с Валериком на руках на табурете, на скамейках пригорюнились родные.

В последний момент забежал Тихон Мурашев, единственный, пожалуй, из моих дружков, оставшийся на брони. С лицом, выражавшим сложную гамму чувств — смятение, тревогу, возбуждение, — он показал мне повестку о призыве.

— Что ж, Тиша, на фронте, может, встретитесь? — прервал молчание отец. — Сейчас уже судить-рядить некогда. Гитлера бить надо. Немец — он не дурак: орудиями да самолетами идет. А ежели еще мы нюни распустим... Не-е!

— Господи, и откуда этот супостат Гитлер на нашу голову, чтоб его сатана, проклятого, в зародыше придушила! — Мама поднялась, вытерла кончиком косынки слезы. — Давайте трогаться.

Машина катилась по желтой от листьев дороге. Поля осиротели, в воздухе серебрилась паутина. Город посерел, посуровел.

Клиническое отделение, куда меня положили, так и звали: «отделение Лепешинского» — по имени

главного врача, грузного, сердитого старика. Хирургические больные — в основном местные, потому что с фронтовыми ранениями, кроме меня, пока никого не было, — рассказывали о нем чудеса.

Более шестидесяти тысяч операций сделал этот замечательный хирург! Многие из них были им выполнены впервые в мировой практике. В мастерстве Лепешинского можно было тут же наглядно убедиться. Длинный госпитальный коридор был весь заставлен витринами, где красовались стеклянные банки с заспиртованными кистами желудка, всевозможными опухолями. На полочках лежала целая коллекция ложек, монет, гвоздей, извлеченных из человеческих внутренностей. Говорили, будто он одним из первых врачей был удостоен звания лауреата, и все полученные деньги истратил на оборудование клиники.

Меня главврач осмотрел сразу же.

— Болит?

Я заметил, что у него на руке нет одного пальца.

— Болит, доктор.

— В перевязочную.

С хирургическим опытом Лепешинского я познакомился через несколько минут.

Бинты, пропитанные кровью, затвердели, как гипс. С каждым мотком отдирать их от ноги становилось все труднее. Последний слой не могла размочить даже марганцевая ванночка. Сестра упарилась, я корчился от боли.

— Что это вы тут раскряхтелись?

Доктор поднялся с кресла, подошел к нам.

— А ну, посторонись, дочка, я взгляну.

Он деловито натянул на нос очки, ощупал онемевшую, потрескавшуюся на ступне кожу. Не успел

я сказать, чтобы он поосторожнее, как тотчас же дико взвыл от боли.

— Вот так, — Лепешинский бросил бинт в тазик. — В марганцовку, в марганцовку опусти ногу. Видишь, сколько гною хлещет.

— Чтоб тебя, старого... а-а! — возопил я.

— Ничего, через две-три минуты засмеешься, прощения просить будешь.

И действительно, тут же, с величайшим стыдом я был вынужден это сделать.

С тех пор мы стали друзьями, но до бинтов я его больше не допускал.

Лечение мое затянулось. Более двадцати осколков было уже извлечено из стопы после двух операций, а она все гноилась.

Холодные осенние облака разразились, наконец, снегом. Ровным белым слоем покрылись подоконники, причудливыми мохнатыми шапками разукрасились ели за окном.

В тревожные ноябрьские праздники меня навестили родные. Мать пришла вся в слезах: отца призывали в армию. Горе излучали и глаза Фисы. Совсем недавно получили похоронную на ее младшего брата Ивана, а теперь призывался последний, старший — Григорий.

Именно в эти дни к нам поступили первые раненые из-под Москвы.

Как-то утром рядом со мной положили майорачекиста, раненного под Таганрогом. Я, конечно, сразу поинтересовался своим полком. Майор не мог сказать ничего, но и то, что он сообщил, повергло меня в уныние: еще во время летнего отступления ему попала в руки бумага, в которой говорилось, что штаб 55-го — да, он помнил, там была именно эта цифра — авиационного полка вместе с доку-

ментами попал в руки фашистов. Худшего я не мог себе представить.

Настроение портило волокита с аттестатами, которые остались с эшелонном в Казани. Пришлось писать не одно объяснение. Приезжал даже какой-то чин из военкомата: он хотел воочию убедиться в достоверности врачебных заключений о моем ранении. Если бы не авторитет доктора Лепешинского, сидеть мне без зимнего обмундирования и аттестатов.

В тот день, когда радио передало сообщение о том, что наши войска освободили Ростов-на-Дону, мне сделали еще одну операцию: вытащили из ноги три куска подошвы от сапога.

— Теперь молодцом, — доктор похлопал меня по спине. — Дела пойдут на поправку.

Наступило шестое декабря.

Разгром немцев под Москвой стал самым целебным бальзамом для каждого советского человека. И раны, казалось, рубцевались быстрее. Доктор Лепешинский был прав: вскоре я перебрался с кресла-коляски на костыли, начал даже слегка опираться на больную ногу.

Раненые часами простаивали у школьной карты на стене: подсчитывали отвоеванные у врага километры, перекалывали флажки, отмечая освобожденные города.

Развернувшееся в конце года контрнаступление под Тихвином, на юге и под Москвой переросло в январе 1942 года в общее наступление Красной Армии на обширном пространстве от Ладожского озера до Черного моря.

Опасаясь, что война завершится без моего участия, я стал ежедневно надоедать главврачу.

— Немедленно, во что бы то ни стало я должен идти на фронт. Выписывайте! — умолял я его.

— Успеется, — спокойно, как всегда, отвечал Лепешинский. — Еще повоюешь. Она ведь, война, длинная будет. И чем дальше, тем больше будут цениться люди.

— Не выпишете — убегу, — грозил я.

— Без аттестатов? — ухмылялся доктор. — Да и обмундирование твое у меня под замком.

Прошла еще одна долгая неделя. Я нервничал, клял судьбу, докторов, которые, по моему глубокому убеждению, медленно лечили. Наконец врачебная комиссия вынесла заключение: признать ограниченно годным к летной службе в тылу на легких самолетах. А так как нога еще побаливала, мне предоставили месячный отпуск.

Два часа холодного тряского пути в автобусе были мучением. Зато как легко дышалось на чистом морозном воздухе! Опираясь на палку-костыль, я бодро шагал вдоль забора. Фиса заботливо поддерживала меня под локоть.

Добраться до своей избы не хватило сил. Заночевали у Фисиной сестры.

Утром, когда все расселись за стол с весело шипевшим самоваром, в кухню быстро вошел капитан. Он был худощав, выше среднего роста, с энергичным, волевым лицом. О том, что в этом доме снимает квартиру летчик-испытатель, я знал. Но его самого видел сейчас впервые. Я поднялся ему навстречу.

— Бахчиванджи, — представился летчик и попросил налить ему чаю.

Мы разговорились.

В ответ на мои расспросы об авиационных новинках капитан загадочно улыбнулся.

— Есть кое-что такое... — он приложил пальцы к губам, причмокнул, — чего пока нет ни у кого.

— Да ну!

— Сам испытываю. Замечательный аппарат. А скорость... — Бахчиванджи взглянул на часы и, не договорив, быстро поднялся из-за стола. — Извини, друг, тороплюсь на аэродром. Потом как-нибудь потолкуем.

Так состоялось мое знакомство с первым в мире летчиком, испытавшим в 1942 году реактивный истребитель конструкции Болховитинова. Эта первая короткая встреча оказалась и последней. Потолковать мне больше с ним не довелось.

Вскоре Григорий Бахчиванджи погиб.

Неделю спустя с предписанием на руках я был в далеком и холодном городе.

Я приехал ночью и прямо с вокзала отправился в часть. Снег скрипел под ногами. Вымороженное февральское небо усеяли звезды. От трамвайной остановки до военного городка каких-нибудь десять минут ходьбы, но я мгновенно заоченел. Девушка-часовой в ладно сидящей гимнастерке с голубыми петлицами проверила мое командировочное предписание, вызвала дежурного по части.

— Значит, вы летчик? — Она прижалась спиной к теплой печурке и неодобрительно оглядела меня. Я чувствовал, что мой облик — солдатская шинель, кирзовые сапоги, берцовая тросточка в руке — вызывает у нее явное неудовольствие.

Девушка принялась сердито накручивать телефон:

— Алло, алло! Скоро меня Галка сменит?

Дверь распахнулись. Вместе с клубами морозного воздуха в комнату влетела зарумянившаяся девушка. Длинные ресницы в куржаке. На рукаве добротного полушубка повязка: «Дежурный по части».

— Это вы к нам назначены, — спросила дежурная и отрекомендовалась: — Командир ночного бомбардировщика Манырина.

— Командир бомбардировщика? Простите, если не секрет, какого такого — ночного?

— «У-2».

— Эх... Знаете, ошибочка вышла. Мне бы другого дежурного. Истребитель я.

— У нас другого дежурного по части нет, — спокойно ответила сероглазая командирша.

— Да, наш полк из девушек. И мы скоро улетаем на фронт.

— А мне что прикажете делать?

— Других обучать будете, готовить для фронта.

— Ну, знаете ли! Чтоб я тут с бабами возился!

Я нахлобучил ушанку, возмущенно схватил чемодан и уже с порога крикнул:

— Прощайте, девушки. До скорой встречи на фронте!

Через два дня я снова сидел в отделе кадров ВВС Уральского военного округа. Сухощавый капитан глядел исподлобья.

— Ты знаешь, что полагается за такое самовольство? Строго накажем. И стоимость проездного билета удержим.

— Но поймите, — увещевал я его, — на фронте каждый человек дорог, а вы летчика-истребителя — инструктором на «У-2».

— Куда же прикажешь тебя направить с таким заключением?

— В истребители!

Капитан набрал номер и, сняв трубку, доложил кому-то о моем проступке.

— Пойдемте.

С недобрим предчувствием вошел я в просторный кабинет. За массивным столом сидел строгий, широкоплечий подполковник.

— Почему сбежал?

В оправдание я вновь повторил свои веские, как мне казалось, доводы. Полковник легко опрокинул их логикой военных законов и дисциплины. Тучи надо мной сгущались.

Помогла случайность: в кабинет вошел Коробко, командир нашей школьной эскадрильи, энергичный, подвижной человек.

— Речкалов?

— Я, товарищ подполковник.

— Чего здесь? — Он взял со стола мое «тощее» дело, заглянул в него, улыбнулся.

— Значит, из госпиталя?

— В истребители рвется, — сообщил полковник. — А сам-дезертировал.

— Фашистов сбивал? — Коробко подошел ко мне.

— Три штуки завалил, — с готовностью ответил я и тут же радостно добавил: — Десятка три штурмовок имею.

— Ишь ты, — суровое лицо полковника слегка разгладилось. — А может, пошлем его к штурмовикам?

— Зачем же переквалифицировать? Пусть летает на истребителях, — посоветовал Коробко.

Поезд едва сдвинулся с места, точно примерз к рельсам. Проплыла мимо заснеженная улица Ленина — центральный проспект города; промелькнули засугробленные жилые бараки и наскоро воздвигнутые цеха эвакуированных заводов. Город скрылся из виду и теперь лишь только угадывался за морозной дымкой.

Чем ближе к западу, тем дольше мы останавливались на станциях. Все чаще попадались навстречу

воинские составы. На путях солдаты разминали затекшие ноги, у эшелонов с ранеными обменивались махоркой, расспрашивали о фронтовых новостях. Раненые уверенно предсказывали:

— Скоро Гитлеру капут.

Сейчас этим жил каждый.

Командир запасного полка, спокойный, душевный полковник, принял меня доброжелательно. Он коротко рассказал о задачах полка и сразу же предложил пойти во вторую эскадрилью командиром звена.

Я с радостью согласился. Еще бы! Как мне удалось понять, летчики полка скоро закончат переучивание на «Яках-1» и их отправят на фронт.

Полеты, занятия, снова полеты... Время летело незаметно. Дело было за самолетами.

И они прибыли, новенькие, пахнущие лаком, полыхающие на солнце свежей краской.

Ну, держись теперь, фрицы! Дадим жару.

— Дадим, да не все, — странно улыбаясь, сказал командир эскадрильи и почему-то спросил меня: — Инструкторскую подготовку закончил?

— Почти. В следующий летный день можно планировать зачетный полет.

— Ну, что ж. Скоро наступят напряженные дни. Пора и тебе в инструкторскую работу включаться.

Я был рад такому доверию комэска, но смысл его слов дошел до меня позднее.

Промелькнула еще неделя. В ясный морозный день, взметая за собой снежные буруны, звено за звеном взвились в воздух сверкающие истребители и, собравшись над аэродромом в четкие эскадрильи, легли на боевой курс. Но управляли этими самолетами не мы, летчики запасного полка, в штат которого я, по неведению, пошел с такой радостью.

Те самые летчики, которых мы вчера готовили к полетам на истребителях, улетали сегодня на фронт, а мы, столпившись на аэродроме, с грустью наблюдали, как наши подопечные один за другим скрываются на западе.

Нелегко было оставаться в запасном полку и завтра начинать все сначала: переучивать новые полки, прибывшие с фронта для переформирования. Многие подавали рапорты с просьбой отправить их в действующую армию. Ответ был один: «Отказать».

Я тоже подал рапорт. Командир эскадрильи сунул его в планшет, подвел меня к незнакомым летчикам и представил:

— Вот, товарищи фронтовики, ваш инструктор, младший лейтенант Речкалов. Прошу любить и жаловать, — он обернулся ко мне и потребовал набросать примерный план переучивания.

Усталый и разбитый, я ощущал потребность заглушить чем-нибудь давившее меня тоскливое чувство. Был холодный, зимний вечер. Подняв воротник шинели, я брел мимо придавленных снегом домишек и никогда, казалось, не был так несчастлив, как теперь. В голове лихорадочно роились мысли: что придумать, как вырваться из запасного полка, избавиться от свалившегося на меня инструкторства?

Внезапно я почувствовал резкую боль в ноге и непроизвольно осел на снег. Встать уже не смог. Помог мне прохожий. Он поднял меня, остановил какие-то розвальни, усадил.

— Тебе далеко? — солидно спросил меня мальчуган в истрепанной солдатской ушанке. — А то спешу.

Узнав, что на аэродром, он вскочил в сани, накрыл меня овчиной, басовито гикнул, и худая, лох-

матая лошадь неторопливо затрусилась в обратную сторону.

— Заболел али поскользнулся?

— Не знаю, кажется, рана...

— Вот горе-то! — искренне опечалился мальчуган. Превозмогая боль, я стал расспрашивать его о житье-бытье.

— С маманей живу, у тетки, у сестры ее, около махорочной фабрики, — пояснил мальчуган и сдвинул жиденькие, с изломом, брови, — она упаковщицей там робит. Папаню во сне вчера видел. На войне он, — тихо продолжал возница; возле рта его, как у взрослого, четко обозначились складки. — Шел вроде папаня низинкой, мимо ржи, около леска, а я догонял. Да так и не догнал...

— Мой отец тоже где-то воюет, — желая подбодрить его, проговорил я. — Война, брат.

— То-то и оно — война! — Паренек, привыкший, должно быть, к подобным разговорам, сердито подстегнул лошадь. — И старому, и малому, и животине от нее достается.

— Да, трудное время, браток. Ничего, победим — полегчает.

На крутой выбоине розвальни ухнули; я, придерживая ногу, крикнул. Ленька — так звали моего возницу, едва удержался на облучке, сочувственно взглянул в мою сторону.

— Шибко больно?

— Теперь потерплю. Видишь кирпичный домик? Давай к нему.

У санчасти Леня быстро привязал лошадь к столбу, помог мне выбраться из розвальней. Опираясь на его плечо, я с трудом поднялся на крыльцо.

Прибежала из лазарета сестра, послала за доктором. В санчасти было тепло, пахло лекарством и вкус-

ной едой. Мальчик жмурился от света, раздувал ноздри, принюхивался к запахам жареного лука и мяса.

— Есть хочешь, Лень?

Карие глаза с золотыми ободочками голодно блеснули.

— Да... я... нет, не хочу... недавно ел.

— Неправду говоришь.

Я подмигнул сестре. Она понимающе кивнула, вышла на кухню.

— А вот и нет, — Ленька покраснел, мотнул беледой, нестриженной головой.

— Чудной ты парень: так вот, не покрасневши, думаешь соврать.

Мальчуган зарделся еще больше, уши его стали пунцовыми.

— А разве видно? — не поворачивая головы, тихо спросил он.

Вся его худенькая фигура: большая голова на тощей шее, старое пальтишко с длинными рукавами, завязанное в талии веревкой, даже походка вразвалку напомнили мне братишку, такого же не по годам повзрослевшего, слабенького с виду, но упрямого в деле.

Пришел доктор, осмотрел рану и безапелляционно заявил:

— Придется лечь в госпиталь.

— В госпиталь?!

— Да, недельки на две. И немедля: вон они, осколки, в трех местах высунулись. На чем приехали?

— С ним, — я указал на кухню, где Ленька, то и дело, поглядывая на нас, уже принимался за компот.

— Допивай, хлопец, и придется тебе ехать с нами в госпиталь, — обратился к нему врач. — Дело срочное, а машины у нас нет.

Ленька встал из-за стола, вытер рукавом губы, поклонился сестре:

— Спасибочко за угошенье.

Он расправил под веревкой пальто, как бы проверяя, плотно ли поел, и признался:

— Как война началась, впервые досыта наелся. А до госпиталя я мигом долечу. Только вы мне бумажку справьте, что по военным нуждам занят был.

Мороз на улице крепчал. Матовая, намерзшая колея залохматилась, как бока заезженной лошади, и на ней четко вырисовывались следы полозьев от наших саней. Ленька постегивал хлыстом по рябоватому снегу, расспрашивал:

— А на войне здорово страшно?

— Бывает, особенно под бомбами. Но знаешь, хуже всего, когда товарищи гибнут.

— А в небе драться, поди, еще страшнее?

— Как тебе сказать... Умирать-то, брат, нигде не хочется: ни на земле, ни в море, ни под облаками. Летчику в небе привычнее — ни бомб не слышно, ни пушек.

— А вас пушкой садануло или «Юнкерсом»? — осмелел парнишка.

— Пушкой. Есть у них такая зверюга, «эрликонном» ее зовут.

— А правда, что немцы все зверюги?

— За всех не знаю, но кто из них фашисты, те хуже зверье.

Лошаденка с трудом перетащила неуклюжие сани через оголенный дощатый переезд, засеменила по тихой улочке. Темные глазницы окон настороженно смотрели из-под нависших снежных бровей.

— Подъезжаем. Видите? — Ленька указал кнутом на приземистое длинное здание. — За ним — площадь и госпиталь.

— Спасибо, дружище. Быстро домчал.

— На фронте будете еще? — спросил Ленька, прощаясь со мной. — Может, увидите моего папашу, Ивана Слободчикова? Кланяйтесь ему от мамы и меня...

* * *

И вновь моя жизнь замкнулась в госпитальной палате.

Утром, едва держась на ногах, как после лихорадки, я взглянул в зеркало и не узнал своего лица: оно подернулось мертвенной бледностью, черты обострились.

В полдень мне сделали рентгеновский снимок и тут же направили в операционную. Техник-рентгенолог осторожно вывела меня в коридор, робко спросила:

— Не узнаете?

Молнией ударила радость.

— Таня! Откуда?

— Я же тут родилась.

Мы с улыбкой вспомнили о нашем знакомстве: колхоз, самолет, тетка Мотря... «Тетушка», как я ее тогда называл, неузнаваемо изменилась. Загар на живом подвижном лице пропал; темные волосы, выбившиеся из-под косынки, нежно оттеняли шею; и вся она была легкая и очень юная.

Перед операционной мы задержались. Таня почувствовала мое волнение и ласково прикоснулась к руке:

— Не бойтесь. Хирург у нас чудесный.

Подошла дородная, с добрым материнским ли-

цом женщина в военной форме с петлицами майора медицинской службы.

— Пойдем, сынок...

...Через час военврач протянула мне завернутые в бумажку осколки:

— Вот, на память возьми. К сожалению, не последние. В тканях еще мелочи много.

— Опять будете резать?

Розалия Кайтоновна — так звали хирурга — подомашнему сложила на коленях руки:

— Не знаю, сынок. Как пойдет заживление.

Через три дня мне сделали перевязку. Под вечер в палату заглянула Розалия Кайтоновна. Она подошла к моей кровати, устало опустила на стул.

— Завтра разрешу на костыли встать, — пообещала она, щупая пульс. — Через недельку-полторы выпишу. Затем еще недельки две отдыха — и в строй. Упорхнешь на своих крылышках...

— У вас ласковые руки, Розалия Кайтоновна.

— Спасибо, сынок. — И заторопилась. — В коридоре еще посетитель ждет.

Таня на секунду задержалась в дверях, быстрым взглядом окинула палату и подошла к моей кровати.

Последние дни она частенько засиживалась у нас допоздна. Мы незаметно перешли на «ты».

— А для тебя сюрприз! — Танино лицо светилось радостью. — Взгляни!

На серой обложке книги четко выделялось название: «Любовь к жизни». Я даже ахнул от неожиданности.

— Откуда?! Уж не клад ли у тебя припрятан?

— Огромнейший! — Таня лукаво огляделась, скользнула ладонью по моим волосам. — Но не у меня, а у

Гали. Завтра спустимся в библиотеку, и я тебя представлю.

О Гале я был наслышан. Знал, что она выехала из Западной Украины, с первого дня войны не получала вестей от мужа, что она замечательная пианистка, прекрасная мать, чудесный товарищ.

Такой и была Галина Станиславовна. Не грациозностью фигуры, не свежестью кожи пленяла эта женщина. Но, увидев однажды большие, светло-карие, как глубокий чистый родник, Галины глаза, трудно было забыть их.

Мы говорили с ней о войне, о страданиях людей. Я, как мог, старался успокоить эту исстрадавшуюся женщину, отвлечь от мрачных предчувствий.

Незаметно подкатил выюжный, солнечный март. Нога быстро заживала. Я неотступно думал о фронте.

Скоро наступил день выписки из госпиталя, и я сразу же направился в штаб полка.

Был поздний час, когда я вышел из штаба, захлебываясь от бурлившей во мне радости. Снег, прихваченный к вечеру морозцем, весело похрустывал под ногами.

Таня ждала за углом, закутанная поверх пальто шалью.

— Ой, как ты долго!.. Вся замерзлась. — Она зябко передернула плечами. — Галя приглашала на чай. Зайдем?

Я согласился. Мы пересекли улицу, пошли вдоль небольшого парка; когда-то здесь было кладбище. Таня шла задумчивая, грустная, погруженная в свои мысли. Затем вдруг встрепенулась и стала, как мне показалось, излишне подробно рассказывать про улицы, по которым мы шли, про магазины и даже афиши. Я делал вид, что слушаю ее, хотя на самом деле

улавливал не все, всецело поглощенный ощущением вечернего воздуха и тем, что вот снова могу сам передвигаться, идти куда хочется, по этому старенькому, купеческого стиля, городишку.

Свернули на тихую заснеженную улицу. Таня остановилась, взволнованно посмотрела на белые хвосты дыма из труб, на подслеповатые окна:

— Взгляни, а ведь жизнь здесь не умерла. Есть тепло, уют... Ты даже не представляешь, как хорошо, что все это есть!

Немного растерянная, она вплотную подступила ко мне, жарко дыша по-детски припухшим ртом.

— Останься, не уезжай...

И сразу тесно стало на улице. Внутри поднялась неодолимая буря. Я растерянно смотрел на пылающие щеки.

Нет, нет, я не должен поддаться нахлынувшему порыву, поселить в ней надежду.

Таня будто прочла мои мысли.

— Хорошо, я неумная, пустая девчонка, — но прошу тебя об одном, ты только пойми... Тебе нужно долечиться, отдохнуть. Поезжай лучше в Свердловск, только не туда...

Я не мог не удивиться ее пронизательности.

— Какая сорока тебе натрещала?

— Я же все вижу, костыляр курносый.

— Ах, так! Ну, держись! — отбросив костыль в сторону, я схватил ее в охапку и опрокинул в снег: густые сумерки, к удивлению редких прохожих, огласились звонким смехом и визгом.

Галина Станиславовна, видно, забыла о своем приглашении. Во всяком случае, выскочив на наш стук, она пришла в полное смятение.

— Не рада гостям? — щурясь от света, рассмеялась Таня.

— Что ты! — спохватилась хозяйка и, запахивая халатик, потащила нас раздеваться. — Очень хорошо, что зашли. Отогревайтесь. Я самовар долью.

В небольшой комнатке было тепло и уютно. Из-за ширмы, путаясь в ночной рубашке, выскочила пятилетняя Наташа.

— Ну, давай знакомиться, — я протянул Наташе руку.

Девочка не заставила себя упрашивать. Вскоре она уже сидела у меня на руках. Я слушал ее милый лепет и внимательно вглядывался в детское личико. Кого-то она мне сильно напоминала. Но кого?

Вошла с шумливым самоваром хозяйка. Увидев на моих коленях Наташу, улыбнулась.

Разливая чай, Галя сокрушалась, что сейчас очень трудно с сахаром, но ей помогли.

— Это теперь так важно — иметь хоть какой-нибудь запас, — вздохнула она и спросила: — Ну, что полковник Веселов?

— Вручил мне в присутствии начальника штаба полка отпускной билет и напутствовал: «Надеюсь, на фронт с костылями не убежишь».

Таня, обжигаясь чаем, снова попыталась меня уговорить.

— Может быть, действительно, разумнее ехать в отпуск, — поддержала ее Галина.

— Так уж устроен человек, что вовсе не всегда поступает разумно, — отшутился я.

— Да, да, — неожиданно вдруг согласилась она, — знать бы только, где упадешь... Жизнь зависит от обстоятельств.

— Нельзя все приписывать судьбе и верить в со-

крушительную силу обстоятельств. Есть человек, есть его прошлое и будущее...

— Свое будущее я уже исходила мысленно вдоль и поперек. Век женщины — тридцать годков. Все остальное — блеклая скудость.

— Вы хотите сказать?..

— Я хочу сказать, что я была бы глупой дурой, если бы не знала и не принимала в своей жизни перемен.

— Не похоже ли это на оправдание перед...

— Не договаривайте, — она резко отодвинула чашку. — Я никогда ничего не делала предосудительного, чтобы оправдываться. Так сложилась моя судьба, а перед ней не оправдываются, как перед людьми.

Самовар на столе притих. Только круглый будильник на комодке нарушал сиротливую тишину.

Взгляд мой случайно упал на фотографию за будильником. И раньше, чем это дошло до сознания, в памяти возник субботний вечер кануна войны, тамбур вагона, живой, перетянутый ремнями майор-артиллерист. «Ага, вот куда авиация запропала», — так и говорил, улыбаясь с фотокарточки, мой попутчик.

— Кто это?..

— Папа! — удивилась Наташа. И, видимо, чтобы сразить меня окончательно, живая копия отца, сверкая глазенками, пролепетала: — Он скоро приедет. Мама говорит — настоящую живую куклу привезет.

«Нет, нет! Не может быть!.. Степан Степанович мертв?!.. Не верю, не хочу верить...»

— Вот, от мужа. Еще с финской храню. — Степанова протянула мне березовую тросточку и, увидев выражение моего лица, осеклась. — Ты... ты знаешь его?..

...Уже давно сладко причмокивала во сне Наташа. Притихла Таня. Где-то под полом, замирая при каждом шорохе, осторожно скреблась мышь, а бесчисленные «почему», горькие, как полынь, все терзали мой мозг. Нет, я не мог признать любви и дружбы до первых заморозков, до первого грома.

Встретиться с Галей мне больше не довелось. В тот же вечер я выехал из города. На память она подарила мне тросточку Степана.

* * *

Путь мой был нацелен на столицу, оттуда я надеялся найти дорогу на фронт или еще лучше — в свой полк. Но судьбе угодно было вернуть меня обратно. В Москве я получил коротенькое письмо. Танина мать сообщала, что у них в госпитале лежит мой отец.

Что с отцом? Как он туда попал? Почему пишет не Таня, а ее мать? Я отказывался что-либо понимать.

Два дня вагонных сутолок и пересадок. И вот передо мной снова знакомое здание.

Розалия Кайтоновна тяжело спустилась по лестнице, устало присела и горестно взглянула на меня. Все во мне замерло.

— Когда?

— Вчера... — она гладила мою голову и тихо рассказывала, как все случилось. Отец был тяжело ранен и долго лежал в беспомощности. В госпитале не знали, кто это. А когда он пришел в себя и назвал, не решились рассказать ему обо мне.

— Ведь не знали, вернешься ли ты, — тяжело вздохнула тетя Роза.

«К чему теперь утешения, — думал я, слушая ти-

хий, ласковый голос. — Отца нет. Я был рядом, ходил мимо его палаты. А ведь он словно предчувствовал, когда в день отправки на фронт говорил мне: «Мир велик, дороги широки. Бог даст, может, встретимся».

Я с трудом поднял отяжелевшую сразу голову. Наконец до сознания смутно дошло:

— Не горюй, сынок, еще встретитесь.

— Жив, жив мой батя?!

— Ну, конечно же. Я же говорю, что только вчера его эвакуировали на Урал...

* * *

Вот и кончился отпуск.

Наш эшелон с трудом пробирается через развороченный бомбами, весь в воронках и развалинах Елец. Чем дальше на юг, тем медленнее движение, меньше снега на полях, ярче солнце.

В вагоне тесно, накурено. У «буржуйки» вполголоса поют:

...Под весенним солнцем развезло дороги,
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать.

«Да, там уже теперь оттепель. Вот бы полк свой еще разыскать». Какие-то тревожные и унылые мысли не дают покоя.

Грустно, что не удалось повидать отца. Это Таня рассказывала мне, как в бреду он звал сына. Таня же первая узнала, кто он. Как она чувствует себя теперь — милая, мужественная девушка. Щедрая душой, всегда готовая на самопожертвование.

В самый критический момент, когда жизнь одно-

го из раненых висела на волоске, Таня дважды за один день дала свою кровь, скрыв это от врачей, и теперь лежала почти парализованная.

В день отъезда я чуть было не пошел в полк, готовый остаться.

Но когда я сказал ей об этом, она отрицательно покачала головой.

— Не надо.

Я видел — ей нелегко сказать это. Она взяла мою руку и прижалась к ней щекой.

— Я бы сама себе не простила, да и ты тоже...

Поглощенный своими мыслями, я не заметил, как наш эшелон въехал на какую-то крупную железнодорожную станцию.

Кто-то заглянул в приоткрытую дверь. «Воздух!» — хлестко ударило по нервам.

И тут началось. С платформы надсадно взвыла сирена. Ей разноголосо подтянули паровозные гудки. Серо-голубой небосвод мгновенно заляпали грязные кляксы разрывов.

И, заглушая крики, трескотню пулеметов, паровозные вопли, пространство заполнил переворачивающий душу свист.

В удушливом мраке я переполз под следующую платформу, прильнул спиной к черным колесам и переждал первую волну налета.

Очередные бомбы накрыли меня за развалинами кирпичной сторожки: здесь отсиживалось с полдюжины солдат.

— Что за станция?

— Старый Оскол. — Маленький, едва видать из-за камня, танкист со следами лейтенантских кубиков в петлицах чертыхнулся. — Давай сюда, только голову пригни!

Бомбежка длилась минут двадцать. Тошнотворный чад из смеси мазута, угля и горелого мяса стлался над станцией. В горле першило. Сквозь завесу дыма было видно, как несколько «Юнкерсов» нырнули вниз. Треск выстрелов заставил каждого из нас плотнее уткнуться в развалины. В дымную мусть взметнулось пламя.

Мы переглянулись: очевидно, бомба угодила в вагон со снарядами — фейерверком взлетела цистерна с горючим.

— Давно в таких переделках не был? — отряхиваясь, спросил танкист, по соседству с которым я приютился.

— Почти девять месяцев.

— Оно и видно: в лице ни кровинки, — добродушно заметил танкист.

— Я этих бомбежек физически не перевариваю.

— А кому такая свистопляска по нутру? Ты же авиация, поди, дай им по зубам.

— И дам, только бы до места добраться, своих ребят отыскать.

— А тебе куда?

— Не знаю толком, но жму на юг. А у вас какая путь-дорога?

Танкист пробирался к себе в часть, под Харьков.

Мы перепрыгивали через воронки, обходили горящие вагоны.

А на путях, как из-под земли, выросли ремонтные бригады, машинисты с железными сундучками торопливо бежали к своим паровозам. Молоденькая женщина в красной фуражке дежурного распорядилась, какие пути расчищать в первую очередь.

Меня поразило самообладание железнодорожников. Словно и не было никаких взрывов, бригады

ремонтников спокойно растаскивали горящие цистерны, торопливо спасали из огня уцелевшие вагоны, перецепляли составы.

Начальник станции, глухой, контуженный, с трясущейся головой, бегал по путям, громко выкрикивая указания, где и что нужно восстанавливать.

За ночь несколько эшелонов увели в безопасное место. Туда и начали стекаться скудными ручейками солдаты и командиры потрепанных частей и подразделений.

— Эй, где тут пулеметная?

— Пехота, сюда! Да куда прешь?! Не все сразу.

— Танкисты есть? — взывал мой спутник.

— Найдутся, газуй сюда! — донеслось из теплушки, нещадно искрившей в темноте.

Только на рассвете просвиристел сигнал кондукторов. Сдвинулась и переступила назад расколотая снарядом верба у овражка, в дымной пелене поплыла искалеченная станция.

И снова застучали на стыках колеса, и снова цепкие тормоза подолгу держали их на каждом маломальски действующем разъезде. А время, не в пример поезду, двигалось куда стремительнее: не успеешь оглянуться, уже и вечер, и новое утро с новыми заботами. Но жизнь в теплушке, в общем-то, катилась обычным чередом: с нескончаемыми разговорами, спорами и шутками. Да и заботы были на один манер — о войне, в свинцовые оглобли которой впрягались и старые, и малые.

Мой знакомый, лейтенант танковых войск, — крепко скроенный, светлоглазый, шрам через левую бровь — быстро перешел со всеми на свойскую ногу. Вот и сейчас он уже успел завязать спор.

— Главное, цель одна: врага бить, — отозвался лобастый старшина, отогревая у печки спину.

— Тебе, выходит, и смерть не страшна? — иронически спросил лейтенант.

— Как тебе сказать... Сегодня, например, когда фашистов бьем, жить хочется. А в прошлом году, когда они нас... — старшина осмотрелся: может, сказал лишнее? Его немолодое, усталое лицо отражало следы тяжелых душевных сомнений. — Смерть — она ведь разная бывает. Глупой я не хочу.

Танкист взъерошился: он, видно, принадлежал к числу тех, кто не боится «быть услышанным».

— Ишь, чего захотел: песни-смерти! Да знаешь ли ты, что это только побасенка? Умирать не хотят ни червяк-навозник, ни гигант-человек.

Разделить его взгляды я не мог. Броситься на амбразуру и закрыть ее своим телом — такое решение принимается мгновенно, в какие-то доли секунды. Препираться в этот момент с самим собой, рассуждать: «разумно» это или «неразумно»? Что творится тогда в сердце человека? Бушует ли в нем «безумство храбрых», или это просто величайшая любовь к жизни? Скорее всего, последнее: ведь героическая смерть — победа духа, победа во имя жизни.

Кому нужны эти ребусы: «Умираю, иду на смерть потому, что хочу жизни», — отмахнулся танкист.

— Уйду я, останутся другие, — думая что-то свое, возразил ему сосед-связист. — Ради этого человек жил и ушел ради этого. Вот в чем смысл и предназначение его.

— Предназначение... смысл... — кипел танкист.

— Я сельский учитель, — перебил сосед. — Рассказывал детям о Копернике, Джордано Бруно, читал Горького. И всегда говорил им: быть человеком —

значит быть Прометеем. Надо до конца оставаться честным, отдавать себя людям...

— Смотрите, опять разбитое село, — крикнули с верхних нар. Но никто не обратил на это внимания.

Эшелон тащился мимо разоренного села. Жидкие столбики дымков, выходявшие прямо из-под земли, были похожи на небольшие гейзеры.

Только у холма сохранилось несколько домиков. В дверном проеме одного из них показался старик, согбенный несчастьем.

За холмом, у кладбища, виднелась маленькая церквушка. Там и сям, как иссушенные старческие руки, торчали скелеты яблонь и вишен. Здесь совсем недавно бесновался огонь, горело железо, метались люди. Пламя вскидывало к небу аистинные гнезда, целые куски домов поднимались в воздух и скорбно оседали углем и пеплом на родные гнездовья, непашаные поля.

Уже вечерело, когда «паропхайка» — так окрестил наш паровоз танкист — прибыла в Валуйки. На крупной, исписанной множеством путей прифронтальной станции чернел лишь один воинский состав.

— Давай-ка твой аттестат, — обратился ко мне танкист, когда мы подошли к комендатуре. — Я с учителем пойду выписываться, а ты займи очередь на продскладе.

Набив карманы сахаром и пачками «Беломора», получив воблу, тушенку и по булке подмерзлого хлеба мы возвращались к своему вагону.

— А ты боялся, — довольно подмигнул учитель. — С пехотой, брат, нигде не пропадешь.

Через полчаса жизнь в теплушке покатила обычным чередом. Мы пили чай, уплетали за обе щеки тушенку. На верхних нарах философствовали:

— Чарка, по-ученому, солнечное сплетение взбадривает. А, попросту говоря, сосулька под ложечкой оттаивает.

Зарокотали басы гармоники, красивый надорванный голос запел о солдатском долге, о затуманенном девичьем взоре, о родимых просторах... Мелодия срывалась иной раз на верхах, но никто не обращал на это внимания, — она крепко держала всех за сердце, переносила в совсем другой мир — туда, где вечера окрашены в сиреневый цвет, а на небе ярко светят незамутненные дымом пожарищ звезды.

Я прислонился головой к щербатым доскам. Вспомнилась мне другая дорога, первая дальняя дорога в жизни, без бомб, но в такой же забитой людьми теплушке, только вместо вещмешков и винтовок за спинами у людей болтались тощие котомки.

Ездили мы с матерью за хлебом в студеную Сибирь. Трудная это была поездка, и виделась она мне сейчас как бы наяву.

Весна в Сибири в тот год навалилась сразу. Тепло и терпкие запахи талой земли кружили голову. Положив на санки мешок зерна — маме довольно скоро удалось выменять его на пронафталиненные, дорогие сердцу вещи, — мы отправились домой. Заночевали в ближайшем к станции селе. Если идти от него напрямую, санным путем, оставалось еще верст сорок. Ранним утречком, затемно, мы двинулись дальше, в расчете прийти на станцию к заходу солнца.

Дорога шла вначале вдоль леса, потом потянулись луга, за которыми начиналась речка. Санки легко скользили по подмороженному насту, шагалось споро. Мы подкрепились краюшкой хлеба, парой печеных картофелин и снова двинулись в путь.

Чем выше поднималось солнце, тем труднее ста-

новились дорога; ноги стали проваливаться в рыхлый снег, санки с мешком то и дело опрокидывались набок. С каждым часом ручейки становились все шире и глубже. Только к следующему утру, измученные, промокшие, заоченевшие, добрались мы до станции.

Уехать в тот день не удалось: на пассажирский поезд денег у нас не было, а «Максим Горький» — длинный состав из утепленных «пульманов» — ходил без расписания. Следующего дня я уже не помнил: горячий жар охватил меня.

Как мы добирались, что пережила в дороге мама — одному только богу известно.

Вернулись домой под Пасху. Все праздники я пролежал в постели. Не окреп и к севу. Только когда взошли хлеба и, дважды прополотые, без единого сорняка, густые, волнистые, налились колосом, я, полный нетерпения, готовился к жатве.

* * *

— Авиация, давай на посадку, приехали! — тряс меня за ноги танкист. — Разгружаемся...

Реальный мир — с винтовками и пушками, с котелками и тушенкой, с тревогами и надеждами — ворвался в мой сон и окончательно заслонил собой далекое, трудное, но по-своему счастливое детство.

В это утро я расстался со своими спутниками. Мои друзья — а я уже имел право так называть их — помогли мне втиснуться в санитарный эшелон. По дороге ко мне в руки попали мартовские номера «Красной Звезды». Я не поверил своим глазам:

«В Народном комиссариате обороны.

О преобразовании 6, 7, 69, 4, 55-го истребитель-

ных, 5, 33-го бомбардировочных авиационных полков в гвардейские полки...».

Мой полк гвардейский!? Я лихорадочно перескакивал от строчки к строчке, поспешно перечитывая весь текст постановления: «В боях за Советскую Родину... авиационные полки показали образцы мужества, отваги... нанесли огромные потери фашистским войскам... уничтожили живую силу и технику противника...

За проявленную отвагу в боях за Отечество... за стойкость, дисциплину, организованность, за героизм личного состава указанные полки преобразованы в гвардейские, а именно:

...55-й истребительный авиационный полк — в 16-й гвардейский истребительный авиационный полк — командир полка майор Иванов В.П.».

Я не знал, где находится мой полк: на юге ли, на севере, но было ясно главное — он есть, он воюет, да еще как воюет — стал одной из первых гвардейских частей! Теперь я разыщу его!

Я был счастлив. А на следующее утро...

В Новочеркасске в наш вагон сел авиатор в звании старшего лейтенанта.

«Спросить у него про свой полк? — подумал я. — А вдруг да на счастье...» В ответ авиатор критически осмотрел меня и попросил удостоверение личности. Внимательно прочитав его, безапелляционно заявил:

— Такого не существует...

— Как не суще... не существует?

Мне сразу стали противны и его длинный нос, и глаза какого-то непонятного цвета, и толстые губы.

— Этого не может быть! Я разыскиваю свой полк и... и разыщу его. Вот он, читайте!

Старший лейтенант вернул мне газету и удостоверение личности.

В уголках глаз пряталась улыбка:

— Свой полк вы уже проехали... Мы с вами однополчане. Фамилия моя Прилипко. Я еду в эскадрилью майора Крюкова, в Ростов...

— В эскадрилью Пал Палыча? В Ростов?!

ДЫМНОЕ НЕБО ВОЙНЫ

Всюду следы зимних боев: дома с обрушившимися потолками и пустыми глазницами окон. Под прозрачным, как родник, небом — изумрудная земля.

Зябко и неуютно на душе. Я исподволь поглядывал на старшину, пилота Голубева; высокий белобрысый, он спокойно шагает рядом со мной, а я злюсь и завидую его спокойствию. Конечно, ему волноваться нечего. Взлетал-то, фактически, я. И надо же такому произойти! Чудом живы остались. Топай теперь на своих двоих через весь город на вокзал. А ведь каких-то два дня назад, не чуя ног, я летел по этим улицам, предвкушая встречу с товарищами.

Подполковник Иванов расцеловал меня: «Рад, что вернулся в полк. Маловато нас, принявших первые вражеские удары, осталось в живых, но теперь мы — родные друг другу люди...»

Командир разрешил мне улететь из Ростова в полк на его «УТИ-4». Все шло замечательно. Я уже сидел в передней кабине с полными карманами гостинцев от друзей и с волнением чувствовал, как ветер, взвихренный мощью мотора, натуго завинтил по рулям. Легкая машина сорвалась с места, а потом... Вначале Голубев из задней кабины потянул сектор газа. Я вынужден был прекратить взлет. Покрышкин, оказы-

вається, забул передати йому який-то сверток. Затем... Кто мог предположить!

Врезаться в стоящий на аэродроме бомбардировщик и остаться в живых! Как это могло произойти? Какой позор! Ведь я видел этот самолет и намеренно взлетал много левее. Видимо, во время прерванного взлета, когда к нам подбегал Покрышкин, я засмотрелся на него и незаметно для себя развернулся вправо. И взлетел, пренебрегая авиационным правилом: «осмотрись». Я старался тютелька в тютельку выдержать высоту полета — один метр, ведь товарищи наблюдали за полетом, и мне хотелось удивить их. Стрелка скорости перевалила за триста. Триста десять, триста пятнадцать... Пора на иммельман.

Удара я не услышал. Не увидел, как оторвались колеса — сначала одно, потом другое, пообломались крылья, отвалился хвост. Взглянул ненароком вниз и ужаснулся: мотор колесом катился по земле, а я совершенно независимо от него летел в воздухе. Машина круто перевалилась на нос и устремилась вниз.

Инстинкт заставил меня взять на себя ручку управления. Я и не подозревал, что хвоста у самолета уже нет...

— Сашка, ты жив?

Крупная голова в шлеме приподнялась от приборной доски. Затем показалось длинное, улыбающееся лицо. Сашка щупал нос и бормотал: «Руки целы, румпель на месте. Жив, значит. А ты?»

— Тоже, выбраться только не могу.

Подъехала «санитарка». Крюков, Покрышкин и другие ребята помогли нам выбраться из обломков. По дороге в медпункт мы промчались мимо «препятствия», помешавшего взлету. «ИЛ-4» стоял с начисто снесенной кабиной штурмана.

— Что нам теперь будет?

— А зачем они вытащили самолет на середину взлетной полосы? — возмутился кто-то из товарищей.

— Нужно доложить командиру полка, — посоветовал Крюков.

Саша Голубев наотрез отказался. Я тоже боялся показываться подполковнику Иванову. Посыпались предложениям

— Надо пойти к нему и честно все рассказать, — предложил кто-то. — Тем более что разбитый вами «УТИ-4» за полком не числится.

После перевязки я робко постучался к Иванову. Голубев ждал на лестнице.

— Что случилось? Почему не улетели? — тревожно спросил командир.

— Разбились...

— Голубев?.. Где он?

— Здесь я... — Саша нерешительно показался в дверях.

Подполковник сердито сплюнул. В тяжелой тишине увесисто прозвучало:

— Раззтак вашу!.. Оба, немедленно... Чтоб духу вашего в Ростове не было!..

Какой стыд, какой стыд! Теперь вот шагай назад по разбитым улицам да еще сутки в поезде трястись! А так бы час — и в полку, в кругу товарищей.

— Осторожно!..

Но Голубев опоздал с предупреждением. Я оступился и через секунду уже лежал на грязном дне глубокой воронки.

Пришлось теперь, чертыхаясь, соскабливать с себя рыжую грязь. Просил же сестру глаза бинтами не закрывать.

— А ты чего ржешь! — набросился я на товарища. — Помоги лучше почиститься!

Но Голубева остановить теперь было трудно. До самого вокзала он изводил меня насмешками по поводу моих синяков, ссадин и общего внешнего вида.

— Ха-ха-ха! У тебя положительно отсутствует осмотрительность! — Его даже кашель разобрал от смеха. — На центральном проспекте угодить в воронку! Ха-ха! Эта положительно...

— Помолчи, уж... «положительно»! Взгляни лучше, кто идет.

Навстречу нам шел Даниил Никитин — я запомнил его еще по сорок первому году. Он тоже ехал в полк. Мы тепло поздоровались. Даниил рассказал, что экипаж бомбардировщика ищет виновников аварии, никак не могут дознаться, кому принадлежит разбитый истребитель.

Не успел поезд вырваться за стрелки ростовского вокзала, как послышался хриловатый удивленный голос:

— Ба, кого я вижу! Старый знакомый! А чего перевязанный? — Прилипко улыбался, растягивая толстые резиновые губы.

— Оступился случайно, поцарапался... — я даже съежился.

— И вы, Голубев, поездом?

— Люблю уют, покой, товарищ старший лейтенант.

— А на аэродроме вас разыскивают, между прочим. Все санчасти опросили, в госпитале даже побывали.

— Нас? — Саша изобразил на лице искреннее недоумение.

Не знаю, удалось ли нам рассеять подозрения Прилипко. Но всему приходит конец, даже самому неприятному. На другой день я докладывал майору Матвееву о своем прибытии в полк.

Товарищи шумно поздравляли меня, расспросам и радостной суетне не было конца.

Когда начальник штаба ненадолго куда-то вышел, я подошел к висевшей на стене таблице.

— Итоги нашей боевой работы, — пояснил коренастый военный в надвинутой на лоб фуражке. Этого комиссара с двумя «шпалами» в петлицах я заметил с первых минут своего появления в штабе и теперь мучительно вспоминал, где я мог его видеть, пока он сам не подсказал: раньше он заведовал комсомольской работой в дивизии. Теперь Погребной был комиссаром полка.

— А это летчики, сбившие фашистские самолеты, — указал он на вторую таблицу. В голосе звучала гордость. Семьдесят шесть стервятников рухнуло в воздушных боях, двадцать шесть сожжено на аэродромах.

Первой красовалась фамилия Кузьмы Селиверстова — девять вражеских самолетов сбито в воздухе, четыре уничтожено на земле. За Селиверстовым — капитан Ивачев (сбито 7, уничтожено 5), майор Фигичев (сбито 7, уничтожено 5), младший лейтенант Дьяченко (сбито 5, уничтожено 3)¹.

Я изучил список дважды, надеясь увидеть в нем и свою фамилию, но, увы — по алфавиту вслед за капитаном Покрышкиным (сбито 2, уничтожено 2) стояли фамилии лейтенанта Ротанова (сбито 2) и старшего лейтенанта Шелякина (сбито 4). Не было здесь старшего лейтенанта Хархалупа, не было и многих других товарищей.

Шумно, как всегда, вошел в комнату хозяин — майор Матвеев.

¹ Архив МО, оп. 206868, д. 4.

— Себя ищешь?

Я промолчал.

— Куда же тебя определить? — Он задумчиво поскреб затылок. — Летчиками полк укомплектован полностью. За счет эскадрильи старшего лейтенанта Комосы. Разве что пилотом самолета связи?

— Хоть мотористом!

— Теперь что касается твоих боевых вылетов, самолетов, сбитых до ранения... — Матвеев внимательно посмотрел на меня. — Придется начать воевать сначала. При отступлении, во время окружения, все документы, в том числе и твою летную книжку, пришлось сжечь.

— Есть начинать войну сначала!

— Вот это по-нашенски, по-воронежски! — весело поддержал меня комиссар. — Доброе начало всегда к доброму концу. Ну а теперь перекусить с дороги, да отдохнуть не грех. Общежитие рядом.

Я откозырял и вышел на улицу. Небольшой горняцкий поселок безмолвствовал. Гигантские шкивы шахтных копров остановили свой бег еще в октябре прошлого года. Котлы потухли. Насосы, день и ночь, гнавшие раньше потоки рыжей подземной воды, застыли. Под эстакадами валялись покореженные ржавые вагонетки...

Раздумья мои были прерваны громким криком:

— Да ты что, оглох, что ли? Зову, зову...

— Иван! Здорово, дружище!

Долго тискали мы друг друга в объятиях. Иван Зибин — уже старший лейтенант, с орденом, — до полуночи рассказывал мне о фронтовой жизни. О чем только не передумал я в эту первую в полку ночь...

Как ждут на фронте солнца, тепла! Сколько разговоров начинается словами: «Вот потеплеет...»

Апрель. Конец пронизывающему до костей степняку, липкой грязи, нудным вечерам в темной землянке. Теплые, безоблачные дни! Приятно сбросить с себя комбинезон, грубую нательную рубашу с завязками, как у детской распашонки, зажмуриться, подставить весеннему солнцу натертую лямками парашюта спину и поблаженствовать.

Именно такое блаженство излучало обветренное лицо Даниила Никитина, только что вернувшегося с воздушной разведки.

С Никитиным я встречался незадолго до своего ранения. Он прибыл из училища в числе двадцати других молодых летчиков. Он запомнился мне какой-то особой собранностью и подкупающей деловитостью. А чего стоила одна внешность этого хлопца: высокий, со спокойной, вразвалочку походкой, в которой чувствовались сила и напористость. Но внешность — только внешность: у Дани же и характер был скромный, неунывающий, по-настоящему мужественный.

Формированию Даниила как воздушного бойца во многом способствовали прославленные командиры: Константин Ивачев, затем Валентин Фигичев, коллектив эскадрильи, в которой сражались наши первые Герои Советского Союза Кузьма Егорович Селиверстов и Викентий Павлович Карпович, такие летчики, как Лукашевич, Покрышкин, Шульга и многие другие.

Солнце по-весеннему щедро и ласково сияло в вышине. В волнистой синеве, смягченной легкой сыростью полей, уже чувствовалось дыхание летнего зноя.

Никитин закинул руки за голову, повернулся лицом к солнцу.

— Как твои успехи? Как «МиГ»? Понравился? —

Серые открытые глаза, располагающая, доброжелательная улыбка вызывали на откровенность. — Ты ведь раньше рвался на нем полетать.

— Так это раньше, когда я другого не знал. Доволен ли? Не особенно. В воздухе — уют, зато на земле — красотища: рулит мягко, устойчиво! В кабине сидишь, словно в лимузине — простор! Вон, взгляни — на старт кто-то газует. Загляденье! А вообще, знаешь, завидки берут. Выросли вы тут здорово, пока я по госпиталям валялся. А мне вот все заново начинать.

— Догонишь. Было бы желание. — Никитин прикрылся от солнца рукой, в глазах — озорной огонек. — В авиации кто не бит, тот не летчик. У тебя же и тут опыт есть. Его не перечеркнешь.

Пока он доказывал мне, что прошлое всегда должно служить настоящему и будущему, ссылаясь на авторитет Суворова: «Без светильника истории тактика — потемки», я думал о своем: «Так-то оно так, но вот сверстники мои выросли, старшими лейтенантами, капитанами стали... У самого Дани в петлицах на один кубик больше, чем у меня. На груди у каждого по одному, а то и по два, три ордена сияет...»

— Советую тебе, — говорил Даня, — пока на нашем фронте спокойно, потренируйся хорошо на «МиГе», изучи вражьи повадки, глубже окунись...

— Трат-та-та, паф-паф-паф...

Резко, как гром, тяжелые пулеметы вспороли тишину над головой. И тут же одновременно, как от сотни плетей, вокруг нас фонтанчиком взбугрилась земля.

— Фью-фью-фью...

«Неужели «мессера» пожаловали? Вот так спокойно!» Я приоткрыл глаза, приподнялся. В прошлогодней борозде зашевелилась спина Никитина. Над зем-

лянкой КП, едва не зацепив ее колесами, пронесся взлетевший «МиГ» и через секунду оглушил нас страшнейшим ревом мотора.

Все стало ясно: это он на разбеге окатил длинной очередью из пулеметов взлетную полосу, командный пункт и нас с Никитиным.

Даня уже вскочил на ноги и на чем свет стоит ругал незадачливый истребитель, потрясал кулаками ему вслед. Там, в кабине, в страхе от содеянного, наверное, оцепенел дружок Даниила — Андрей Труд.

Тетерин — он теперь был командиром эскадрильи и носил в петлицах капитанскую «шпалу» — подзвал меня и послал на старт выпустить на штурмовку девятку «И-16».

— Но я должен лететь в зону, — возразил я.

Тетерин остался верен своему тону — не приказывать, а начальственной снисходительностью настаивательно разъяснять. Но нотки превосходства теперь проступали более отчетливо, чем прежде.

— Через сорок-пятьдесят минут эта группа вернется с боевого задания. Ты должен посадить их, но не забудь... — Началось перечисление моих обязанностей... — Надеюсь, все понял? Завтра разрешу тебе полет в зону.

Уже шло к обеду, когда три звена тупоносых говорливых «веселых ребят» — так окрестили «И-16» солдаты — исчезли за безоблачным горизонтом.

Дул теплый, южный ветер. Все краски — редкая зелень, глубокая синева, черные тени — казались резкими, но вместе с тем зыбкими.

Я подошел к старшему лейтенанту Федорову. Аркадий сидел верхом на бревне и старательно целился камешком в валяющуюся неподалеку банку из-под тушенки. При каждом попадании или промахе он приговаривал: «Вернется, не вернется».

Федоров оглянулся на мои шаги. Куда девалась его обычная располагающая улыбка? Красивое лицо нахмурилось, стало почти сердитым.

— Понимаешь, второй раз уже из девяти бросков по шесть-семь камней мимо. Попытаюсь еще — в третий раз и последний.

Народная мудрость гласит: человека познаешь, только съев с ним пуд соли. Но один лишь взгляд на Аркадия, его открытое доброжелательное лицо, серые, с хитринкой и юмором глаза говорили, что и грамма тут не потребуется.

В полк он прибыл в составе третьей эскадрильи и за полтора месяца успел полюбиться всем своей общительностью, простотой.

На вопрос, почему он оперирует именно девятью камешками, Аркадий промолчал, уселся поудобнее и вновь принялся «гадать». На груди его пламенели ордена Ленина и Красного Знамени. Я внутренне смеялся над тем, что серьезный летчик поглощен таким несерьезным делом. И в то же время огорчился: уж слишком часты промахи. Банка продрезбезжала всего два раза.

— Будь я девушкой, Аркаша, таких, как ты, любили бы захлеб. — Я сделал театральный жест. — Кто она, эта неверная?

— Девятка «ишачков»!

Заметив мое удивление, Федоров пояснил:

— Та самая девятка, которую ты выпустил в воздух. И «неверная» она... Там же зениток полно! Танки закопаны.

— Ерунду несешь. Опытнейшие ребята полетели: Васенька Шульга, Борис Козлов, Жора Кузнецов. Видел их слетанность? Крыло к крылу, как на веревочке. Что им... — я не договорил. С запада послышался слабый рокот моторов. Хлопнул Аркадия по спи-

не. — Вернулись твои «ишачки»! Готовься, твой черед на штурмовку.

На аэродром выскочил только один истребитель. Из кабины, потный, растерянный, вылез старший лейтенант Козлов. На вопрос, где остальные, он только качал головой и повторял: «Там было что-то ужасное».

Через некоторое время показался второй «ишачок», мотор «чихал», работал с перебоями. Даже с земли видны были зияющие в крыльях и хвосте огромные дыры.

Вздохмаченный Кузнецов тоже ничего не мог сказать об остальных, но уверял, что над территорией противника никого не сбили.

С аэродрома ехали молча. Угрюмая тень лежала на лицах летчиков. Даже за ужином, когда стало известно, что семеро остальных живы, но, изрешеченные зенитным огнем, попадали где придется, не слышно было привычных шуток.

Все улеглись спать. Потушили лампы. Я лежал в темноте и думал о том, что произошло сегодня. Было это для меня непонятно, вызывало смятение.

С первых дней войны я принимал участие во множестве боев, сдерживающих врага. Трудные были бои. В них постоянно чувствовался не только количественный, но и тактический перевес противника, его воля.

Потом, почти на целый год, мне пришлось оставить свой полк. В госпиталях, коротая за газетами долгие зимние вечера, я привык читать о наших победах. И вот снова бои...

Вспоминая теперь бои сорок первого — сорок второго годов, некоторые мемуаристы-авиаторы чуть ли не с первых схваток с врагом «познали» свое несовершенство в тактике и прочие недостатки.

«...При таком плотном боевом порядке было трудно отразить удар. Но мысль эта застревает в голове — ее не следует отпускать, — вспоминает о своем первом (!) боевом вылете А. Кожевников¹. — ...Индивидуальное прицеливание по узкой цели выполнить невозможно. — И далее, в том же бою: — Горят автомашины, взрываются бензоцистерны... Единодушно мы забраковали плотные боевые порядки».

Почитаешь такое — и диву даешься: все они видели, поняли, моментально переключились, отказались от старого, годами складывавшегося опыта и начали воевать по-новому.

Выглядело это на самом деле иначе. Конечно, была масса недочетов. Тактика, созданная на академических кафедрах по опыту боев в Монголии и других войн, не всегда оправдывала себя в боевой практике.

Но уже в начале сорок третьего года, когда благодаря беспримерному трудовому подвигу народа авиационная промышленность полностью обеспечила фронт новейшими самолетами и средствами радиосвязи, советские летчики перешли на новые боевые порядки. В боях рождалось новое в тактике истребителей и в боевом применении авиации.

А пока...

Помните? В сводках Совинформбюро встречалось: «бои местного значения».

Улучшат ли где наши войска позиции, оседлают ли высотку или оставят хуторок — без авиации в таких случаях не обойтись. И крови порой в этих бо-

¹ А. Кожевников. Записки истребителя, стр. 13, 14.

ях льется не меньше, чем при штурме укрепрайонов, и солдатский подвиг в них не менее ярок.

Так и на нашем, Южном, фронте. Полк вел разведку вражеских войск в огромном треугольнике: Артемовск — Сталино. — Амвросиевка. Летчики держали под контролем и таганрогское направление. С воздуха просматривались дороги, железнодорожные перегоны, аэродромы. Как «привесок», к заданию на разведку в самолет запихивали кипы листовок.

Специального места для них в кабине не предусматривалось; перевязанные шпагатом пачки рассовывались где только можно: около ног, возле сиденья, на коленях, под локтями между бортами кабины. Разбрасывать листовки в воздухе на скорости в триста пятьдесят — четыреста километров было трудно и небезопасно: можно было остаться без руки. Но понимали важность и значимость нашей листовки. Слово правды тоже было оружием.

Разведка была нелегким делом. Летчики одиночками уходили далеко в тыл врага, пробивались сквозь завесы зенитного огня к заданным объектам, пикировали и, сбрасывая бомбы, разведывали иногда под носом вражеским истребителей.

Мне нравились такие задания, если бы не «Мессершмитты». Они любили охотиться за одиночками. И, как говаривал Тима Паскеев, — «не приведи Аллах», если не заметишь их вовремя. Вскоре я в этом убедился.

Перед майскими праздниками мы с Паскеевым получили задание обследовать железнодорожные перегоны в треугольнике и подсчитать общее количество самолетов на аэродроме в Сталино.

Взлетели чуть свет. Восход солнца встретили на высоте трех тысяч метров. Земля под нами лежала

сонная, теплая, под серо-синим одеялом пелены. Мотор работал звонко и ровно. Настроение было хорошее.

Паскеев летел впереди, я — за ним, справа. Артемовск обозначился вспышками орудийных залпов: как всегда, «приветствовал» нас огнем крупнокалиберной зенитной артиллерии.

Интересно наблюдать такую стрельбу с высоты четырех тысяч метров, особенно в утренние и вечерние часы. Вначале замечаешь на темном фоне земли яркие всполохи выстрелов. И сразу же охватывает любопытство и нетерпение: где же разорвутся первые снаряды? А летят они к тебе долго-долго: секунд пять, семь, а то и больше. Помимо воли самолет отклоняется от курса, набирает высоту или скользит вниз и когда где-то вверху или сбоку сверкнет огонь и распустятся шапки разрывов, сразу легко и глубоко вздохнется, уютнее, теплее станет в кабине.

На сей раз очень уж медленно подбирались к нам снаряды. «Не разорвались ли они где-нибудь внизу или сзади?» Я оглянулся, и в этот момент раздался резкий хлопок, похожий на пистолетный выстрел в закрытом тире. Мы с Тимой оказались разделенными длинным языком огня и черными клубами дыма. От взрыва мой самолет слегка вздрогнул, крылом рубил возникший перед ним клуб дыма... Но «МиГа» Паскеева впереди не оказалось.

В поисках его я сделал несколько кругов, пока не заметил, что небо вокруг меня усеяно черными шапками.

Я выскочил из зоны обстрела, выбросил листовки и взял курс на Сталино. Только теперь дала себя знать усталость; руки, шея, спина были мокрыми от пота, взмок под шлемофоном лоб, саднило под глазом. Я притронулся к щеке и обнаружил в ней оско-

лок. Осколок был небольшой, чуть больше крупной махорочной табачинки, и впился сантиметра на полтора ниже глаза. «Интересно, пробил бы он стекло очков? — подумал я, рассматривая его. — Наверное, и в самолете есть дырочки». Едва я унял кровь, как показались «мессеры». Вначале я принял один из них за «МиГ» Паскеева. Но тут, не давая опомниться, на меня навалился второй. Вот когда и вспомнилось паскеевское «не приведи Аллах». Пустить в ход последнее и единственное преимущество «МиГа» — пикирование? Я слышал от товарищей, что в этом режиме полета с «МиГом» не потянется ни один «мессер».

...Нос самолета направлен отвесно к земле, на перекресток дорог, возле опушки леса. Ориентир этот запомнился машинально, по привычке, как при тренировочном пилотаже. В первые минуты не чувствую ни сиденья, ни плечевых ремней, ни самого самолета. Даже ноги — и те свободно болтаются между подножками педалей и ремнями на них. Единственная связь с самолетом — руки; они крепко-накрепко ухватились за ручки управления.

Оглядываюсь: вражеские истребители грязными сосульками повисли сверху и быстро отстают, уменьшаются, очертания их становятся все более расплывчатыми. Стрелка на приборе переваливает за критическую черту, но самолет как в масле: ни тряхнет, ни вздрогнет, ни стукнет.

Земля и перекресток дорог все ближе. Последний взгляд назад — «Мессершмиттов» не видно. Я улыбаюсь: «Потеряли, гады».

Вывожу машину из пикирования метрах в ста от земли. От перенапряжения лечу некоторое время, не отдавая отчета куда, лишь бы подальше от «мессеров». Наконец взгляд падает на компас, и я тихо

охаю: курс взят в глубь территории противника. «Ну и шуганули, проклятые!» Я зло ругаюсь в свой адрес и разворачиваюсь на восток, к дому.

Прикидываю: до линии фронта больше десяти минут полета.

Впереди — какой-то населенный пункт, похоже на Горловку. Может, обойти ее стороной? Очень много зениток. И, словно в подтверждение моих мыслей, над «МиГом» и по бокам вспыхивают белые бутончики разрывов. Они-то и наводят на меня «Мессершмиттов» вторично.

Они ринулись за мной, оставляя темные полосы дыма — признак того, что моторы работают на форсаже.

И мотор моего «МиГа» тоже готов разорваться от перенапряжения. Каждая жилка, каждая мускулинка в теле кричит, сливаясь с его ревом: «Ну, поднатужься, подбавь скорости, родимый!» Лишний километр на приборе скорости, секунда, выигранная у врага, означают для меня жизнь, победу.

Первую атаку я отразил сравнительно легко — резко развернулся на нападающего, но чуть не сорвал самолет в штопор и не зацепился крылом о землю. За первой атакой последовала вторая, третья. Надо попробовать и огрызаться. Как в былые времена, я ощутил в груди азарт боя. И сразу мне показалось, что я начал лучше видеть, соображать, а противник — больше нервничать, ошибаться. Но эти, видать, были мастерами своего дела: изменили тактику, попробовали зажать меня в клещи. Трассы их пушек оставляли свои дымные следы справа и слева. Все ближе, ближе... Внизу, в каком-нибудь десятке метров от меня, земля громоздилась буграми, лесами, высокими столбами. Достаточно было теперь одному фашистскому снаряду полоснуть по кры-

лу — и самолет на большой скорости неминуемо перевернуло бы или бросило набок. Тогда...

«МиГ» выскочил на какой-то город, кажется, Дебальцево, и «брил» над самыми крышами; в другое время я обошел бы его стороной, опасаясь зенитного огня. Но сейчас... Враги преследовали, но не атаковали: боялись труб, копров. Город длинный, разбросанный. Пролететь через него — значило приблизиться к своим еще на несколько километров. Небольшое усилие — а там линия фронта, может быть, помощь.

«Мессеры» одновременно, с обеих сторон, устремились в атаку. Желтокрылый, видимо, главный, был чуть ближе и вот-вот собирался ударить из пушек. Как быть? Разворачиваться на него? Но это означало подставить себя под атаку второму «Мессершмитту». Я резко убрал газ и дерзко бросил свою машину на ближайшего желтокрылого. Фашист, опасаясь столкновения, шарахнулся в сторону своего напарника. Мой маневр на время ошеломил врага и позволил отвоевать еще несколько километров на пути к своим.

Теперь мой «МиГ» не обходил стороной ни одну шахту, ни один населенный пункт. Он с ревом проносился над горняцкими поселками, «брил» вдоль улиц.

«Мессеры» несколько раз пытались отрезать мне путь к отступлению. В одной из таких атак желтокрылый едва не врезался в крутой обрыв карьера, куда я его увлек, после чего вражеский пыл окончательно угас.

Показалась мутная гладь реки. Линия фронта осталась позади, и «мессеры» отстали. Я попытался определить, где нахожусь, но... «широка страна моя

родная, много в ней лесов, полей и рек...» А бензин в баках кончался.

Впереди простиралось довольно ровное, с прошлогодней стерней, поле. Южнее лежала небольшая деревушка с церковной маковкой. В деревушке расположились какие-то войска. Они не разбегались, не прятались от самолета — значит, свои.

Можно сесть.

Сразу же после посадки солдаты окружили самолет, притащили мне завтрак. Но аппетита не было: руки и ноги сковала непонятная слабость, от курева кружилась голова.

Тревожило исчезновение Паскеева. Что он, струсил? Или просто растерялся? Собственно, было отчего растеряться в начальный момент боя с «мессерами»: ведь и я почти минуту гонялся за хвостом первого «Мессершмитта», принимая его за Паскеева. Догнал на развороте, пристроился рядом, даже погрозил летчику кулаком... Только тут бросились в глаза крест на хвосте и желтые полосы на крыльях. Шарахнулись мы друг от друга как сумасшедшие, одновременно: он — вниз, я — в сторону, к другому самолету, и опять махал пилоту крыльями — думал, это, наконец, Паскеев. А «свой» неожиданно застрожил по мне из пушек — я пульнул от него переворотом. Вот и думай: спаниковал? Или настолько безвыходное было положение, что только пикирование могло спасти? А если это результат моей неподготовленности?

Я мучился этими вопросами и на следующий день, когда вернулся в полк.

— Меньше думай о всякой дряни, — скалил зубы Тима Паскеев. Он, оказывается, сорвался тогда от взрывной волны в штопор и сразу вернулся на аэро-

дром. — На свете и получше есть предметы для размышлений.

— А я так обязательно полез бы в драку, — твердо заявил Никитин. В душе я был согласен с ним. Смелость, дерзость — необходимый элемент тактики. Первым увидел — наполовину победил.

Тетерин не преминул воспользоваться газетными поучениями:

— Азарт — взбесившаяся лошадь, унести может невесть куда. Хладнокровие, уравновешенность — вот залог успеха.

— Какое может быть хладнокровие в разгар схватки?! — возмутился Никитин. — Наоборот, ты возбужден боем, ты кипишь! Нет, с холодным сердцем воевать нельзя!

Меня удручало, что почти все товарищи, не считая Никитина, отнеслись к моему бегству от «мессеров» как к чему-то само собой разумеющемуся.

Но смириться с этим — значит подготовить себя к тому же и в будущем. За этим ли я рвался на фронт?

За обедом меня подозвал комэск Фигичев, познакомил с низкорослым, подвижным майором и спросил:

— Слышал небось, на «мессерах» двое чехов или, кажется, хорватов к нам на днях перелетели? Вот инспектор приехал, вербует к себе в спецгруппу летчиков осваивать фашистскую технику. Может, после вчерашнего боя согласишься ближе с ними познакомиться? — И, не дожидаясь моего ответа, обратился к майору: — Как, Телегин, подойдет он? Не беда, что хромой.

— Шут с ним, давай и колченогого. — Круглое, скуластое лицо инспектора скривилось в усмешке. —

Что делать, ни один порядочный летчик не соглашается. А начальство требует.

Таким предложением я был сильно обижен и наотрез отказался. Настроение еще больше испортилось. Вечером из-за пустяка поругался с Иваном Зибинным, хватанул за ужином лишнего, а когда добрался до постели — на меня обрушился ад: не кровать подо мной была, а утлая лодчонка, брошенная в ревущий омут. Ее мотало, кидало в бездну, опрокидывалась потолком вниз комната...

* * *

Донецкая земля не особенно щедра на весенние краски. Да и недолго они радуют глаз. Пока не набрало силы знойное солнце, поспешно тянется кверху пырей, уверенно выбрасывает жесткие листы колючий татарник, медоносный донник спорит с клевером за свое место на опушках аэродрома. Только вишенки да яблони возле погрустневших хат красовались в этом году своими весенними нарядами.

Так же неприметно, как нынешняя весна, без демонстраций и песен, в труде и войне прошли майские праздники. Днем, между вылетами, нам зачитали приказ наркома обороны, прямо в поле провели небольшой митинг; без громких фраз люди заверяли партию и народ, что выполнят поставленные перед ними задачи.

Вечером был ужин, шумный, веселый, с тостами, песнями и танцами. Ожидался концерт, но состоялся он только на третий день праздника, в понедельник.

Летчики мылись, чистились, прихорашивались. Еще бы, будут настоящие артисты с композитором

Табачниковым во главе. Иван Зибин брил и без того гладкие щеки, Паскеев наводил блеск на сапоги. Дания Никитин одекolonил голову, сооружая замысловатый зачес. В колхозный клуб, куда мы ходили после ужина потанцевать, всегда стекались, как говорил Андрей Труд, «блеск-девчонки».

Андрею особенно заприметилась яркая блондинка со вздернутым носиком. Дания же всем сердцем потянулся к ее подруге — тихой и скромной русоволосой девушке. Однажды он спросил меня: «Которая тебе больше нравится?» — «Конечно, не блондинка», — ответил я и, сам того не ожидая, доставил ему острую радость. Сегодня Дания весь так и светился изнутри: не иначе как синеокая глубоко в сердце запала. Такие, как Никитин, не раздваиваются, не способны хитрить, кривить душой. Только что Даниил отчитал одного из дружков за легкомысленное отношение к девушкам, обозвав его Дон Жуаном.

— Это иностранное слово. Хохол я, кроме русского, никакими языками не владею, — отшутился тот.

— Есть классический перевод. Хочешь знать?

— А ну...

— Бабник.

Дружок расплылся в широчайшей улыбке:

— Переводы всегда грешат неточностью. — Позубоскалить каждый из нас был не прочь, нес подчас все, что взбрело на ум.

...На улицу вышли гурьбой. Деревня, казалось, жила обычной жизнью. С сумерками она погружалась в сон и начинала трудиться с первыми петухами. Внешне все было, как и до войны, если не принимать

во внимание, что за стенами глинобитных домиков совсем не оставалось взрослых мужчин.

Девчата, на которых война свалила все мужские заботы, не хотели лишаться себя последней радости — танцев. Жизнь сильнее войны. В темноте мелькали цветастые платя, слышался смех, восклицания. Снова что-то сморозил Паскеев. Иван Зибин одернул его, но тот задрал голову и нарочито громко пропел:

— Чувство — как цветок: купишь у любой цветочницы Анюты.

— Ах, так! — Никитин повернулся к нам: — Ребята, накажем за непослушание?

Паскеев ночью плохо видел, и потому мы охотно согласились разбежаться, оставив его в одиночестве.

— Пойдите, други! — умолял Тимофей, бредя вдоль забора с вытянутыми, как у слепого, руками.

— Это, Тимка, первая лужа, — давился от смеха Труд, наблюдая, как тот шлепает по воде начищенными до блеска сапогами. — А за ней овраг чернеет, — предупредительно сообщил Никитин. — Шел бы ты лучше на мой голос, — тут на пути всего одна навозная куча.

— Гришка! Степка! Иван! — взывал он в темноту.

Да, шутить, даже находясь рядом со смертью, мы умели. И это было доказательством нашей душевной силы. Жизнерадостные, смешливые, мы подначивали один другого, никогда не держа друг на друга никакой обиды. И в такие часы никому и в голову не приходило, что горе бродит по соседству с радостью.

За столом, отполированным руками и костяшками домино, разыгралась жаркая баталия в «морского» козла. Хитроглазый Шульга и чубатый Федоров заседали на Пал Палыча и Фигичева. В предчувст-

вии поражения Крюков вспотел, покраснелся и беспрестанно подпрыгивал на скамейке. На нарах, у самого входа, Никитин и Труд разучивали полюбившуюся им вчера новую песню Табачникова.

Над аэродромом раскатился громом,
Рокотом знакомый самолет...

Еще несколько человек присели на нары и бойко подхватили припев:

...Ты согрей нас жарко, фронтовая чарка,
Завтра утром снова в бой.

Но настоящий бой произошел не «завтра», а в тот же день.

Меня вызвал майор Фигичев:

— По графику твоему звену лететь на разведку. Кого пошлешь?

Сам я к тому времени уже разок слетал, Саша Голубев грипповал, оставался Даня Никитин. Я незаметно отозвал его в сторону. Задание обычное: наблюдать за дорогами, проследить, нет ли перегруппировок войск противника.

Район был давно известен. На сей раз мы с Никитиным только изменяли маршрут и высоту полета. Комэск одобрил это и, зная темпераментный характер летчика, предупредил:

— На рожон не лезть. Ты разведчик. В бой над вражеской территорией не ввязываться. В эскадрилье всего три «МиГа». Беречь их надо. Понял? Ну, ступайте.

С кипами листовок к стоянке подбежал политрук.

— Как, ребята, «агитнем» фашистов? Или уступим пальму первенства второй эскадрилье?

— Чтобы мы уступили? — Я взглянул на товарища.

— Ни за что! — воскликнул Даниил и стал натягивать парашют.

Иван Путькалюк — на его груди уже поблескивала медаль «За отвагу! — помог Никитину погрузить листовки и запустить мотор.

Ветер натуго закрутил лопасти винта. Придерживая руками пилотки, мы с техником отпрянули от самолета. Остроносая машина, низко распластав над землей крылья, долго, очень долго, словно предчувствуя свой последний взлет, разбежалась по неровному полю, с трудом оторвалась и нехотя устремилась ввысь.

Здесь, в небе, над облаками, ничто не говорило о войне, но Никитин ни на секунду не забывал о ней.

Снизу ударили зенитки. Никитин спикировал, проследил, как от двух его бомб батарея захлебнулась. «Для начала неплохо. Теперь можно и «агитнуть», — решил он. Две пачки листовок белыми птицами поплыли к земле, оседая на деревню, приткнувшуюся к холму, на лес. Сосняк был густой; он покрывал синеватой зеленью огромный массив, и было жаль, что листовки несло на лес — не для партизан же они предназначены. Никитин уже различал легкие дымки — знаки присутствия народных мстителей. Нужно спуститься пониже: пусть порадуется краснозвездному истребителю; жива наша авиация, жива, вопреки гитлеровскому бахвальству.

Задним ходом раскручивались стрелки высотомера: одна тысяча метров, восемьсот, триста... «Танки! Сколько же их!»

Попарно, кучками и одиночно под крылом мелькали коробки с черно-белыми крестами. Жаль, что бомбы уже израсходованы. Листовками их не проймешь. И все же пусть читают.

Хоть неприятностей эсэсовским молодчикам бу-

дет по горло: каждую листовку нужно выловить, чтобы солдатам не попала.

Никитин еще раз пронесся над лесным массивом, определяя примерный состав так долго разыскиваемой разведчиками танковой группировки. Последний раз гордо сверкнул крыльями, на солнце и стремительно скрылся за облаками.

Как это великолепно — вернуться, успешно выполнив задание!

Внизу простиралась знакомая до мелочей, благодатная донецкая земля. «Надо будет приехать сюда после войны и походить по этой земле, пешком от шахты к шахте, от поселка к поселку», — подумал Никитин.

Что теперь делают товарищи? Техник, конечно, с нетерпением поглядывает на небо и смолит сигарку за сигаркой. Почему-то сегодня Путькалюк казался настроенным, дольше обычного крутился около кабины. Напрасно тревожился: машина, кажется, как никогда, радостно и звонко поет свою песню.

Самолет опять приближался к линии фронта. Передовая молчала. Но вот и она осталась позади. Начштаба ахнет от сегодняшних данных. Заставит перепроверить. Интересно, кого Фигичев пошлет на доразведку? Покрышкин осваивает «Ме-109» в Новочеркасске. Лукашевич в ремонтных мастерских. Шульгу или Зибина?

Никитин перевел самолет на снижение, слегка подался вперед.

Андрей Труд, наверное, все еще дирижирует песней, а командир сидит на крыше землянки, ловит звук мотора.

А что, если обмануть его: залететь с тыла и бесшумно, без мотора спланировать... Пронестись над больничным домиком... Она тоже, наверное, сидит

сейчас, подперевшись кулачком, не сводит с аэродрома глаз.

Он будто ощутил чудесные, пахнущие свежестью утренней реки волосы, увидел синие васильки — глаза. Мир светлел при одной мысли, что она есть на свете.

Никитин снизился до двух тысяч метров. Поля внизу лежали слегка тронутые зеленью всходов. С моря напознала гроза. Ее черные тени угрожающе расплывались по склонам холмов. Было красиво и тихо.

Скоро свой аэродром. По земле двигались небольшие группы солдат, машины. Видна была линия старых окопов. Но почему, увидев его самолет, люди прячутся?

Сердце вдруг сжалось, екнуло: вот в чем дело — впереди, чуть ниже, черной тенью плыла «рама»¹.

И Никитин устремился в атаку. «Будь спокоен, командир, не подведу. Задание на разведку выполнено, — прильнув к прицелу, говорил он себе. — Через пару минут мы его перевыполним».

Стрелок противника не дремал. Прежде чем перекрестье прицела легло на «раму», пестрые пунктиры трассирующих очередей устремились в сторону Никитина. Они были бесшумными, но Никитину казалось, будто он слышит их свинцовый посвист. Фашист ловко увернулся от удара. Вторая атака. И снова неудача постигла Никитина. «Рама» не только выскользнула из прицела, но, резко снизив скорость, на неправильной «бочке» сама напала на проскочивший «МиГ».

«Недоучка, — подумал он про себя, — чуть не заврался. Хорошо еще, что ребята не видели...» Раздра-

¹ Двухмоторный корректировщик «FW-189», сменил в 1942-м на Восточном фронте устаревший тип — «Hs-126».

жение и досада охватили его. В кабине стало жарко. Он понял свою ошибку: не нужно разгонять скорость и после удара выскакивать над противником. Это же не бой с истребителем, преимущество в высоте здесь ни к чему. Выбрав удобную позицию, Никитин перешел в нападение. Фашистский летчик опытен: маневрирует, отстреливается, целиться по нему очень трудно, но теперь «МиГ», уравнив скорости, беспрестанно сидит у врага в хвосте.

Неожиданно — какая удача! — вертлявый фашист оказался в прицеле! Гулко заработали пулеметы, от порохового запаха приятно защекотало в носу. Никитин отчетливо видел, как крупнокалиберные трассы пулеметов оборвались в кабине фашиста и как его неуправляемый самолет вздрогнул. В то же мгновение вражеская очередь впиалась в крыло откуда-то сзади. Брызги стекла от разбитых приборов! Осколки снарядов! Никитин даже не почувствовал, что они пронзают и его тело. Он метнулся в сторону, оглянулся. «Зарвался, раззява, — пронеслось в голове, — подставил себя под удар!»

«Мессершмитты», которых рухнувший фашистский разведчик успел вызвать по радио, яростно набросились на подбитый советский самолет. Они не сомневались в победе: их четверо, машины у них лучше приспособлены к воздушному бою.

Как это уже бывало с ним не раз, Никитина охватила злость; он ощутил прилив отчаянной храбрости.

Мотор взревел во всю мощь, истребитель вошел в петлю и снова спикировал вниз. Он уходил в сторону и, точно острым ножом, резал крыльями воздух. «Мессы», охотясь за ним, устроила в небе карусель. То была карусель смерти. Разгорелся невидан-

ный по стремительности и напряжению поединок одного против четырех.

Захлебывались очередями пушки, скрещивались пулеметные трассы, и — вверх-вниз, вверх-вниз — ревело моторами небо.

Теперь Никитин не торопился стрелять. Это была своего рода хитрость, расчет. Гитлеровцы ждали подвоха и — Никитин видел это — понемногу теряли уверенность. Они, как шакалы, носились позади и бесцельно палили по нему издалека. Никитин всей душой презирал их за это. Но вот один из «мессов», как бы разгадав намерение советского летчика, откололся от своей группы и сверху ринулся на «МиГ». Никитин принял атаку. Это была мужественная лобовая. Он видел желтый нос «Мессершмитта», желтую смерть, летящую из него, и ударил по размалеванному фашисту из пулеметов.

Вражеский снаряд пробил козырек кабины «МиГа» осколки поранили плечо, ногу, лицо. Кровь, смешанная с потом, застилала глаза, но Никитин с удовлетворением отметил, что и его очередь достигла цели: в дыму пламени ретивый «месс» штопорил к земле.

Теплая слабость накатила волной. Никитин знал, что это такое: он слышал от Витальки Карповича, как при ранении затуманивается и незаметно теряется сознание. «Нет, только не это! Я должен сообщить о танках...».

Он почувствовал боль в плече и обрадовался ей. Боль была громкой, она вернула ему ощущение жизни. Никитин снова различил шум мотора, и это было сейчас для него главным.

Фашисты не прекращали атак. Они поражались живучести русского: дымящийся, изрешеченный сна-

рядами истребитель находил в себе силы ускользнуть от ударов, огрызаться очередями.

Но сила, ловкость, напористость постепенно покидали его. Огненными брызгами осколков перебило правую руку летчика. Никитин взял рычаг управления в левую руку. Смертельный бой продолжался.

Никитин не думал о том, как выйти из боя. И не потому, что такой возможности уже не имелось. Он знал теперь только одно — надо победить. С ним вместе дрались его любовь к Родине, к девушке, к жизни — сила, тысячи раз побеждавшая смерть, о какой не могли и мечтать фашистские летчики.

Вся красота души человеческой проявляется в такие вот напряженные и часто трагические моменты, когда нет времени думать и анализировать свои действия. Да этого и не требуется, к таким минутам человек готовит себя на протяжении всей жизни. И тогда рождается подвиг.

Голова кружилась. От резких маневров чернота застилала глаза. Временами летчика захлестывала пустая тишина, и тогда Никитин кричал... Наступал кратковременный проблеск. В один из таких проблесков он увидел вражеский истребитель. Враг даже выпустил шасси, чтобы не проскочить мимо обессиленного «МиГа». Слух отчетливо различал, как в свист ветра и рев мотора вплелась пушечная трескотня. Снаряд разорвался в хвосте «МиГа», но фашист просчитался. Когда «месс», сверкнув кабиной на солнце, оказался рядом с Даниилом, Никитин почти автоматически бросил свой истребитель на врага и в какую-то долю секунды сумел разглядеть, как крыло «МиГа» вошло в вражескую кабину, смяло фашиста и разломило тонкий фюзеляж «Мессершмитта» пополам.

И опять тишина...

Никитин время от времени открывал глаза и видел, как неслась навстречу земля. Самолет трясло. Требовалась сила, чтобы удержать его от быстрого падения, но сил у него как раз и не было. Не было ничего, кроме спокойствия... И обширного зеленого поля, на котором в красноватом тумане пылал сбитый враг, — третий в этом бою.

— Таран! Таран! — тысячеголосое эхо восхищения прокатилось по земле. Взметнулись в небо пилотки, винтовки победно отсалютовали. Люди радостно кинулись навстречу герою. И оторопело остановились, отчаянно крича:

Прыгай! Прыгай же!..

* * *

...А на аэродроме из землянки доносилась задумчивая фронтальная песня:

...Вспомни мать седую, женку молодую,
Твой далекий, милый дом.

Густой баритон Саши Голубева утонул в общем хоре, подхватившем припев:

Эх, и крепки ребята-ястребки,
С «Мессершмиттом» справится любой..

Подошел озабоченный Путькалюк. Присел рядом, хмуро кивнул на громоздившиеся за аэродромом тучи:

— Кажись, гроза собирается?

Его тревога была мне понятна. Всего около десятка минут оставалось до того критического срока, когда Никитин должен вернуться с разведки.

— Ты послал Германовича за боеприпасами? —

Техник утвердительно кивнул головой и нервно закурил.

Неожиданно песня в землянке смолкла. Перепуганный голос Матвеева переспрашивал:

— Где упал? А летчик?..

...Люди молча стояли у края дымящейся ямы, от которой несло гарью. Тихо, до боли тихо было вокруг. Горло сжимал удушливый ком, но слез в глазах не было: подвиги героев не оплакивают, от них му жают.

Сгорела короткая жизнь, перестало биться горячее сердце, в котором было так много любви к лю дям. И случилось это в тот момент, когда Никитину, как никогда, нужно было жить...

Раскапывать тело не имело смысла: многотонный истребитель зарылся на несколько метров в рых лую землю, похоронив летчика. Решили его не тре вожить. Вместо памятника на расчищенном участке высадили из молодых деревьев: «Никитин».

Треск оружейного салюта потонул в громовых раскатах грозы. Крупные и чистые, словно слезин ки, капли дождя упали на посеревшую землю, обмы ли печально сникшие листочки деревьев, пахнущие бензином луговые незабудки. И жизнь снова моло до заискрилась в изумрудной зелени.

На следующий день в штаб полка пришла другая скорбная весть: при испытании отремонтирован ного самолета разбился Николай Лукашевич. Вер ный товарищ, коммунист, орденосец, он сделал более двухсот боевых вылетов, в неравных воздуш ных схватках много раз выходил победителем и по количеству сбитых самолетов стоял рядом с такими храбрецами, как Селиверстов, Ивачев, Фигичев.

Дождь, словно оплакивая товарищей, хлестал на отмашь, дробно барабанил по затемненным окнам,

шелестел в кроне тополей. Ноги скользили по податливой глине. Мимо проскрипела подвода, запряженная низкорослой, с подвязанным хвостом, лошаденкой. Я дотащился на ней до штаба. В коридоре стояла гнетущая тишина. У потрескивающей печки на корточках сидел Медведев и старательно сжигал ненужную писанину. Его причудливая тень на стене то уменьшалась, то вырастала до гигантских размеров. Косматая голова поднялась на звук моих шагов. Поздоровались.

— Где же командир полка?

— Где ему быть? У начальника штаба. Там и комиссар.

— Зачем вызвали? — Воентехник пожал сутулыми плечами. — Приказ об аварийности пришел. Взыскание им объявили. А разве они виноваты в катастрофе Лукашевича?

Меня это удивило. Причина катастрофы твердо установлена: рули управления заклинило железным молотком.

— Завтра сам генерал со свитой нагрянет, — Иван Михайлович со злостью сунул в пламя очередную кипу распоряжений и приказаний. — Привожу в порядок дела.

Я подсел ближе к огню и стал наблюдать, как скручивается в серый пепел бумага. Зачем я так срочно понадобился командиру? К катастрофе не имею никакого отношения, к приезду начальства — тоже. Может, доктор Козявкин пожаловался? На днях в стопе появилась похожая на свищ ранка, и доктор не на шутку встревожился.

В кабинете у Матвеева было накурено. Трехлинейная лампа едва освещала стол, за которым, развалиясь на стуле, восседал заместитель командира

полка батальонный комиссар Исаев. На эту должность его назначили вместо погибшего Константина Ивачева незадолго до моего возвращения в полк Сумрачный, тяжелый, подполковник Иванов серой глыбой сидел в стороне.

Обычно приветливый с летчиками, Иванов на сей раз лишь исподлобья глянул в мою сторону и без каких-либо объяснений приказал:

— Завтра отправишься в распоряжение командира третьей эскадрильи. Туда идет машина из БАО¹ с имуществом. Если не хочешь таскаться по вокзалам, сегодня же ее разыщи, — посоветовал начальник штаба.

Чем вызвана такая немилость? Я стоял в недоумении. Не очень-то прояснила положение и реплика Исаева; щуря красивые, навывкате, глаза, он рассмеялся коротким, довольным смешком:

— Будешь знать, как гробить боевые самолеты. Можешь идти, — сердито бросил Иванов и подошел к комиссару полка.

На следующий день чуть свет я уже трясся в кабине трехтонки, в душе благодарный Иванову за столь нелестное препровождение меня с глаз долой от приезжающего начальства, потому что история с разбитыми в Ростове самолетами все еще не заглохла. Не было бы счастья, да несчастье помогло: эскадрилья старшего лейтенанта Комосы получила новые яковлевские истребители, и воевать на них было куда более лестно, чем на потрепанных «МиГ»х. Первыми, кого я встретил на новом месте, были замкомэск Гуденко и майор Телегин — тот самый ин-

¹ Батальон аэродромного обслуживания, подразделение, занимающееся обеспечением деятельности авиачасти и аэродрома.

спектор-летчик, который не далее как с месяц назад вербовал меня осваивать «Мессершмитты». Я сразу же поинтересовался успехами майора в освоении фашистской техники.

— А ну ее к ядреной матери! Свои же едва не загубили! — Телегин свирепо сверкнул глазами и рассказал, как на днях из-за неисправности мотора он вынужден был сесть вблизи своих пехотинцев. Плохо покрашенные кресты на вражеском самолете и бормотание «братцы, я русский», — чуть было не погубили майора. Бойцы приняли его за предателя. А пока разбирались, кто он и откуда, успели навесить таких тумачков, что до сих пор бока болят.

Это происшествие отбило у него всякую охоту к подобным полётам, и он прибыл в эскадрилью помогать командиру полка переучивать летчиков на «Як-7Б».

Сюда же следом за Телегиным приехал Покрышкин. Во время учебного полета он подломал на посадке последнего «мессера» и тем поставил точку над экспериментом по освоению фашистской техники.

Так неудачно закончилась попытка освоить «Мессершмитты». Сама по себе эта идея могла бы принести большую пользу, но, не подготовленная организационно, а отчасти из-за небрежности самих летчиков, оказалась лишь предметом для остроумных шуток наших авиаторов в часы отдыха.

* * *

После сытного обеда я прилег под крылом вздремнуть. Проснулся от возни и веселого гомона товарищей. Иван Зибин, помахивая перед моими глазами фронтовой газетой, шутил:

— Ну, дружище, с тебя причитается... — Я выхватил газету и не поверил своим глазам — крупный заголовок: «Победа летчика Речкалова». Внизу мой портрет и целый очерк о том, как я сбил двухмоторный «Ме-110».

Леня Тетерин, снисходительно улыбаясь, похлопал меня по спине:

— Слава, поди, как молодая девка, — каждую жилку щекочет?

— Хорош молодец, верно, ребята? — кричал громче всех Паскеев. — Портрет в газете плюс сбитый на днях «Юнкерс», теперь жди — орден обеспечен.

Германошвили, прожженный солнцем так, что на темном лице сверкали одни лишь глаза да зубы, забрался на крыло самолета и во всю силу своих легких начал читать на память:

— Летя на штурмовку фашиста, мой командир нашел стервятник...

— Там же не так написано, — перебил его Зибин.

— Вазо не веришь? Смотри сам! — Вазо разгладил газетный лист и продолжал: — С первой очереди из мой пулемет убит стрелок фашиста. Враг начал удырат из-под огня...

— Там сказано уходить из-под огня, — поправил его Паскеев.

— Это тебе не сухумский набережны «ходить». Фашист побежал удырат. — И, бережно уложив газету в карман, Вазо разгладил усики. — Свой мама командира посылать будем.

Техник Путькалюк развернул свой экземпляр и дочитал до конца.

«...Пять раз атаковал Речкалов фашиста и не оставил его до тех пор, пока воспламененный стервятник не ударился о землю. В своих боевых дейст-

виях после ранения Григорий Речкалов одержал замечательную победу»¹.

Друзья жали мне руки. Я был растроган вниманием. Угар славы кружил голову.

Я незаметно ускользнул от друзей и завалился в тень развесистого куста.

Под головой планшет с бережно разглаженной под плексигласом газетой. Хотелось достать ее, еще раз взглянуть на свой портрет, но боязнь, что кто-нибудь застанет врасплох за этим нескромным занятием, удерживала от искушения.

Итак, на боевом счету два сбитых фашиста. «Юнкерса-88» я завалил 27 мая. Теперь я чувствовал себя увереннее, начал разбираться в сложной обстановке, предвидеть действия противника. Пригодился прошлогодний опыт боев. Но сегодня утром, еще до того как в полку получили газеты, я провел бой, которым остался недоволен.

В оперативной сводке штаба за номером 44 от 6 июня 1942 года о нем лишь несколько строк:

«...Выполняя задание на разведку, младший лейтенант Речкалов встретил «ФВ-189». После десяти атак «ФВ-189» был подбит и произвел посадку севернее Подгорного. Сильный огонь ЗА и ЗП из сев. окраины Артемовска не дал возможности сжечь «ФВ-189»...»².

«Раму» я увидел над передним краем наших войск, в районе Изюма, когда летел на задание. И сразу из головы ветром выдуло приказ: «В бой не вступать». Не потому, что вражеский разведчик показался легкой добычей. Я часто слышал от наших солдат: «Ес-

¹ ЦАМО РФ, оп. 206868, д. 4.

² ЦАМО РФ, оп. 6603, д. 1.

ли над головой повисла «рама», жди бомбежки». К тому же где-то под ложечкой сосало азартное тщеславие: еще никому в полку, кроме Никитина, не удавалось сбить этот самолет, хотя в схватку с ним вступали многие летчики. А здесь «рама» сама просилась на прицел.

Вряд ли какая-нибудь сила смогла бы теперь удержать меня от схватки с врагом, из-за которого, собственно, погиб Даниил.

Руки, казалось, сами бросили «МиГ» в атаку... Таких боев вести мне еще не приходилось. Десять атак! А сколько раз фашист, ловко маневрируя, ускользал из-под прицела!

Вражеский стрелок был убит еще в начале боя, но летчик — не зря шел слушок, будто доверяют этот самолет самым лучшим, — оказался настолько искусным пилотом, что поучиться у него мог и хороший истребитель! Фашист ловко бросал свой самолет вверх-вниз, лавировал от облака к облаку, — порой умело нападал сам. Он сохранил самообладание до конца схватки, чего я не мог сказать о себе, и затащил меня под огонь своих зенитных батарей.

Желание одержать победу над противником было настолько велико, что я забыл обо всем на свете. Перед глазами мелькала только ненавистная «рама».

Один мотор на вражеском разведчике уже не работал, да и сам он был весь изрешечен пулями. Но пуля — не снаряд: пробила дырку в дюралевой обшивке — и только.

Особенно остро почувствовал я свою слабую вооруженность, когда «рама» плюхнулась на «живот» около населенного пункта и мне удалось всадить в нее длиннющую очередь. Эх, как я жалел в этот момент, что на истребителе нет пушки!

Вторую атаку по распластанной на земле «раме»

сорвали вражеские зенитки. Мне едва удалось вырваться из их ураганного огня на бреющем полете. Над своим аэродромом я крутанул «бочку» в знак очередной победы в бою, но радость оказалась преждевременной. Новый начальник штаба полка, заменивший Матвеева, — Александра Никандровича перевели с повышением на другую должность — оценил мои действия как самовольные и заданием по воздушной разведке не предусмотренные. Вражеского разведчика Датский сбитым не засчитал и донес в вышестоящий штаб, что самолет подбит.

— Как же теперь прикажете понимать слова: «противник сбит в бою»? — спросил его майор Фигичев.

— Когда враг уничтожен. В данном случае самолет должен был сгореть на земле

— Разрешите вылететь и сжечь?

— Не в моей власти.

И все же, возвращаясь звеном с боевого задания, Фигичев разыскал «раму». Но сжечь ее так и не смог.

— Не горит, стерва! — Он подошел ко мне, кивнул в сторону штаба. Темно-карие, острые глаза светились иронией. — Будь по-ихнему. Фашистам от этого металла прибыли немного...

«А все же жаль, что не засчитали «раму» сбитой», — подумал я и полез в карман за папиросами. И вдруг — пачка писем, которые вместе с газетой вручили мне ребята.

Мир посветлел и раздвинулся. На время забылась, исчезла война, треклятая «рама». Жизнь стала еще ценнее: родилась дочь Неля. Все письма от жены. Фиса продолжала мне писать по старому адресу, письма ее переслала мне Таня.

От Тани я получил коротенькую записку, где сообщалось, что здоровье ее идет на поправку и что

Галя Степанова вышла замуж за раненого полковника. Просила передать, чтобы я ее не судил строго. Вот и все.

* * *

События между тем разворачивались в нарастающем темпе.

Фашисты заняли Керчь. В первых числах июня враг начал штурм Севастополя.

В один из таких дней Пал Палыч Крюков вылетел, как обычно, в разведку. Прячась за облаками, он сумел пробраться к Славянску. И то, что предстало на дорогах глазам майора, заставило его ужаснуться: от города, из лесов на север и к востоку тянулись сплошные колонны машин, танков, артиллерии.

Фашистские истребители, дежурившие над этим районом, кинулись наперерез майору. Ловко маскируясь, Крюков ускользнул от врагов и, едва приземлившись на аэродром, со всех ног устремился на командный пункт.

Весь этот и последующий день мы летали на штурмовку фашистов. Не обошлось и без потерь. В первый день фашистскими зенитчиками был сбит заместитель командира третьей эскадрильи старший лейтенант Гуденко. Через вылет подбили меня, и в журнале боевых действий полка появилась привычная запись:

«Не вернулся с боевого задания младший лейтенант Речкалов Г. А. после штурмовки автоколонны в районе Славянска. Предположительно сбит огнем ЗА».

И, как водится, — новая метла по-новому метет — по распоряжению нового начальника штаба, одним росчерком пера, вместе с извещением о гибели Гу-

денко, полетело на родной Урал и мое: «Не вернулся с боевого задания...»

Нетрудно представить, что творилось дома, когда в годовщину нападения фашистской Германия на СССР родным вручили эту бумажку.

Год войны!.. Много это или мало? Спроси меня об этом после войны, я бы непременно уточнил: «Какой? Первый? Полжизни!»

Мы многое потеряли за этот год: города, близких, мечту. Мое поколение мечтало о счастье и братстве. Оно принимало близко к сердцу лишения немецкого народа, и нелегко было понять вначале смысл происходящего, зверства, насилия врага.

Мы многое за этот год обрели: зрелость, ненависть; как никогда, познали любовь к Родине.

Гитлер рассчитывал уничтожить нас, но мы выстояли. За этот год мы выработали и теперь шлифовали свою собственную тактику воздушной обороны. Правда, пока в основе ее лежала беззаветная храбрость наших летчиков, но мы знали: скоро придет и военная техника.

И хотя гитлеровцы еще касались кровавыми руками стен города Ленина, потом им удалось прорваться к великой русской реке Волге, пройти по созревшим полям Кубани и почувствовать запах советской нефти — все же в те тяжелые дни мы говорили себе: победа с нами.

А пока... Мы не знали, да и не могли знать планов гитлеровского командования, как не знали этого и наши начальники. Но зато прекрасно понимали, что неудачные боевые действия наших войск в мае и июне 1942 года в районе Харькова резко изменили обстановку на южном крыле советско-германского фронта в пользу противника.

3 июля героические защитники Севастополя ос-

тавили город. Мы почувствовали это в тот же день: над аэродромом на больших скоростях одна за другой промчались две пары «мессеров».

— Видать птичек по полету, — насупившись из-под надвинутой на лоб фуражки, заметил Покрышкин.

— Приветик принесли нам на крылышках. До встречи, мол, в воздухе, — нервно пошутил Федоров и зябко потер руки.

На следующее утро аэродром затянуло туманом, и полетов не было. Потом немного распогодило: несколько летчиков слетало на задание. Перед обедом зарядил дождь.

В землянку вошла девушка-синоптик, капельки дождя сверкали в ее черных волосах.

Завидев стройную девушку, долговязый Андрей Труд выскочил из-за стола:

— Здравствуй, Лилечка, — он галантно раскланялся и пропел речитативом:

Или дождик, или снег,
Или будет, или нет.

Бархатные глаза Лили Свириденко посуровели. Она развернула метеорологическую карту и наперекор стихии напроорочила к вечеру хорошую погоду.

Привезли обед. После обеда кто прилег вздремнуть, кто курил, перебрасываясь ленивыми, отрывочными фразами.

Как появился в землянке танкист, никто не заметил. Был он хорош собой, высок, черноволос, с орлиным носом и бровями вразлет и всем своим обликом производил впечатление человека железной воли. Сильно поношенная гимнастерка, выдавшие

виды сапоги говорили, что он не раз бывал в суровых военных переделках.

Разминая папиросу, незнакомец подошел прикурить к сидевшему на нарах старшему лейтенанту Федорову.

— Из пехоты? — с любопытством разглядывая его, спросил Аркадий.

— Угу, — промычал тот, затягиваясь. — А что, разве заметно?

— А то как же, — сразу оживился Федоров. Ему хотелось завязать разговор, чтобы как-то отвлечься. — О, да ты, я вижу, еще и танкист. Как там поется?

...Броня крепка, и танки наши быстры.
 Пыля дорогами, воюют за Донцом.
 В испуге одурело мечутся фашисты...

Гость хитровато улыбнулся и, перебивая Федорова, громко продекламировал:

...Где не пройдет угрюмый танк,
 Там пролетит вояка-летчик,
 Нырнув от «месса» в облака...

Лежавший рядом лейтенант Супрун прыснул, довольный, что танкист не остался в долгу перед насмешником и острословом, который незадолго до этого прошелся своим языком и по Степану.

Аркадий стрельнул глазами:

— У моего деда в Иванове жеребец был, Степкой звали. Такой, знаешь ли, дурной, по всякому поводу ржал.

Все засмеялись, и громче всех сам Супрун. Почувствовав сильного соперника, Аркадий перешел на другой режим.

— Ты к нам по делу аль просто так?

— На эту половину зашел случайно, а туда, — он

кивнул на дощатую переборку, где помещался командный пункт, — по делу. Бронепоезд нас, бисова душа, замучил, житья не дает.

— Не тот ли, что мы сегодня с Сутыриным искали? — поинтересовался Николай Искрин. — Все перегоны обшарили, никаких признаков!

— Один он у них, а житья от него никому нет... Вчера молотил нас отсюда... — прокуренный палец танкиста ткнулся в извилину дорог около Волновахи, — на рассвете чесанул по артиллеристам из района Первомайска.

— Разделявались бы с ним сами, — дружелюбно посоветовал Федоров, — у вас и броня покрепче, не чета нашей фанере, и нам меньше неприятностей от начальства.

Танкист быстро взглянул на летчика.

— Да ты, я смотрю, башковитый малый. На броню не обижаемся. Спасибо уральцам — отменная броня, — под общий смешок гость постучал по выпуклому лбу Федорова, — а одного ты недокумекал: до облачка ведь достать фашиста проще аль, может, не видно?

Я лежал лицом к стене на усталых свежим сеном земляных нарах. От стены тянуло прелой сыростью... Сквозь полусон, когда тело отдыхает, а слух, по фронтовой привычке, не дремлет, голос гостя казался знакомым.

Сильные руки потянули меня за ногу:

— Вставай, Речкалов, начштаба вызывает! — все еще посмеиваясь над Федоровым, пробасил в самое ухо наш адъютант.

Я неохотно сполз с нар и, пробираясь вслед за Медведевым на другую половину землянки, увидел среди летчиков высокого широкоплечего незнакомца. Крутой лоб под черным чубом, продолговатое

лицо с волевым подбородком кого-то очень мне напоминали. На мгновение наши глаза встретились.

«И взгляд знаком, — проходя мимо, озадаченно думал я. — Кто бы это?»

Видно, и у незнакомца мелькнула та же мысль, потому что, перешагнув порог, я услышал:

— Скажите, тот, что сейчас прошел..

Выйдя от начштаба, я подумал, что задание мне выпало не случайно. Майор не забыл наш резкий разговор из-за «рамы».

Его взгляд, улыбка, за которой желтели редкие прокуренные зубы, говорили: «Посмотрим, на что ты способен».

Вскоре «МиГ», уверенно гудя мотором, уносил меня на задание.

* * *

За линией фронта погода стояла неважная. Мощные кучевые облака громоздились шапками, в редких просветах между ними мелькала кряжистая донецкая земля.

Сколько раз я видел ее сверху... Зеленеющие поля на холмистых склонах, жерла заводских труб, нацеленные в небо, синеющие в дымке лесные пригорки, города и поселки — все это напоминало мне родной Урал.

Теперь заботило другое. Огромный, великанский план земли втиснут в крохотный прямоугольник карты. На целлулоиде планшета черным карандашом нанесен продолговатый кружок, к которому на четырехкилометровой высоте устремился сейчас послушный «МиГ».

Между облаками показался изгиб речушки, через него проложен курс полета. Все внимание — на землю. Там, внизу, среди множества рощиц и поселков, вокруг глубоких балок и возвышенностей петляет темной лентой, временами пропадает и вновь извивается железнодорожное полотно. И на этом огромном участке, где-то среди развалин депо и станционных сооружений или в глубоких выемках среди зарослей ольховника, а может быть, за копрами разрушенных шахт, ползает закамуфлированной гадюкой фашистский бронепоезд.

Много хлопот уже доставил он нашим опытнейшим — не чета мне — летчикам-разведчикам.

«При любых условиях продолжать поиски, — приказал мне перед вылетом начальник штаба. — Штурмовики на аэродромах дежурят в боевой готовности».

А попробуй-ка в таком разнообразии природы, среди исковерканных творений рук человеческих разыскать нужный объект, особенно когда над землей нависла хаотичная грозная облачность!

В сущности, какой из меня разведчик? Всего несколько разведывательных полетов на счету. Правда, затопленную для маскировки переправу через Северный Донец под Изюмом мне удалось обнаружить. Но тогда — другое дело: просто случайно наткнулся на нее на «бреющем» полете.

В воздухе летчик должен всецело сосредоточиться на выполнении задания. А меня сегодня что-то будоражило.

Облака внизу еще больше уплотнились, потемнели. Обнаружить что-нибудь в таких условиях невозможно. Но боевое задание — приказ. Надо сделать все и выполнить его. «Попробовать опять на бреющем...»

Мелькнувшая было мысль мгновенно переросла в решение.

Я перевел самолет в пике. Крылатым снарядом «МиГ» устремился в глухую темную облачность, за которой скрылась земля. Скорость перевалила за шестьсот... «Всегда бы так!»

Волокнистые, серо-черные облака замелькали по крыльям, обступили самолет со всех сторон. И вот он уже мчится над макушками деревьев.

Сбоку мелькала шоссейка. По привычке осмотрел воздух. Сверху опасность не угрожала: набухшие влагой сизо-черные тучи придавили все своей тяжестью. Слева появился какой-то рудник с прилепившимся к нему поселком. От поселка тянулась железнодорожная ветка. Их здесь много — как бы не спутать. Минуты через две внизу обозначился крупный населенный пункт. Все ясно — Кадниевка. Самолет с ревом пронесся над крышами железнодорожного узла. А вот и полотно железной дороги, которое мне надо прочесать. Крутыми поворотами мелькали под крылом рельсы. Мотор работал на полную мощность.

И вдруг — я не поверил своим глазам — в глубокой выемке, среди чистого поля, стоял «он»: пять длинных железных коробок. Сверху маскировочная сеть с пришитыми к ней «рельсами» и «шпалами». Будто бы ничего не обнаружив, я повернул в сторону и продолжал лететь дальше вдоль змееобразной насыпи — домой.

— На такое можно только наткнуться, — передал начштаба в дивизию после моего доклада о разведке. — Это исключительно результат случая.

Трудности позади. Сознание выполненного долга бодрило и радовало.

Я вышел из землянки. Дневной свет начал едва

заметно меркнуть, хотя небо еще не потеряло своей прозрачной голубизны.

На западе, высоко над горизонтом, протянулась длинная гряда облаков, похожая на грозное, иссиня-черное штормовое море.

Подошел комиссар полка.

— Какая тишина... А воздух!

Несколько минут мы с Погребным шли молча.

— Устал? Нога сильно побаливает? — заботливо спросил он.

— Что вы! С одного-то вылета! А нога — пустяки, осколочек вылезит. Доктор думает, что последний.

— Расскажи-ка мне о бронепоезде.

— Вы же слышали. Случайно выскочил на него, вот и все.

Погребной остановился. Высокий лоб прорезали глубокие морщины.

— А если бы пролетел на полкилометра стороной или выше?

— Мог и не увидеть.

— С этим я согласен, — улыбнулся комиссар, и густые его брови приподнялись. — А в остальном — нет.

Высокая нескошенная трава хлестала по голенищам.

Из-под ног вспорхнула какая-то птица.

— Потревожили... Свернемте в сторону, тут гнездо, — предложил я.

Мы подошли к самолету. Подбежал техник, бойко доложил:

— Самолет к вылету подготовлен, пробоины залатаны.

— Какие пробоины? И почему здесь торчит бензозаправщик?

— Только что кончили заправку, — оправдывался Путькалюк.

— Сколько ж времени нужно для этого? — Я взглянул на часы и осекся: с момента посадки прошло всего двадцать минут.

Техник подошел к хвосту, показал заклеенные дыры и виновато, точно это произошло по его вине, сообщил: рулевой трос был перебит, держался на одной жилке, дотянул до аэродрома чудом. Теперь все в порядке.

— Молодец, сделано на совесть, — похвалил Погребной, рассматривая тщательно покрашенные заплаты. — Вот тебе еще пример высокой человеческой сознательности и чувства долга.

Его подгонять не надо. Воюет на славу, — подхватил я, рассчитывая замолвить перед комиссаром словечко, чтобы Путькалюку ускорили присвоение звания: с 1940 года он ходил в старшинских треугольниках.

— Ты в комсомоле, кажется, пятый год? — спросил меня Погребной.

«Зачем ему это?» — удивился я.

— Да, еще на ВИЗе¹ вступал, в Свердловске.

Комиссар провел ладонью по гладкому крылу, покачал зачем-то элерон и, провожая взглядом отъезжающий бензовоз, как бы между прочим, заметил:

— Не пора ли тебе подумать...

— Речкалов, к командиру полка! Срочно! — крикнул от КП Медведев.

— Ну, хорошо, ступай. Поговорим потом.

Мой самолет неохотно оторвался от аэродрома и пристроился к шестерке «Илов»: Сзади, дымя моторами, подтягивались «МиГи» Голубева и Супруна.

Наши истребители наводили штурмовиков на

¹ Верх-Исетский металлургический завод в нынешнем Екатеринбурге, был основан в 1726 году.

проклятый бронепоезд и одновременно выступали в своей обычной роли — прикрывали их от «мессеров». Задача нелегкая! «Илы» летят на малой высоте, им, бронированным, хоть бы что, а мы — добыча любой шальной пули. Но подняться выше, к облакам, нельзя: так легко потерять «Илы», а без нас они бронепоезд не разыщут.

Но больше всего я боялся другого: вдруг да не окажется на месте бронированной гадюки? Ведь могла же она скрыться за это время! У командования будут все основания полагать, что разведка была необъективной. Не зря начальник штаба заметил перед вылетом: «Умел начать, сумей и кончить».

Вместо того чтобы лететь по нашей территории, а затем под прямым углом пересечь линию фронта и сразу идти на цель, «Илы» неразумно выскочили на вражескую сторону и запетляли по железной дороге.

А тут еще погода... И надо же было той чернобровой напророчить — погода, как назло, заметно улучшилась: в мохнатых тучах появились большие разрывы, золотистые лучи косыми снопами уперлись в землю. Теперь за воздухом смотри в оба: «мессеры» такую погоду уважают.

Впереди показалась выемка дороги, в которой должен находиться бронепоезд. К счастью, он стоял на месте, но так трудно было его разглядеть, что штурмовики пронесли дальше. Я спикировал перед самым их носом на бронепоезд. И сразу же «Илы» цепочкой устремились в атаку.

С первого же захода зачернела грязным животом перевернутая взрывами стальная коробка одного из вагонов. После второго захода штурмовиков на цель взгляд автоматически отметил в воздухе две посто-

ронные точки. И сразу же пропало волнение, тело подобралось.

Вражеские истребители на фоне буро-зеленого леса подбирались к последнему в цепочке штурмовиков. Я огляделся: ребята на месте, Супрун только немного поотстал.

Мой «МиГ» всей тяжестью свалился на «мессеров». «Первые ласточки», предвестники боя, отвалили в сторону.

Еще две пары выскочили из-за туч. Нападать не спешили, решали, наверное, кого атаковать — нас или «Илы». Штурмовики тоже заметили их и, собравшись вместе, потянули на аэродром.

Они свое сделали: в небо взметнулся огромный клуб дыма.

Первая пара фашистов попыталась еще раз атаковать наших штурмовиков, но дружный огонь стрелков отогнал «Мессершмитты» прямо под нас. Собрался налететь на них сверху был велик, но в хвост к Супруну подбиралась вторая пара.

Так начался этот бой, трудный, сложный. Перед нами стояла, казалось, простая задача: оттягивать к своей территории, не дать врагам разъединить нас. Их — шестеро, нас — трое. Мы в невыгодных условиях еще и потому, что «МиГи» на этой высоте во многом уступают «Мессершмиттам».

Что бы там ни было — надо драться.

Все шло хорошо. Бой переместился почти к линии фронта. Последнее усилие — и мы выйдем победителями: Саша Голубев, стремясь убрать из-под моего хвоста пару «мессеров», только что подбил одного. Второй отскочил прямо под Супруна. Теперь Степану, конечно, захочется рубануть второго, но для этого ему нужно на какое-то время оторваться от нас. Неужели он клюнет на это? Недолго коле-

бался Степан, и все же вторая пара «мессеров» — она выглядела почти черной: позднее я рассмотрел, что во всю длину фюзеляжа были намалеваны черные стрелы — успела воспользоваться этим мгновением, отсекала Супруна от Голубева. Степан ринулся вниз и сразу же угодил под нос спровоцировавшего его одиночки — «месса».

В тот же момент в моем прицеле повисла чернострелая пара. Ударить по ней — оставить Супруна в опасности.

Не раздумывая, полупереворотом бросил свой «МиГ» на «месса», который гнался за Супруном, и тут же понял, что подставил хвост чернострелой паре вражеских истребителей.

Где же Голубев? Но Саша, увалень на земле, в бою был смышлен и ловок. Он уже спешил на выручку.

В воздушном бою стремительная смена событий не позволяет долго рассуждать. Глаз с профессиональной быстротой схватывает сложившуюся обстановку и моментально раскладывает все по полочкам.

Вот и сейчас бой увиделся мне как бы со стороны, хотя перед глазами маячил только тот «месс», что подбирался к хвосту Супруна. Но я знал: за мной гонятся черные стрелы, и вот-вот я попаду на их прицел. Спеша мне на выручку, к ним подбирался Саша Голубев, а к Саше, в свою очередь, закручивала виражом третья пара «мессеров». Все семь самолетов с огромной скоростью неслись по спирали вниз, за Супруном.

Теперь кто кого опередит. Конечно, прежде всего надо выручать Супруна, хотя в какой-то точке погони я сам оказывался под пушками. Вся надежда сейчас на Сашу Голубева. Но он еще далековато, да и сам может попасть в прицел третьей пары.

В перекрестье моего прицела четко распластался «месс»-одиночка. Дружно застучали пулеметы. Что-то вспыхнуло в нем спичечным факелом, и фашист мгновенно отстал от Степана.

Когда мои пальцы с силой и злостью еще жали на гашетки, в глубине души теплилась надежда: Саша Голубев успеет выбить из-под моего хвоста вражеских истребителей. Но в то мгновенье, когда густой шлейф дыма окутал и скрыл из глаз одиночку — «месса», пушечная очередь врагов ударила по мне.

Я не видел их, но ждал удара и потому что было сил нажал на педаль, стремясь выскочить из-под огня вправо, и тут острая боль пронзила раненую ногу с такой силой, что из глаз посыпались искры.

Прошло, должно быть, несколько секунд, пока прояснилось сознание. В судороге билась, падала машина, лицо опаляло чем-то горячим, земля стремительно и кособоко мчалась навстречу.

«Нет, доктор, в ноге еще много осколочков», — мелькнуло в сознании, а руки и ноги тем временем привычными движениями выравнивали самолет, выводили из беспорядочного падения.

Все было бы просто на высоте не в триста, а в тысячу метров: есть время выпрыгнуть из неуправляемого самолета, раскрыть парашют. Но теперь... Самолет, наконец, перестал кувыркаться, перешел в крутое пикирование, а высоты нет. Я тянул за ручку управления что было силы. Сквозь темную пелену перед глазами вырисовывалось выше линии полета что-то вроде кустарника...

За одно удивительно емкое мгновение перед глазами, словно кадры в кино, промелькнули события давних лет.

...Осень тридцать шестого. Верх-Исетский завод.

Густой рокочущий гул мартенов, свист колючего ветра заглушают крики людей с земли:

— Тяни сильнее-е-е.

Подвешенный за веревку над цехом, я крепко сжимаю в руках конец обледенелого кабеля. Сильный ветер и гололед оборвали его; нужно закрепить кабель и подключить в сеть. Посмотришь вниз — дух захватывает.

Толстая веревка, на которой я болтаюсь под стальной фермой, кажется ненадежной. В глубине цеха замер мостовой кран с ковшом, полным огненного металла. Тугие порывы ветра раскачивают меня из стороны в сторону, снежная слякоть больно бьет в лицо.

Наконец авария в электросети устранена. Окочевшие руки в резиновых перчатках уже не в силах удержать веревку. Они скользят по ней, скользят...

В гулкую тишину откуда-то издали вторгается незнакомый голос.

— Живуч малец. Ничего. Все пройдет...

* * *

...Мой самолет не ударился, не разлетелся вдрызг.

Пологий склон балки, из которой теперь медленно поднимался «МиГ», чернел вражескими окопами, щетинился автоматными очередями, огнем зенитных пулеметов. Все, что могло стрелять по беспомощному истребителю, ожило.

Мотор не работал. Внизу вражеские окопы, окопы... Пусть неживым — мертвым, но перетянуть их и этот петляющий змейкой, наполненный водой овраг, — и все. Последнее желание — перетянуть через этот овраг туда, к своим...

Обессиленный «МиГ» грузно скользнул вниз, на

изрытую снарядами землю. Трудно, очень трудно за несколько секунд погасить огромную энергию массы и скорости машине, бьющейся о камни, бугры, ямы. Но еще труднее человеку в кабине.

Треск и грохот оглушили меня. Наступила тяжелая туманная тишина, потом появились первые проблески сознания.

К действительности меня вернула не боль, а какое-то странное жужжание. Как майский жук, оно покружилось над головой, медленно переместилось вперед и уперлось в приборную доску, превратившись в звуки работающего гироскопа.

Трудно сказать, сколько длилось бы обморочное состояние, не покажись люди. Они вынырнули, словно из-под земли, внезапно, молча, и, низко пригнувшись, бежали в мою сторону. Изредка тишину вспарывали автоматные очереди, — тогда солдаты залегали, потом вновь вскакивали.

От удара об землю я весь обмяк и обессилел. Попытался приподняться из кабины, но почувствовал противную тошноту и тут же осел. Ни движения, ни мысли. В ушах: «дзинь... дзинь». Потом свист, шипенье, треск. Что-то посыпалось в лицо. Зеленые, красные, синие круги, бешено крутятся, смешались, и меня понесло в черную бездонную яму.

Вторично я очнулся, когда чьи-то сильные руки волокли меня под мышки.

В нос ударил терпкий запах бурьяна. Как сквозь вату доносилось:

— Ура-а-а.

— а-а-а-а...

— а-а-а-а...

Меня затащили в окоп, кто-то каблуком наступил на руку. И снова сверху донесся противный воющий свист. Несколько взрывов сотрясли землю.

— Хорошо сработали, хлопцы! — раздался чей-то знакомый голос. — Два дня торчал у этой богом проклятой высотки; а тут одним махом за речку гадов сбили. — И тот же голос распорядился: — Пилота — в медпункт, а я — к полковнику: треба сказать, что летак жив, и сообщить в его полк.

Я с трудом обернулся. Двое усачей помогли мне встать. Стрельба продолжалась, но автоматные очереди доносились все реже, становились глуше.

— Фашист-то как разозлился, по твоему самолету аж минами стали пулять, — улыбнулся усач в рыжей каске.

— Тебя не удалось захватить, вот и лютует, — сказал тот, что постарше и пониже ростом. — Видишь пригорок? Там немец сидел. Ты вон где упал — около речки. А теперь там наши.

Я посмотрел туда, где только что были гитлеровцы, и по спине пробежал озноб.

Из кабины «МиГа», зарывшегося носом в десятке метров от высотки, выскочил человек. На фоне заката я узнал лобастую голову нашего утреннего гостя. «Откуда он здесь?»

В тот же миг рядом с ним грязным фонтаном взметнулся взрыв.

— Его убило? — спросил я взволнованно. — Кто это?

— Видать, непривычен ты в нашем деле, — с достоинством заметил бывалый солдат. — В окопе мина солдату не страшна. Вот бомба...

— Ежели не убьет, то оглушит, как рыбу, — пояснил второй, со смоляными бровями. — А старший лейтенант вон, посмотри, как козел, прыгает через окопы. Он с тремя танками у нас оборону держит. Если бы не он да вот наш Калистратыч, — чернобро-

вый ткнул в бок своего товарища, солдата с прокуреными усами, — не сидеть бы тебе здесь.

Я с благодарностью пожал руку Калистратычу. Теперь я был уверен, что тем другим, кто спас меня от плена, был наш сегодняшний гость.

От волнения в голове шумело, земля закружилась, поплыла, как на вираже.

— Э, да тебе, сынок, плохо, — подхватил меня Калистратыч, — пойдём-ка к доктору.

В санчасти, пока сестра промывала и смазывала на лице раны, солдаты рассказали мне подробности воздушного боя. Слушать их, неискушенных в авиации, было смешно и приятно.

— Как запулял по фрицу этот летчик, тот и дым пустил.

— Мы думали, фашист дымовую завесу хотел поставить, — дополнил приятеля Калистратыч, — а сам, стервец, по тебе пулял в это время.

— Кто же был сбит первым? — спросил я.

— А шут вас разберет, — недоуменно развел руками Калистратыч. — Твой-то фашист вспыхнул сразу; ты за ним стал падать, а второй ихний самолет сперва дымил долго, аж потом только парашют распустил. После этого все кто куда разлетелись.

Значит, Саша Голубев сумел-таки зажечь сбившего меня фашиста.

— Скажите, кого наши бомбили? — спросила сестра. — У нас так гудело, что земля с потолка сыпалась.

— Бронепоезд взорвали.

— Неужели! Вот спасибо-то им.

Снаружи послышались приглушенные голоса. Дверь медпункта распахнулась.

— Наш комбат, — шепнула сестра.

Невысокий капитан с крупным лицом справился

о моем самочувствии, указал на вошедшего вместе с ним подтянутого лейтенанта:

— Адъютант комбрига.

Поправив маузер, тот четко откозырял:

— Полковник приглашает вас к себе.

Шли мы долго. Яркие краски заката уже померкли. Темный багрянец пожаром разлился за дальними холмами, простирая свои жадные отблески к горизонту. Там, на краю земли, блекли его всесильные краски, смешивались с чем-то черным. И это черное уверенно гасило их. Лейтенант вел меня по запутанным траншеям уверенно как по собственному дому. Зеленоватые отблески шипящих ракет выхватывали из темноты вкопанные в землю пушки. Где-то справа глухой дробью перекликались пулеметы.

В зарослях кустарника скрипнула дверь, кто-то дружелюбно проговорил:

— Запаздываешь, авиация. Ужин остыл. Ну, ну, проходи к свету, дай на тебя, героя, взглянуть.

В светлой, не по-военному уютной землянке вкусно пахло домашним квасом и чем-то жареным. Я посмотрел на хозяина и обомлел: Степан Степанович? Нет, нет, я не мог ошибиться: тот самый майор, с которым я ехал из Одессы и расстался за несколько часов до войны. Муж Галины Степановой.

Полковник пристально разглядывал меня. Узнает или нет? Как тогда, в купе, он представился:

— Степан Степаныч Степанов.

Пожимая руку, озабоченно спросил:

— Что с головой? Ранен?

— Пустяки, товарищ майор... простите, товарищ полковник. В кабине обо что-то ударился.

— Э, да ты, я вижу, на ногах не держишься. Ну-ка, за стол. Герою сегодняшнего боя — почетное место.

— А ведь я вас знаю, товарищ полковник.

— Стоп, ни слова!

Мгновение полковник стоял, задумчиво вглядываясь, потом его глаза просветлели. Он торопливо шагнул навстречу.

— Ну, конечно же, тот самый летчик, что удрал из вагона во время бомбежки и бросил меня спящим.

Я попытался возразить. Степан Степанович расхохотался:

— Знаю, знаю! Шучу. Это мне так тогда спросонья показалось. А потом, когда под вагоном отсиживался, вспомнил: ты ведь должен был сойти около Котовска, а не в Могилеве-Подольском. Мне в тот день подвезло: с поезда и прямо в бой. А сердитую проводницу помнишь? Ее того... на куски...

Неожиданная эта встреча заслонила собой все дневные события.

Нашлась бутылка вина. Мы чокнулись, выпили за встречу. О многом хотелось поговорить. Известно ли ему о жене? Если нет, то как мне сообщить об этом? Или умолчать?

Зазвонил телефон. Степан Степанович подошел, взял трубку. Я заметил, как сильно он прихрамывает, и сразу вспомнил тросточку, привезенную им с финской войны, которую я оставил перед вылетом на самолетной стоянке. Я хлебнул из кружки крепкого квасу. Лейтенант с уважением кивнул на полковника:

— Его любимый напиток. Даже по праздникам требует, чтобы горбуха черного, соль да квас были на столе.

Я знал, Степанов — человек незаурядной воли, мужественного сердца. И все-таки не представлял, как поступить. Лучше, наверное, оставить его в неведении.

Степан Степанович вернулся к столу хмурый. Вид-

но, на фронте что-то не ладилось. Я не стал расспрашивать и повел разговор о его военной судьбе: Степанов скупно рассказал, как его ранили под Житомиром, как под Киевом он попал в окружение. После тяжелой контузии около месяца провалялся в полузабытьи.

— А я вас уже похоронил.

Он выжидающе глянул на меня, на скулах набухли желваки.

— Если б только ты один... — полковник смолк и отодвинул стакан с вином. Лицо его было непроницаемым.

«Он все знает!» Я не выдержал:

— Что же вы не писали ей? Она ж изверилась.

— Вышло так, что письма мои не дошли... — Он словно проснулся, поднял голову. — А тебе откуда известно?

Выслушав мой сбивчивый рассказ, Степанов сухо усмехнулся:

— Какое совпадение!

— Что же дальше, Степан Степанович? — Я уже жалел, что затронул эту тему и разбередил незажившую рану.

— Будущего у этой истории нет. О дочери я побеспокоился. А жена?.. Я ее не виню.

— Значит, все можно исправить? — не понял я и обрадовался. — Она вернется, непременно!

— Если живые перестают ждать, исчезает вера. Без веры — все обман. Живые ждут. Ждут. Ждут!

С этими мыслями я заснул. Разбудило меня солнце. Оно настойчиво прорывалось в узкие щели между досками, золотистые лучи хозяйничали на подушке, запах свежей травы, насланной под простыней, часть бревенчатой стены с покатой, будто на сеновале, крыши и аромат свежее испеченного хле-

ба — все это, волнующее и теплое, было своим, родным, знакомым с детства.

— Эй, авиация, проснись! — Озабоченный лейтенант, явно подражавший в разговоре своему начальнику, ворвался ко мне под навес. — Слышишь, фашисты зашевелились! Севернее нас прорван фронт. А за тобой вот-вот самолет прилетит.

Еще с ночи я слышал глухие толчки, похожие на подземные взрывы. Теперь они доносились отчетливее, все чаще, точно в ознобе, вздрагивала земля, но занятый собственными мыслями, я не придавал этому значения.

Я вскочил, быстро оделся, настезь распахнул дверь сарайчика. И сразу увидел Степана Степановича. Он стоял ко мне спиной, голый по пояс, и отфыркивался после каждого нового черпака обжигающей ключевой воды. Коричневая загорелая кожа бугрилась тяжелыми мускулами.

Заметив меня, Степанов отбросил в сторону полотенце, шагнул вперед.

— Выходи, выходи, авиация, бодрящий душ принимать; денек, видно, жаркий будет. Вон оно, солнышко-то, сегодня какое... — Полковник вдруг смолк.

В лучах утреннего солнца холодно блеснули вражеские «Юнкерсы». И сразу ухнули взрывы — тяжелые, пружинистые, словно не снаружи, а откуда-то из недр земли. В небо взметнулся удушливый и едкий дым, скрыв солнце.

— По стыку флангов обрушились, — пояснил адъютант и показал на рыжевато-грязную высотку, за которой, подернутая сизым туманом, темнела овражистая речка.

— Узнаешь, где упал? А самолет танкисты оттащили ночью, во-он туда, в лощинку.

При упоминании о танкистах в памяти вновь вос-

крес вчерашний полковой гость — крутолобый старший лейтенант, так неожиданно оказавшийся здесь моим спасителем. Полковник Степанов послал адъютанта за начальником штаба, за кем-то еще, потом удивленно воззрился на меня:

— Тебя что, разве в рядовые разжаловали?

Я смутился. Как и у многих летчиков в то время, знаков различия на мне не было.

— Ночью генерал звонил, — объяснил он. — Тобой интересовался. Я передал, что старший лейтенант спит, цел и невредим.

Ко всему прочему теперь я еще и покраснел:

— Младший, а не старший лейтенант, товарищ полковник.

Степан Степанович вскинул брови еще выше.

— Провоевать год, быть раненым, — задумчиво говорил он как бы самому себе, — так храбро драться и все в том же звании, без наград за мужество?

Послышался рокот мотора. Из балки выпорхнул «У-2» и точно покотился по земле на колесах, — так низко он летел. Сел на лужайку возле речки, неподалеку от моего «МиГа».

— Не за тобой, — глухо заметил полковник. — Санитарный. Ночью ранили Дрыгайло — командира танкиста...

— Иван Дрыгайло?!

— А что, знаешь его? — Степанов внимательно посмотрел на меня. — Верно, я посылал его в авиаполк.

— Товарищ полковник! Это же мой друг! Сосед по квартире! Что с ним?..

Солнце в этот день больше не показалось из-за дымных туч. После налета «Юнкерсов» загрохотала вражеская артиллерия. Землю вспороли гусеницы

фашистских танков, наши артиллеристы ударили по ним.

С соседних участков поступили первые тревожные сведения о наметившемся прорыве нашей обороны.

Я нетерпеливо поглядывал на восток, ожидая обещанный самолет.

После полудня пришел приказ: с наступлением темноты отойти на новые оборонительные рубежи.

...Наконец за мной прилетел «У-2». Степанов приказал адъютанту отвезти меня к месту посадки, а сам поспешил туда, где горела земля, рушились окопы, вздымались облаком пыль и дым.

Солнце устало клонилось к горизонту. Воздух был горьким от дыма и пороха. Лучи едва проглядывали сквозь завесу густой гари. По дороге к самолету лейтенант что-то рассказывал мне, но я плохо его понимал: позади, за спиной, все грохотало, выло, скрежетало.

Летчик с «У-2» заждался меня и потому встретил ворчливо. Он уже хотел было улететь, но его придержали прилетевшие с ним Иван Путькалюк и Вазо Германовичи; они сняли с «МиГа» крылья и хвост и, ожидая грузовик для буксировки самолета, с тревогой посматривали на передовую, откуда все ближе и ошутимее, перемещаясь к берегам Северного Донца, нарастал грохот боя. Орудия и минометы изрешетили воздух, бомбы месили и рвали землю.

— Ей-богу, аж в пятках чешется, — признался летчик, забираясь поплотнее в кабину. — За все время ни одного нашего истребителя.

Я тоже недоумевал, почему в воздухе не видно наших ребят, хотя был уверен, что им нелегко. Но оставил его замечание без ответа и посочувствовал Путькалюку и Германовичи.

— Мы-то будем скоро далеко отсюда, а вот вы как?

— Как в песне, — пошутил техник. — Темный землянка, жаркий печка, а до смерти четыре шага будет, — проворачивая винт к запуску, пропел Вазо.

Весь в камуфляже, пятнистый и ширококрылый, как бабочка, «У-2» легко поднялся с лужайки. И сразу стало тихо. Ни надсадного свиста и уханья бомб, ни вздрагивания земли. Один только уверенный рокот мотора и освежающие потоки воздуха.

Позади серели прибрежные обрывистые и белые горы Донца, притих у их подножия Лисичанск. Последний взгляд туда, где остались Вазо и Путькалюк, Степан Степаныч и бушевавшая над донбасскими кряжами война.

Мир неистов, но все зависит от вас, люди, — и добро, и зло!

По выцветшему небу лениво ползет солнце, белое, слепящее. Хоть бы облачко. Духота. Вяжущая, сковывающая движения жара. Высушена до трещин донецкая земля.

Седьмые сутки непрерывные бои в воздухе. В редкие перерывы между вылетами валяемся на сырых нарах темной землянки. Иногда сражаемся в домино, слушаем политинформации. В лучшем случае отсыпаясь за недосып и в запас. Словом, жизнь как жизнь, если бы не терять товарищей. В мое отсутствие погибли двое. Вчера был подбит Андрей Труд, летавший со мной сопровождать штурмовиков.

Молодец этот Андрей: вечером целехонький и неунывающий добрался в полк, привез подтверждение о «мессере», которого я сбил в районе Берестовой, а теперь вон широко улыбается мне из кабины «МиГа».

Сидим, готовые сопровождать бомбардировщиков. Сегодня исключение — прикрывать «Пе-2» со-

бралась вся наличность полка: четыре «МиГа» и восьмерка «Яковлевых», поэтому нашу группу ведет капитан Тетерин, а «Яки» — командир третьей эскадрильи Анатолий Комоса.

Инженер полка Урванцев ходит от машины к машине, хочет, видно, еще раз убедиться в том, что все истребители исправны и готовы к взлету. Беспокойство его понятно: технический состав провел еще одну бессонную ночь, латая неисправные машины. Нет ли каких недоработок? Он очень напоминает мне чем-то погибшего (убитого в прошлом году) Шолоховича: немногословный, уравновешенный — душа техников и летчиков.

Проверив звено покрышкинских «Яков», инженер заглянул в кабину Федорова и старшего лейтенанта Комосы. Дойти до «МиГов» он не успел: с юго-востока показались две девятки «Петляковых».

От КП брызнула разноцветьем ракета, огласился ревом моторов аэродром, рыжей стеной взвихрилась пыль от винтов.

Андрей Труд не удержался, чтобы не созоровать. Он лихо вырулил из капонира, и не успел техник отскочить из-под хвоста, как хлесткая струя воздуха закрутила его, сбросила с верстака ведро с мыльной водой, приготовленное для мойки самолета, и вместе с пылью окатила укывшегося за верстаком Тиму Паскеева.

Двухмоторные машины сделали круг над аэродромом, и, когда мы, одиннадцать истребителей (неизвестно по какой причине не взлетел Комоса), заняли свои места, колонна легла курсом на Лисичанск.

Наша четверка, группа непосредственного прикрытия, летела почти над самыми бомбардировщи-

ками. Выше и сзади висела семерка «Яшек» — так мы звали яковлевские истребители.

Я впервые видел близко в полете петляковские двухкилевые машины и с интересом рассматривал их серые фюзеляжи, воздушных стрелков, готовых в любой момент открыть огонь по врагу, летчиков, уверенно ведущих бомбардировщики в плотном строю.

Фонари кабин и диски винтов поблескивали на солнце. «Петляковы» забирались все выше и выше, спокойно, без толчков и потряхиваний, обычных в жаркое полуденное время. Зато нашим «Якам» выполнять свою задачу в верхнем ярусе становилось все труднее. Мощность их моторов с высотой сильно падала.

Еще на земле, до вылета, я усомнился в правильности распределения сил нашего боевого порядка, предлагал «МиГи», как более высотные, определить в верхнюю группу, но, к сожалению, мнение других оказалось авторитетнее.

Теперь, если бомбардировщики поднимутся еще на один километр, замыкающее звено Покрышкина наверняка отстанет. Подсказать «Петляковым» не забираться выше или изменить распределение наших сил невозможно. Радиосвязь между самолетами отсутствовала, хотя на некоторых истребителях радиостанции были. Но они настолько несовершенны, что летчики их даже не включали. На «Яках» горячие головы пошли еще дальше: повыбрасывали даже переходники — соединительные шнуры между пультом радиостанции и шлемофоном, чтобы при «вынужденном» прыжке с парашютом не свернуть голову.

Мое внимание сосредоточилось на том, чтобы держаться в строю над бомбардировщиками. Прав-

да, опыт прикрытия у меня уже имелся: занятый строем, я успевал осматривать верхнюю и нижнюю полусферы, вести ориентировку.

Глинистой лентой заблестел внизу Донец. За ним — небо в густом дыму. «Петляковы» забирают вверх и вверх. Что они будут бомбить, каким способом — мы не знаем.

Вражеские зенитки не дремлют. Разрывы их снарядов — лучший ориентир для «мессов» — сопровождают наш полет. Сохранять свое место в боевом порядке становится все труднее. А тут еще заметался от зениток Тетерин — ведущий нашего звена. Но краснозвездные бомбардировщики — ими нельзя было не восхищаться — шли ровно, четко, демонстрируя неустранимость и непреклонную волю.

Фашистские истребители появились перед самым бомбометанием. Как ни трудно было различить их в солнечном блеске, удалось все же заметить, что в нападение перешли не все, — большая часть осталась над нами.

И сразу смолкли зенитки. Наперерез нападающим устремился Федоров. К нам прорвалась лишь пара «мессеров»: ее встретил Шульга и с первой же очереди сбил ведущего, а ведомый — такое случается нечасто — угодил под прицел Тетерина и факелом прочертил под нами дымную пелену.

Я не уводил глаз с вражеских истребителей, задержавшихся что-то на высоте. Положение создалось критическое: снизу к «Петляковым» подкралось около двадцати итальянских истребителей «Макки-200», внешне схожих с нашими «И-16», и сковали боем звено Федорова. Покрышкин где-то отстал, по-видимому, его прищемила первая группа «мессов».

Четыре пары, оставленные фашистами для решительного удара, не замедлили с нападением.

Что делать? Развернуться и встретить их? Тогда я оторвусь от бомбардировщиков. Фашистам того и нужно.

В бою интуиция опережает мысль. Именно так произошло в эти считанные секунды.

Мы оба, Труд и я, сделали вид, будто не выдержали натиска противника, — стремительно пошли вверх, к солнцу. Фашисты не погнались за нами, но не потому, что потеряли нас из виду; им открылся теперь большой соблазн: перед самым их носом, без защиты, шли советские бомбардировщики.

«Опытные стервятники!» — подумал я, глядя, как «Мессершмитты» с разных сторон нацеливаются на «Петляковых», рассредоточивают внимание и огонь воздушных стрелков.

Фашисты не должны помешать нашим бомбардировщикам прицельно отбомбиться — сейчас для нас это главное.

Не успел я еще закончить маневр, оказавшись в стороне и выше истребителей противника, как ясная мысль придала движениям холодную расчетливость: ошеломить врага внезапностью. Удар должен быть решительным и точным.

Руки сами бросили машину в полупереворот. Небо завертелось, остроносый «МиГ» устремился вниз, на пару «мессеров», атаковавших левое звено «Пе-2».

Маневр я построил таким образом, чтобы Андрей Труд оказался ближе и в хвосте другой вражеской пары, подбиравшейся к правому звену «Петляковых». Он понял меня, и почти одновременно два фашистских истребителя повалились вниз, кувыряясь в огненном вихре. В этот момент от наших бомбардировщиков отделились черные точки, и мне показалось, что и мой красавец «МиГ» стал как-

то легче, маневреннее, словно тоже освободился от бомб.

Цель нашей атаки достигнута. «Мессершмитты» отказались от удара по бомбардировщикам, которые уже легли на обратный курс, и яростнее набросились на нас. Отбиваясь от них и не отставая от «Петляковых», я сбил еще один истребитель. Потом подоспело звено Федорова. Потеряв пять машин — пятого «Мессершмитта» подбил где-то Покрышкин, — враг исчез в дымном небе. А Федоров добавил к своему счету «Макки-200».

В этот день было еще два вылета на сопровождение. Последний оставил незабываемое впечатление.

Мы, звено «МиГов», сопровождали шестерку штурмовиков «Ил-2». К этому времени за мной утвердилась слава мастера работы с «горбатыми», чем я не особенно гордился. Сопровождать их хлопотно и, надо признаться, неприятно. Охотников на такое задание мало. Со мной полетели Саша Голубев и Ваня Зибин.

Все шло хорошо. На подходе к цели нам повстречалась пара «мессеров», и Зибин еще раз продемонстрировал высокий класс воздушного бойца, вогнав в землю одного из «мессеров» с тюзом пик на фюзеляже.

Вражеские зенитки особенно лютовали, небо закоптилось от разрывов, но «Илы» вылили горючую смесь точно на гитлеровские танки. Зрелище с высоты — непередаваемое!.. Белые клубы дыма вперемежку с черными столбами — знак точного попадания — взметнулись сплошной стеной. Горела рошица в лощине. Горел хлеб на поле, перезревший, расчерченный гусеницами танков. Казалось, горела сама земля.

Что такое? Загорелся наш штурмовик? Пламени

не было видно, но откуда-то из-под мотора тянулся дым.

«Илы» в это время делали последний заход. На врага сыпались небольшие, похожие на бутылки, противотанковые бомбы. Летчик имел еще возможность повернуть на свою территорию. К моему удивлению, он этого не сделал и продолжал лететь в общем строю. Я разглядел на хвосте красную цифру «17» и сразу вспомнил этого молодого паренька, его бритую голову, тонкую юношескую шею.

...Дым из-под мотора «Ила» разрастался, быстро переползал на крылья, к кабине. Меня охватило раздражение, досада на командира, товарищей по группе. Почему ему не прикажут спастись, не сообщат о пожаре? Ведь он, наверное, не знает.

Неожиданно черный шлейф дыма пропал, за хвостом самолета потянулся лишь слабый след копоти. Но радость была преждевременна: вокруг фюзеляжа запылало пламя, и самолет огненным факелом перешел в пологое пике.

В балочке, замаскированной скирдами сена, укрылось с полсотни машин и бензовозов. Их еще не коснулся удар штурмовиков.

Чувствовалось, что летчик полон самообладания. Горящий самолет уверенно пикировал в скопление врага, быстрее и быстрее. Безо всякой договоренности и приказа Иван Зибин, Саша Голубев и я обрушились огнем на вражеские зенитки. Удар по ним был беспощаден.

Тяжкая дорога домой... Редкие облака с густой дымкой под ними багровели в закатных лучах солнца: степь, лесные островки, поселки внизу затянуло сумраком.

Весь обратный путь я думал о том, что в первые

дни войны, вылетая на боевое задание, мы всегда предусматривали в боевых порядках группу или даже отдельных летчиков, которые должны были подавлять вражеских зенитчиков.

Почему сегодня это забылось? Мало сил? Но ведь мы только что заставили замолчать все зенитные орудия и вывели из строя не менее двух батарей!

Не успели мы сесть, как примчался на грузовике Медведев.

— Командир полка всех собирает! — Медведев нахлобучил фуражку на раскосмаченную голову и тяжело выдохнул: — Наверное, будем на другой аэродром перелетать. Фашисты поджигают. Как бы к ночи сюда не нагрянули.

Иванов был хмур. Последнее время в нем как будто что-то надломилось. Я объяснял это уходом из полка подполковника Матвеева. Такого начальники штаба, конечно, никто не заменит. Виктор Петрович работал с ним с первых дней существования полка. Сегодняшнее окружение командира полка, за исключением комиссара, оставляло желать лучшего. Погребной стоял рядом, сжимая в зубах погасшую трубку.

— Фашисты глубоко вклинились в нашу оборону, — без предисловий заговорил Иванов и провел на карте полукруг. — Их танки и мехвойска захватили Кантемировку, Старобельск, Миллерово, рвутся на юго-восток, к Дону. До наступления темноты необходимо перебазироваться на новый аэродром...

Новый аэродром! Он, как новое жилье, выглядит всегда необжито. Все не так: и стоянки, и землянки, и ближайший хуторок, название которого, как правило, присваивают летному полю. Поле же, обычное, колхозное, ничем, в сущности, не отличалось

от прежнего. И небо над ним было такое же жаркое и опасное. Но пока привыкнешь ко всему, чувствуешь себя скованно...

* * *

Война укрепляет доверие к людям, к их возможностям и способностям.

Вскоре на аэродроме мне вручили партийный билет. Был вечер. На горизонте расплескалось зарево. Плавилась металлом облака, красной медью пылали сады за летным полем; казалось, весь мир охвачен огнем. Сердце взволнованно билось, в ушах еще звучали напутствия седовласого, стриженного под бобрик комиссара с ромбами в петлицах...

И надо же... На следующее же утро, когда заря еще полыхала в полнеба и веки сводило дремотой, наше звено заняло готовность номер два. Предстояло сопровождать штурмовиков. «МиГи» стояли в капонирах с подсоединенными для запуска баллонами сжатого воздуха. В кабинах дремали техники. Жесткий парашют под головой. Зыбкая тишина обволакивала розовой паутиной. Из полузабытья меня вывел крик. Протерев глаза, я увидел, как совсем низко над аэродромом проплыло и удалилось звено «Юнкерсов-86».

Крик не утихал. Я глянул в том направлении и оробел: прямо из земли торчала человеческая рука, в ней был зажат пистолет. Теперь оттуда слышалось что-то похожее на «у-у-у».

«Отбомбились... человека завалило, а я тут дрыхну». В спешке натягивая на себя парашют, быстро окинул взглядом аэродром: следов бомбежки не было видно, Зибин и Голубев стояли возле самолетов —

ждали, должно быть, мою команду. Я покрутил над головой шлемофоном, «запускайте, мол», вскочил на крыло и сквозь выхлопы запускаемого техником мотора услышал позади себя угрожающее: «Под суд отдам, расстреляю-ю-ю...»

Уже вырливая на взлет, я понял, что угрозы адресовались мне: из щели выскочил вчерашний седовласый комиссар в очень воинственном, судя по пистолету, настроении.

Противника, как и следовало ожидать, мы не догнали, но вернулись с добрыми делами: между Красным Лиманом и железнодорожной станцией Рубежная перехватили двенадцать «Хейнкелей-111», и те «вынуждены были сбросить бомбы не по цели и повернуть обратно», — так впоследствии сообщала оперсводка дивизии в вышестоящий штаб.

— Откуда над аэродромом «Юнкерсы»? — сразу же спросил я товарищей, как только мы, разгоряченные боем, вылезли из кабин.

— Случайные. Иначе бы нас подняли. — Голубев расстегнул комбинезон, блаженно подставил грудь свежему ветерку. — Кто этот с пистолетом? Что он тебе кричал?

— Сейчас узнаешь. Вон он около КП поджидает.

Комиссар с ромбами не дал доложить о результатах вылета.

— Догнали? Сбили? — как можно сдержаннее спросил он.

— «Юнкерсов» не перехватили, но «Хейнкелей»...

— Пропустили фашистов. Струсил... — я плохо слышал, что еще он говорил. Краска залила лицо, в голове гудело. Отчетливо бросилось в глаза подергивающееся левое плечо комиссара. Оно у него от природы было ниже правого.

Сколько раз зарекался я не перечить начальству! Но теперь, когда каждый наш самолет привез после боя не одну пробоину... Я не выдержал, что-то резко ответил...

Вечером мой «проступок» должен был разбирать кто-то из политработников.

Первая половина дня была изнуряюще напряженной. Мы летали то на запад, то на север, то на восток — слухи об окружении, беспрестанные бои в воздухе, вяжущая, липкая духота на земле — все это зашло, начисто вытеснило из души все обидное, наносное. А после обеда разбираться с моим «делом» было уже некому: по дорогам запылили, отступая, штабные, тыловые и прочие органы.

Несколькими часами позже взлетели и мы. Последний взгляд на аэродром, где похоронили двоих товарищей, — и курс на Ростов. Все вокруг было объято тревогой. Пожарами взметнулись в небо подорванные шахты. Стонали под толпами беженцев горбатые дороги. В слезах и дыму стояло солнце.

Ростов, едва мы выключили после посадки моторы, оглушил уханьем зенитных пушек, надсадным свистом и грохотом бомб. Аэродром казался безлюдным. В ожидании, пока появится кто-нибудь из техников и заправит самолеты, присели под крыло. Как там Путькалюк и Герmanoшвили? Где они? Нелегко, наверное, тащиться теперь с «МиГом» на буксире по забитым войсками и беженцами проселкам.

Вечерело. Солнце, уставшее от дневных забот, пробивалось сквозь ажурное кружево тополей. В их тревожно шелестевшей листве с ветки на ветку пугливо перепархивали птички.

Голубев блаженно растянулся на сочной траве.

— Эх, перекусить сейчас да поспать, — мечтательно выдохнул он.

— И банька бы не помешала! — Иван Зибин передернул плечами.

Голубев приподнял голову, ухмыльнулся:

— Чудак, паря, просоленного да прокопченного черви не сгрызут.

— Бросьте вы околесицу нести! — одернул я обоих. — Посмотрите-ка лучше, какой журавль по аэродрому вышагивает.

— На Паскеева смахивает. Эй, Тимоха, давай к нам! — крикнул Голубев.

Паскеев шел смешными торопливыми шагами: он то устремлялся вперед, то, словно заяц, замирал на месте и опасно к чему-то прислушивался. Голову его венчало какое-то непонятное сооружение.

— Что это у тебя на макушке? — хором спросили мы, когда Тимоха подошел поближе.

— Броня! Полюбуйтесь, — с самым серьезным видом ответил тот и снял с головы нагромождение, которое состояло из аккуратно сложенного в несколько раз реглана, планшета и ржавой лопаты без черенка. — Здорово придумано, а?

— Для чего же такая «броня» понадобилась?

— Защита от зенитных осколков. — И Паскеев рассказал, как опасно здесь ходить в открытую: оказывается, зенитчики ПВО города открывают над аэродромом сильнейший заградительный огонь по фашистской авиации, и осколки от снарядов сыплются вниз дождем.

— Ну, заржали! Вы что, не верите? — Паскеев шустро юркнул под крыло и прицыкнул: — Слышали? Это осколок свистит.

Кроме далеких хлопков в вышине, в первый мо-

мент ничего нельзя было слышать. Но вскоре до нас донесся шелест птичьего крыла, затем свист, словно пружина расколола воздух, после чего последовал шлепок о землю.

— Убедились? — Тима, довольный, сверкнул зубами. — Таким макаром одному «Яшке» все рули разворотило.

— Интересно, пробьет этим осколком крыло? — полюбопытствовал Саша Голубев и выскочил посмотреть.

— Крыло не знаю, а мою «бронезащиту» наверняка не возьмет.

— Да ты взгляни, — позвал его Голубев.

Мы посмотрели и ахнули: на расстоянии метра от нас в податливую землю влез неразорвавшийся снаряд.

Лицо Паскеева вытянулось, глаза тревожно блеснули под водруженным на голову «бронеколпаком».

— Айда, ребята, в столовую. Нечего тут ковыряться.

— А как с заправкой?

Он удивленно посмотрел на меня и хмыкнул:

— Да ты что? Мы тут на приколе: ни бензина, ни передовой команды. У нас половина «Яков» без боекомплекта стоит.

— Куда же вы его израсходовали, если на боевые задания не вылетали?

— Вы что, с Луны свалились? Не слышали?

Увидев недоуменные наши взгляды, Паскеев даже причмокнул, покосился на срубленный осколком тополиный сук и ускорил шаг.

— Сплошная потеха. Когда перелетали сюда, встречали около Новочеркасска «стодесятых». Ребята, конечно, на них. «Мессеры» — в оборону. А потом как завиражат, как застрочат из пулеметов и пушек —

кому в хвост, кому в гриву, не приведи Аллах. Отбивались от них — одна умора: и бочки, и штопор, и разные полуперевороты...

Мы чувствовали, что Тима, желая повеселить нас, преувеличивает, но не перебивали. Тем временем с запада надвинулся могучий сплошной гул. Он наполнил собой поднебесье, растекся во всю ширь земли. Сумеречную пелену неба усеяли красноватые звездочки разрывов. Свистя и чавкая, на нас посыпались осколки.

Перебежками, от укрытия к укрытию, добрались мы до жилых корпусов.

Вечер окончательно завладел городом. В столовой было немногочисленно. Тусклый мигающий свет коптилок вырывал из полумрака обветренные, хмурые лица, чьи-то насупленные брови, твердые подбородки. Едко чадила кухня.

— Где же наши?

— Мастера сегодняшнего пилотажа? — Тимка в широкой улыбке оскалил белоснежные зубы. — Вон они, уплетают за обе щеки.

Я присмотрелся: Борис Козлов уже призывно махал нам рукой, Федоров смешил чем-то Покрышкина, а Коля Науменко... Я остолбенел от радостного удивления. На какое-то время, кажется, замерло сердце. А затем... Сломя голову я выскочил за дверь. Мираж? Совпадение? Ошибка?

Под шершавым, ветвистым деревом перевел дух. Нет, я не мог обознаться. Но откуда, каким образом она могла здесь оказаться?

В вышине одна за другой повисли на парашютах осветительные авиабомбы. Матовый неяркий свет от них разлился над домами, трепетно засеребрились над головой листья, расплывчатые тени от то-

полей исполосовали серую дорожку. Послышались девичьи голоса.

Я отступил в тень. Какая-то жилка часто и неумолимо запульсировала под коленом. Собственно, чего я испугался? Если мне не почудилось, шагну из-за дерева ей навстречу, скажу: «Здравствуй, Катя! И обниму. Бросаются же в кино друг другу в объятия. А если она отстранится и только вежливо кивнет головой?»

Девушки шли притихшие, настороженно прислушивались к разрывам тяжелых фугасок, сотрясавших город. Шагавшие сзади легчики подбадривали их. Группа прошла в двух шагах от меня; я узнал лишь двух наших укладчиц парашютов. За одной из них — Клавой — увивался Коля Науменко. Но его не было. Не было и Кати Тороповой. Что-то похожее на подозрение кольнуло меня. Я поспешил в столовую. Ее и там не оказалось. Науменко с Покрышкиным заканчивали разговор с Медведевым и уже собирались уходить.

«Обознался», — подумал я и подсел к Зибину. Иван поинтересовался, где я пропадаю.

— Блажь свою на воздухе рассеивал.

Я опрокинул фронттовую стопку и рассказал ему все. Зибин подвинул мне свою нетронутую порцию водки.

— Выпей, чтоб не мерещилось.

— А ты что ж?

— Настроения нет.

Где-то рядом ухнула бомба. Противно заныли стекла.

— Пойдем отсюда, — предложил я. — Шарахнет еще.

— Да, пожалуй, — Иван тяжело встал из-за сто-

ла. — Душно здесь. На воздухе и умирать как-то приятнее.

САБы — осветительные бомбы — по-прежнему поливали город противным светом. Зенитчики старались расстрелять их и усеяли все небо вспышками разрывов.

Мы закурили. Заметив, как я прячу в рукав окурок, Иван усмехнулся:

— Ну что, спрашивается, таиться с папироской? Светлица как днем! Так нет, привычка. Война кончится, а мы все под полой спичкой чиркать будем.

— Не будем. Такие привычки в одну секунду улетучиваются. Противны они человеку.

— Эх, дождемся ли, — глубоко вздохнул он. — Сбросить с себя засаленную гимнастерку да в пруд. И поплавал бы я. Весь день, неделю бы из воды не вылезал.

У нас за деревней прудок неглубокий. Ребятишки в нем окунишек ловили. Вдали разбойничий курган, а на нем несколько сосенок — старые, кривые. Мы думали, за курганом — уж край земли. Вечером, в сумерки, он особенно таинственным казался, даже страшным... Говорили, будто разбойники давно-давно в нем клад закопали. И «взять» его можно только ночью. Решили мы его откопать, а как — не знаем. Ночью-то край земли не заметишь, упадешь еще. Но Митька — мы с ним за одной парте сидели — придумал: «Давай, говорит, веревкой свяжемся. Если один сорвется — другой спасет...»

Иван вспомнил свое детство, а мне виделось свое: неглубокая, но чистая Ирбитка; наши ребята тоже ловили в ней пескарей. И поля на возвышенности, покрытой лесом, — мы гоняли туда в ночное лошадей. Незабываемые ночи у костра: бесконечные рас-

сказы, страшные истории, вкусный, поджаренный на огне хлеб с печеной картошкой. А утром всходило солнце, удивительно большое и красное, совсем не такое, как в деревне, на него сначала даже можно было смотреть...

Неожиданно потемнело. Зенитчикам, должно быть, удалось сбить висячие «фонари». Теперь мы шли вдоль стены дома почти на ощупь. Из нашего подъезда пробивалась чуть заметная полоска света. Иван, растревоженный воспоминаниями, не замечал перемен и рассказывал, как они с Митькой укарауливали на огороде всходы.

— И все же не уследили. В одно утро по всем грядкам тоненькие зеленые свечки загорелись, как на елке. А на них крохотные капельки росы дрожат, лучики разноцветные разбегаются.

Зибин остановился, раскурил потухшую папиросу. Вспышка на секунду осветила стену, затянутое одеялом окно нашей комнаты.

— И так хорошо было на эти всходы смотреть. Сами ведь сажали. Митька мне тогда и говорит: «Видишь — наш хлеб. Теперь бы не пропустить, как зацветет». — «Придется опять дежурить, говорю, по очереди, чтобы не заснуть...»

Внезапно Иван умолк и, вцепившись в меня, начал медленно-медленно оседать на землю.

Мне показалось сначала, что он решил продемонстрировать, как все происходило, я рассмеялся:

— Знаешь, лучше делать это не здесь, а на кровати.

Зибин молча опустился на тротуар, затем на бок и улегся головой на руку.

— Брось чудить, Иван.

Он слабо всхрапнул.

— Эк тебя разморило за день. — Я слегка тряха-

нул его, приподнял ему голову и почувствовал, что рука становится теплой и липкой... Острая, как боль, догадка прожгла мозг: «Осколок?»

Я кинулся в подъезд, крикнул ребятам: «Зибина убило!» — и с ужасом увидел кровь на руках, гимнастерке, брюках...

...Когда я вошел в санчасть, Иван, забинтованный, уже лежал на носилках. Ждали машину из госпиталя. У стола безмолвно толпились люди. Кто-то тяжело, надсадно вздохнул.

Зибин открыл глаза. Видно было, что он плохо различал обступивших его людей. Мучительно пытаюсь понять, где находится, Иван перехватил мой взгляд. Узнал, еле приметно улыбнулся. Две больших слезы скатились во впадины щек.

Мы с врачом осторожно приподняли один конец носилок. И внезапно я увидел, что у Ивана высокий, красивый лоб, непомерно густые, как нарисованные, брови, овеянное благородством и мудростью лицо. Только губы совсем белые.

Уже вставал рассвет, когда дверь распахнулась, вбежали санитары, а следом...

Не сон ли это? Нет-нет, такой голос мог быть только у нее: грудной, чуть певучий.

— Осторожно, мальчики, с носилками.

Ивана понесли к машине.

— Катя, — тихо окликнул я, когда она садилась в кузов «санитарки».

— Ой!..

Испуг, облегчение и радость прозвучали в этом слабом восклицании. Катя всплеснула руками и бросилась ко мне. Я почувствовал запах густых волос, прерывистое теплое дыхание.

— Я знала... И вчера...

— Поехали, поехали, Торопова, — ворчливо позвал доктор. Небосклон все больше заливал красноватый отблеск далекого солнца: быстро гасли редкие звезды, и из сумерек уверенно выступали серые окрестности — кирпичные здания городка за аэродромом и дорога, по которой торопливо убегала санитарная машина.

Через два часа Зибин умер. Хоронили его на городском кладбище. Из летчиков у гроба был я один — все перелетели за Дон. Гроб опускали под завывание и уханье бомб: все вокруг стонало и содрогалось. Я смотрел, как на земляную труху вползал муравей. Мелкая земля все время осыпалась и погребала под собой насекомое. Муравей упорно выкарабкивался из-под песчинок и в который раз начинал ползти вверх.

Бомбежка на время стихла. Пустынные стояли улицы. Пустынные и тихие. Последний взгляд бросили мы с Катей в сторону кладбища. В отблесках низкого солнца среди деревьев выступили очертания старой звонницы и церкви. Только эти строения и остались не разрушенными в мертвом наполовину городе.

— Подойдем, посмотрим хоть на афиши? — предложила Катя, когда мы поравнялись с театром имени Горького.

Крыша, потолок, и боковая стена театра завалились. На фасаде — следы копоти. Катя молча изучала опаленные пожаром афиши, что-то говорила мне, но я не слышал, я видел только ее лицо, взволнованное воспоминаниями о любимых пьесах, о мирной жизни. Внешне она осталась той же девочкой, которую я встретил в первое утро войны. И странно: нелепая, с чужого плеча одежда нисколько не уничто-

жила девичьего обаяния: оно проглядывало во всем: и в гибких движениях, и в стройности ладной фигурки, и в манере улыбаться — тепло, стеснительно.

— А ты все такая же.

Она грустно покачала головой.

Сердце защемило от этого. Им, восемнадцатилетним, война отказала во всем: в учебе и танцах, в цветастых платьях и каблучках. Их парни гибли в боях, а сами они, еще не узнав, что такое любовь, уже узнали смерть.

— Нам лучше уйти отсюда. Кажется, снова «Юнкерсы». — Я взял ее за руку, и мы направились вдоль огромного сквера на противоположную сторону площади. Катя долго молчала и вдруг разрыдалась.

— Все не так, не то, — всхлипывала она. — Думала, встречу тебя, будет радость, а вот... — И, как дети, уставшие от слез, прерывисто, глубоко вздохнула. — Не сердись, это пройдет. Я давно не плакала. Вот видишь, уже все. При чужом бы я не стала...

Кто из нас вчера мог представить себе, что мы встретимся? Катя вытерла слезы кончиком пальцев, торопливо полезла в нагрудный кармашек.

— Знаешь, у меня всегда с собой это... — Я увидел в ее руках газету с моей фотографией.

Рядом с нами грохнули замаскированные в сквере зенитки. Пепел тучей поднялся в воздух, от едкого дыма запершило в горле. Мы подняли головы.

— Бежим под арку!

«Юнкерсы» ровно и тяжело, по-журавлиному распластав широкие лапы-колеса, летели на переправы через Дон и вокзал. Я захотел сосчитать их и не смог. Увидел только, как трое из хвоста этой стаи ложатся на крыло и, коротко блеснув пропеллерами, сворачивают на нас. Густой и стремительный,

как горный обвал, рев пикировщиков прижал нас к стене. И в тот же момент первая бомба выбила из-под ног землю. Солнце погасло. Вверх взлетели вывороченные кусты, бульжник, кирпичи. «Тр-р-рах! Тр-р-рах!» Казалось, земля вот-вот хрустнет и, как огромная перезревшая тыква, развалится на равные половинки. Я заслонил собой Катю, вздрагивавшую при каждом взрыве, прижав ее в угол.

Еще не успела осесть пыль, а «Юнкерсы» пошли на второй заход. Снова умопомрачительный рев, визг, снова: «Тр-р-рах! Тр-р-рах!»

Третий «лаптежник» заходил со стороны солнца. Из развороченного бомбами сквера полоснул дружный залп наших зенитчиков. «Лаптежник» перевернулся, одно крыло у него отвалилось, самолет и крыло закувыркались в сторону нашего дома. Стремительно мелькнула тень на бульжнике улицы, и мир скрылся из глаз...

Трудно поверить, что ты жив, когда все покрыто непроницаемым мраком. Но по-прежнему гулко и бойко тьякали зенитки, за спиной шевелилась, вскидывала голову Катя — с ее волос сыпался песок.

Я стяхнул с себя куски штукатурки, вскочил, помог Кате подняться, и мы быстро пошли к себе, минуя завалы рухнувшего здания, задранную станинами вверх пушку, двух убитых зенитчиков. Впереди пустой, стонущий от бомбежек город и ночь...

Над седым Доном и колосистыми полями, над ширью степей зноем расплескалась вторая половина июля. Изнуряюще сухим, безоблачным выдался он в этом году. Дни казались бесконечными и один горше другого.

Стонала под бомбами и гусеницами танков земля, терялись семьи, свежие могильные холмики один

за другим вырастали над телами друзей, оставляя в душе зарубки. И было так много горя, что порой казалось — не вместить его сердцу...

Наше звено в боевой готовности ждало сигнала на вылет. Четвертый вылет, а день только начинался: впереди еще добрая половина. Гудело небо в дымной пелене; сплошной гул стоял во всем теле. Фашистские бомбовозы на наших глазах беспрестанно плыли через Батайск и бомбили Ростов, батайский железнодорожный узел, мосты и переправы через Дон. Странно, что еще ни одна бомба не удостоила наш аэродром. Почему-то фашисты перестали интересоваться нами: не рассчитывают ли они захватить нас живьем?

Все перемешалось в эти дни. Буквально на наших глазах «Хейнкели», «Юнкерсы», «Мессершмитты» смешивали с землей все живое, а мы, словно нас это не касается, летали на другие задания; вели разведку, сопровождали штурмовиков и бомбардировщиков. Конечно, нас мало, очень мало, кому-то надо заниматься и этим, но быть наблюдателем, безучастно смотреть, как рушится город, взлетают в воздух вагоны и переправы!..

Вот и сегодня ко второму вылету вызвал меня Исаев — он остался за командира полка, Иванов улетел куда-то, и приказал прикрыть шестерку «Су-2».

— Чем? — вырвалось у меня.

— Сиди и не перебивай. Твой «МиГ» исправен. Голубевскую «тройку» залатали.

— Вдвоем?

— А ты сколько хочешь? — разозлился Исаев. — С Константиновского плацдарма на юг жмут танки. Приказ есть приказ.

Я опустил голову: «Видимо, нам и здесь долго не жить, если фашисты уже за Доном».

Более горького чувства, чем в этом полете, я, кажется, никогда не испытывал. У Голубева случилась какая-то неисправность, он не взлетел — да и невелика была бы польза от нас обоих, появиись хоть две пары «мессеров». К счастью, они не появились, но не успели «Су-2» отбомбиться, как вражеские зенитчики сбили четыре самолета. Другого и ожидать было нельзя: самолеты устаревшие, тихоходные.

Видно, усталость взяла свое: на какое-то время я забылся в кабине. Притихшая, пока я дремал, тревога внезапно ударила в сердце.

Над дальним концом аэродрома показалось звено самолетов. В тот же момент воздух полоснула ракета с КП. «Дождались», — облегченно вздохнул я, запуская мотор. Но запуск не состоялся. Что-то непонятное крикнул убегающий от самолета техник Лайков. Люди побежали в укрытия. Меня выдуло из кабины словно ураганом. Три «Ме-110» над головой. Грязные взрывы небольших бомб совсем рядом, сраженный осколком техник...

Когда все стихло, я вылез из-под самолета. Мой «МиГ» просел на правое крыло. Колесо, за которым я укрылся, оказалось распоротым. От бомб первого звена «Мессершмиттов» полыхали бензозаправщик и самолет. Они еще горели жарким, чадящим пламенем, когда к аэродрому подлетели, наконец, два звена «Петляковых».

И вновь с командного пункта взвилась ракета: на вылет! Но подняться в воздух я, естественно, уже не мог. Прикрывать «Петляковых» взлетели лишь двое — Саша Голубев и Степан Супрун.

Тонкий серп месяца скрылся за горизонтом.

Внизу слышалось журчание не различимой в темноте речки. Ивовые кусты неподвижно склонялись над водой. Стояла непривычная, вздрагивающая тишина. Только неподалеку шуршали в траве шаги часового.

Война ушла от нас далеко. А далеко ли? Мы петляли по проселкам, в стороне от больших дорог. Надо было быстрее добраться в станицу, куда с рассветом должен перелететь полк, вернее, все, что от него осталось: шестерка «Яков» и три «МиГа». Черная пасть взорванного моста преградила нам путь. Кто его взорвал? Фашистская бомба или наши отступающие части? Решили дожидаться утра.

Рядом со мной похрапывал Саша Голубев. Его, как и меня, в наказание отправили машиной. Чуть поодаль устало ворочались в траве техники, между сном и явью пребывали другие «безлошадные» летчики.

Перед глазами стоял оставленный, страшно разрушенный бомбежками горящий Ростов... Жадные языки пламени всполохами кромсают дымный смрад над городом. Катя куда-то тянет меня за руку. Я упираюсь, хочу что-то найти. Да, пропала степановская тросточка. Так и не нахожу ее, спешу к самолету, опять что-то ищу и только в кабине «УТИ-4» вспоминаю, что забыл чемоданчик со всеми пожитками. Но поздно: в садах, за аэродромом, уже слышится автоматная трескотня, к Ростсельмашу выскочили вражеские танки. Потом провал, пустота и снова усеянное шапками дымных разрывов небо, кишащие всюду черные самолеты. Хоть бы один снаряд или осколок взял треклятых! Горячая стальная смерть со зловещим шелестом шлепается на аэродром. Завидя мое сооружение на голове, — в отличие от Паскеева я прикрылся только планшетом и

пистолетом, — солдат-финишер у «Т» посмеивается и говорит, что таким макаром не убережешься. «Надо видеть, куда осколки падают». Он показывает, как это делается. За таким занятием и застает меня подъехавшая в сумерках машина... Тесный кузов, товарищи, добрые шутки, усталость пыльной дороги и снова провал...

Предрассветную хмарь электрическим током пронизал возглас: «Воздух!»

— Где? Что? Откуда?

Люди проснулись, тревожно насторожились.

Далеко в стороне от нас мельтешила одиночная «рама». Кругом стояла тишина, полная утренней прелести. И тот же напевный голос, что возгласил тревогу, довольно воскликнул:

— Вот это па-дъ-ем! — Стартех Копылов стоял в машине и заливался своим тоненьким смешком. — Я па-шутил. А то вас, чертей, не добудишься.

— Фу ты, дьявол! Па-шутил, — с досадой передрознил кто-то.

— Ну и придумал же...

— В воду его! Ребята!

Мы немедленно и с охотой откликнулись на голубевский призыв, и не успел наш старший очухаться, как забултыхался в речке.

— Обмундирование бы па-жа-лели, — чертыхаясь, отфыркивался под общий хохот Копылов.

— Ничего, у тебя про запас в чемодане хватает. Одолжил бы мне пару, — отжимая единственный свой комбинезон, предложил я.

— У фашистов выпрашивай. Этак с Медведевым удирать будете — всю армию им оденете.

Взошло солнце. Перекусили сухим пайком. Посвежавшие, бодрые, двинулись в путь. Брода через

реку не оказалось. Мы выехали к шоссе и ужаснулись: дорогу, ее обочины, параллельные тропки-дорожки забили бесконечные потоки машин, телег, беженцев. Тачки, таратайки, бадерки, — казалось, все средства передвижения, давно ставшие музейной редкостью, выволочены в степь.

На мосту образовался затор. Его мы миновали благополучно. Но у первой за мостом станицы... Клятое место. Тут-то на нас и свалились с поднебесья «Юнкерсы»...

Ох, уж эти колченогие «Юнкерсы»! Они преследовали меня по дороге на фронт еще в Старом Осколе. И с тех пор, словно тень смерти, неотступно висели над головой.

...Вой и грохот. Тесно в воздухе, негде укрыться на земле. Бомба угодила в середину колонны бензоцистерн. Грохнуло море огня, выплеснулось на улицу. Дым. Визг. Ничего не разобрать. В суматохе метались женщины, дети, солдаты...

— Командир... Здравствуй!

Путькалюка не узнать: исхудал, потемнел, в разодранном комбинезоне.

— Иван, дружище!.. Какими судьбами здесь?

— «МиГ» твой притащил. В мастерских он, мотор меняю...

Бомбы, танки, разрушенные мосты и переправы, фашистские молодчики на мотоциклах... — ничто не могло помешать Путькалюку выполнить свой долг. Почти полтысячи километров прошел он, спасая самолет.

— А где же Германовшили?

— Здесь, в станице. Если бы не Вазо, «МиГа» тебе не видать бы.

Ваня рассказал, как у одного хуторка, еще за До-

ном, Вазо задержал выскочивших внезапно немецких мотоциклистов. Его ранили. Огородами, переулочками, где бегом, где ползком, скрылся-таки и потом нагнал товарища. Теперь он лежит в госпитале.

— Что за госпиталь?!

Я кинулся искать. Ни Германовичи, ни госпиталя. Никого.

Опустела станица, осиротели авиамастерские на краю аэродрома. Голым, безжизненным показалось летное поле. Единственная реальность — Путькалюк, ничего не замечая вокруг себя, что-то прилаживал в моторе.

— К утру будет готов, — весело пообещал Иван. — Бензина, масла в баках по пробку. Перекусим, переспим под крылышком, да и своих догонять. Вот только с одним магнето что-то не ладится.

Это магнето я запомнил на всю жизнь. Утром, когда с полей и садов сползали сизовато-синие сумерки, Путькалюк прогонял мотор на всех режимах. Магнето опять барахлило. Надо бы еще покопаться, найти в конце концов неисправность, но я отверг просьбу техника: за рекой время от времени слышались автоматные очереди, а поредевшая ниточка отступающих войск на дороге теперь оборвалась совсем.

Через люк в хвосте Путькалюк неохотно вполз за бронеспинку. Я газанул раза три, отпустил тормоза. «МиГ» тяжело подпрыгнул на неровностях в конце аэродрома и повис в воздухе. Снизу, в куполах, стукнули колеса; самолет, будто сбросив с плеч тяжесть, как и я, легко вздохнул, стал набирать высоту.

Конечно, этого следовало ожидать: неисправность магнето отразилась на работе свечей. Мотор застрелял, судорожно запрыгали в тряске приборы, ско-

рость упала до критической. Высота пять-семь метров — и больше ни в какую.

Впереди под большим углом сверкнула речка. Я знал, что если полечу вдоль нее, то через шестьдесят-семьдесят километров мы выскочим на аэродром, где базируется полк. Целая проблема развернуться больше чем на девяносто градусов. Мощности мотора едва хватало увернуться от высоких копен сена, летевших мне навстречу. Хорошо, что местность — как стадион: поля и поля с перезревшими хлебами.

...За рекой — фашисты. Я узнаю их тупорылые машины, которые так близко приходилось видеть в сорок первом, на штурмовке. Напрасно они разбегаются при виде меня — скорее подальше отсюда.

Наконец-то курс на юго-запад, к своим. Лечу вдоль заболоченного берега. Мотор по-прежнему чихает, трясется, перегрелся до предела.

Каково-то там Ивану за бронеспинкой? Согнулся в три погибели между тягами и тросами управления, парится от радиатора и переживает, поди.

Я хоть привязан ремнями и все вижу, а он... впрочем, может, оно и лучше не видеть, как в голубоватой лазури сверкнули крыльями два «месса». Проклятье! Они снижаются, нацелились на меня. Теперь не спасет и аэродром, на котором я вижу свою тройку «МиГов».

Страшно, когда сдают уставшие нервы.

«Мессеры» в хвосте. Спасти может только случай. Потому что решение, которое я принял, — плюхнуться в поле, — безнадежно почти наверняка. Вряд ли что останется от нас и самолета на такой скорости, да и «мессеры» еще до этого успеют меня расстрелять. И спасительный случай представился.

Зенитчики — откуда только они появились на аэродроме, — именно они спасли нас от верной гибели.

Радость наша оказалась недолгой. У Фигичева мы узнали, что полк, по-видимому, отправят в тыл на переформирование. «Яки» уже улетели, а ему приказано перегнать и сдать отслужившие свое «МиГи».

Этого я не ожидал. Конечно, самолеты оставляли желать много лучшего, в полку их было мало, но снять с фронта гвардейскую часть в такое критическое время! Что ж, командованию виднее. Может, получим новые самолеты.

— Удастся отремонтировать мотор — догонишь нас в Армавире или Ставрополе, а нет, — майор указал на два взорванных «Ила», — поступишь таким же образом и догонишь полк на машине.

Степан Супрун рассказал, как был подбит паскеевский «Як», сам Паскеев спасся на парашюте, но сильно обгорел. Зато Пал Палыч снова отличился — срубил «Хейнкеля-111». Больше всего огорчило нас то, что мы, кажется, лишались лучшего друга летчиков и командира — Виктора Петровича Иванова. Он полетел в дивизию, и там при запуске мотора ему сломало руку винтом.

Тем временем Ваня Путькалюк не уповал на бога; обшарив обломки взорванных самолетов, он нашел в конце концов необходимую деталь для неисправного магнето.

Грустно, безрадостно было смотреть, как скрываются в знойном небе самолеты с боевыми друзьями. Целых четырнадцать месяцев войны мы сражались плечом к плечу. Как и тысячи наших братьев по оружию, меньше всего рассуждали в те дни о трудностях: не мудрствуя, по четыре-пять раз в день, случа-

лось и чаще, летали на боевые задания. Техники от переутомления засыпали около самолетов стоя.

Лето 1942 года не принесло нам радости. Гитлер рвался вперед. Теперь всем было ясно, кто он такой. Когда люди произносили слово «Гитлер», это значило — танки с белым крестом на башне, кованый сапог, солдат в черном мундире... Будь он проклят!.. А он, казалось, только сейчас по-настоящему развернулся.

И все-таки лето сорок второго года было светлее, чем лето сорок первого. После Москвы, вернее, зимнего контрнаступления советских войск, нам не страшны были теперь дороги длиною в год — вплоть до предгорий Кавказа и Волги. Фашист обнаглел, его мускулы окрепли, волчьи зубы в хищной пасти отточились, но все знали: быть ему битым! Знали это и в Верховной Ставке, и у нас в полку. В этом был убежден каждый солдат.

Под ложечкой сосало от скудного пайка, веки слипались от постоянного недосыпания и усталости, но все это было теперь не так важно. Люди все чаще смеялись и шутили. Не пропадали только скорбные морщины на исхудавших, опаленных лицах. Тот, кто уцелел сегодня, о смерти уже не думал. Мы отступали, но шли навстречу победе. И это было главное. Все остальное — не в счет. Тем более личные неприятности...

Своих, а точнее — Покрышкина с техником, я догнал в Ставрополе. У них что-то случилось с бортовой воздушной системой. «Миговского» шланга для зарядки самолета воздухом на аэродроме не оказалось. Кляня всех чертей и богов вместе с конструкторами, Покрышкин приспособлял к «МиГу» лагговский шланг, который никак не подходит. Вы-

ручил предусмотрительный Путькалюк. Выбравшись из-за бронеспинки с инструментальной сумкой, Иван подсоединил свой.

За ужином Покрышкин рассказал нам, что по приказу генерала Вершинина наш полк передал «Яки» другой части и выведен в тыл. А перед этим они на «Яках» — Федоров, Вербицкий, Бережной, Науменко и сам Сашка — провели над Кропоткином бой с пятнадцатью «Мессершмиттами-110». Двух фашистов завалили около аэродрома, а одного подбили. Закончить свой рассказ Покрышкин не успел: в столовой поднялась паника. Через двери и окна все кинулось на двор, в укрытия. У стойки, прикрыв собой деньги, верещала буфетчица.

Послышался леденящий кровь гул. Низко над нашими головами прошли двенадцать тяжело нагруженных «Юнкерсов». Они пролетели через центр аэродрома в сторону города. Там, в низине, где находился вокзал, в небо взметнулось огромное облако дыма.

Еще до ужина кто-то пустил слух, что к городу ползут фашистские танки. Теперь «Юнкерсы». Покрышкин настоял на немедленном вылете.

Минводы встретили нас крошечной темнотой. Сидели при свете ракет. И опять не успели улечься на аэродроме в стог сена, как на станцию полетели бомбы. Для меня это была последняя в году бомбежка.

Через несколько дней мы сидели на берегу Каспийского моря. Сюда же съехались остатки полка. Последний взгляд на переданные в другую часть «МиГи». Прощайте, верные машины, у вас славный воинский счет: почти восемьсот воздушных боев, 122 сбитых и сожженных на аэродромах вражеских самолета. Приятно сознавать, что в общем счету

есть моя скромная лепта за этот год: пять сбитых стервятников.

На душе погано: враг подошел к Моздоку, форсировал Терек. За Баку простиралась недружественная граница, на севере — враг, а на востоке искрилось безбрежное, волнистое море.

От деревьев грустно тянет осенью. Палые листья шуршат под ногами. С моря доносится монотонный прибой. Где-то на просторах России свирепствует зима, а здесь, в лужах от недавно прошедшего дождя, плещутся снежные вершины гор, искрится зайчиками холодное солнце.

Столовая, которую по вечерам именуют клубом, по-праздничному украшена. Все принарядились. Из кухни вкусно тянет жареным мясом и приправами. У стены, где киномеханик обычно натягивал экран, сейчас стол президиума. За столом — руководство полка и БАО.

Нам уже зачитали приказ Верховного Главнокомандующего. Доклад о двадцать пятой годовщине Октября прочитал командир полка. Сейчас начальник штаба оглашает праздничный приказ по полку. В зале напряженная тишина, когда майор Датский перечисляет итоги боевой деятельности:

Штурмовыми и бомбовыми ударами за период с 22 июня 1941 года по 9 августа 1942 года уничтожено:

танков — 40;

автомашин с пехотой и боеприпасами — 842;

орудий разного калибра — 92;

убито и ранено 4667 вражеских солдат и офицеров.

Приказом отмечены наиболее отличившиеся лет-

чики и технический состав. Среди них — и мой недавний командир эскадрильи.

— Помощник командира полка по огневой подготовке майор Фигичев в воздушных боях сбил восемь вражеских самолетов. При штурмовке на аэродроме сжег четыре «Юнкерса». — Датский приветливо глядит на Пал Палыча, сидящего рядом с Погребным, и чеканит каждое слово: — Штурман полка майор Крюков в воздушных боях сбил три самолета. — Затем начальник штаба переворачивает страницу: — Командир первой эскадрильи капитан Покрышкин лично сбил три самолета, в групповых боях — четыре и на аэродромах им уничтожено два...

В тесном помещении становится душно. Майор Датский отпивает из стакана глоток воды, смахивает с лица пот и быстро дочитывает список.

Я слышу свою фамилию, потом Даниила Никитина, Аркадия Федорова, Николая Искрина, Бориса Козлова...

Объявляются благодарности, и комиссар полка поздравляет всех с праздником. Говорит он немного. Напоминает, что впереди — большие, тяжелые бои и готовиться к ним надо серьезно и без промедлений.

— «Будет и на нашей улице праздник!» — завершает он словами из приказа Верховного Главнокомандующего.

И как ни безрадостна нынешняя осень на берегу Каспия, фраза эта озаряет каждого светлым лучом надежды, проникает в сердце. Взоры всех устремлены на простенок с портретами погибших однополчан.

В центре — портрет первого в полку Героя Советского Союза — Кузьмы Егоровича Селиверстова.

...Слегка прищуренные глаза, мужественное незаурядное лицо... Константин Ивачев, бесценный друг и наставник Кузьмы Селиверстова, смотрит со второго портрета.

Коренной уралец, организатор и первый председатель Белоносковского колхоза, затем комсомольский вожак Талицкого завода, с первого дня войны Костя стал для нас образцом бесстрашия, примером настоящего коммуниста, воздушного бойца и командира.

«...Награжден орденами Ленина и Красного Знамени. В воздушных боях и при налетах на аэродромы противника уничтожил двенадцать вражеских самолетов. Представлен к присвоению звания Героя Советского Союза... За свои героические подвиги у личного состава полка всегда пользовался заслуженной славой и любовью».

Так аттестовало Ивачева командование на присвоение очередного воинского звания.

Не украсила Золотая Звезда Героя грудь Константина Федоровича. Не дожил. Подвиги его ярче золота.

...Петя Грачев и Борис Комаров — мои однокашники по Пермской авиашколе. Они погибли вскоре после моего ранения в сорок первом, защищая Левобережную Украину. В последнее время Петя воевал на штурмовике «Ил-2», который был брошен кем-то...

...Степан Супрун, украинский комсомолец, скромник и смельчак. За его родные края отдали молодую жизнь Петя Грачев из Иванова и челябинец Борис Комаров. В те дни Степан только готовился стать воздушным бойцом. Он стал им. На его боевом счету числился пока один стервятник. Их было бы

больше — не случись та нелепая катастрофа в Беслане, вдали от войны, когда он летел сдавать потрепанный в боях «МиГ»: старенький мотор не выдержал нагрузки.

Федор Васильевич Атрашкевич, Анатолий Селиверстович Соколов, майор Жизневский, старший лейтенант Шелякин смотрят на нас с траурных фото — первые наши командиры и наставники, незабываемые друзья-товарищи.

Мы помним вас. Мы постараемся, чтобы о ваших подвигах знали потомки. Время не властно над незабываемым! Вечная слава вам, дорогие!

СОДЕРЖАНИЕ

ТУЧИ НАДВИГАЮТСЯ С ЗАПАДА	5
И ГРЯНУЛ БОЙ.....	129
КОГДА СЕРДЦЕМ В ВОЗДУХЕ	327
ДЫМНОЕ НЕБО ВОЙНЫ.....	378

Григорий Речкалов
ПЫЛАЮЩЕЕ НЕБО 1941-ГО

Редактор *А. Родионов*
Художественный редактор *П. Волков*
Технический редактор *В. Кулагина*
Компьютерная верстка *Е. Кумшаева*
Корректор *М. Фирстова*
OCR - Давид Титиевский, июль 2017 г., Хайфа

ООО «Издательство «Яуза».
109507, Москва, Самаркандский б-р, 15.

Для корреспонденции: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5.
Тел.: (495) 745-58-23.

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 05.12.2007.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 25,2. Тираж 5100 экз.
Зак. № 2788.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

После крушения Советского Союза на отечественного читателя обрушился поток публикаций, прославляющих «подвиги» асов Люфтваффе. В головы старательно вбивается картина тотального превосходства «гитлеровских ястребов» над «сталинскими соколами». Зачастую молодые читатели лучше знают о дутых победах Хартманна или Руделя, чем о реальных подвигах наших истребителей, среди которых по-настоящему известны лишь Кожедуб и Покрышкин, считающиеся лучшими советскими асами.

В этой официальной «табели о рангах» Григорий Речкалов занимает 4-е место. Однако, согласно последним исследованиям недавно рассекреченных документов, на боевом счету Григория Андреевича 61 сбитый немецкий самолет – всего на один меньше, чем у И.Н.Кожедуба.

Да и воспоминания Речкалова ничуть не уступают знаменитым мемуарам Покрышкина и Кожедуба, в чем вы сможете убедиться, прочитав данную книгу.

Это – подробнейшее описание боевой работы советских истребителей в самый тяжелый период войны – 1941–1942 гг. Это – увлекательный рассказ о страшных поражениях и первых победах, о потерях и подвигах, о доблести молодых ребят, в жестоких схватках сломавших хребет хваленым гитлеровским асам.

